80 КОП.

ИНДЕКС 73274

НАШ СОВРЕМЕННИК

Наш современник, 1989, № 12, 1—192.

1989

НАШ СОВРЕМЕННИК

12

ISSN 0027-8238

НАШ СОВРЕМЕННИК

12 · 1989

В этом году замечательному критику Юрию Ивановичу Селезневу исполнилось бы 50 лет.



Посвящается Юрию Селезневу

Вызываю огонь на себя,
потому что уверен: друзья
через час подойдут на подмогу,
потому что, сбираясь в дорогу,
я об этом друзей попросил –
с адским пламенем трудно сражаться...
Вызываю огонь... Продержаться
до подмоги хватило бы сил!..

Ст. Куняев

НАШ СОВРЕМЕННИК



ОСНОВАН А. М. ГОРЬКИМ В 1933 ГОДУ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

12 · 1989

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА», МОСКВА

СОДЕРЖАНИЕ

Технический редактор Л. Л. Ежова. Корректоры С. Л. Колганова, М. И. Кононова.

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30. Телефоны: 200-24-24 (главный редактор), 200-24-83, 200-24-94 (заместители главного редактора), 921-43-59 (ответственный секретарь), 921-48-71, 200-23-05 (отдел прозы), 200-23-07 (отдел поэзии), 200-24-76 (отдел очерка и публицистики), 200-24-70 (отдел критики), 928-32-16 (международный отдел), 200-24-32 (технический редактор), 200-23-54 (корректоры), 200-24-12 (зав. редакцией)

Сдано в набор 12.09.89 Подписано к печати 22.11.89 А-03677
Формат 70×108¹/₁₆. Бумага типографская № 2. Печать высокая.
Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,24. Уч.-изд. л. 21,54. Тираж 313 105 экз. Заказ 1919
Цена 80 коп.

Издательство «Литературная газета», 103750, Москва, Цветной бульвар, 30.
Ордена «Знак Почета» типография газеты «Красная звезда»,
123826, Москва, Хорошевское шоссе, 38.

ОБРАЩЕНИЕ

к народным депутатам СССР

Мы, народные депутаты СССР, представляющие ряд регионов Российской Федерации, на рабочем совещании в городе Тюмени 20—21 октября обсудив общую политическую ситуацию в стране, положение России и в целом русской нации и СССР, объединяемся в Российский депутатский клуб и заявляем следующее.

Во-первых, прошедший Съезд народных депутатов СССР наглядно показал, что делегация России была одной из самых разобщенных и наименее подготовленных к конструктивной законодательной работе на Съезде. Нынешнее руководство России в лице товарищей Воротникова и Власова не захотело взять на себя роль организующего начала в деятельности российских депутатов и даже не попыталось заявить о проблемах республики на Съезде. Поскольку никакой предварительной встречи российской делегации руководство республики пока проводить не собирается, то ситуация может повториться и на втором Съезде. Во-вторых, имеющая место недооценка политических интересов РСФСР и русских, проживающих в других республиках, чревата в нынешних условиях опасными последствиями для всей страны. Это связано как с удельным весом России в системе СССР, так и с очень высоким процентом русских в промышленности всех республик. Забастовки в Кузбассе, Эстонии и Молдавии должны заставить задуматься горячие головы из числа сепаратистов и потакающих им партийных работников, растерявших в последнее время свой интернационализм и государственную мудрость. Долг народных депутатов в этих условиях — отстаивать права своего народа парламентскими методами. В противном случае народ сам вступит в борьбу, используя все доступные средства, и ответственность за это в историческом плане ляжет на нас. В-третьих, предварительное обсуждение до Съезда положения РСФСР и русской нации необходимо и вследствие того, что начиная с 1922 года русские как нация, а РСФСР как республика были лишены полноценного политического представительства. Фактически сложилась безрусская структура управления страной. В Наркомате по делам национальностей существовали все отделы, кроме русского. Вряд ли кто всерьез сегодня возьмется утверждать, что такие лидеры партии, как Сталин, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин и Рыков, игравшие ведущую роль в 20-е годы, в период, когда закладывался фундамент всей государственной системы СССР, адекватно представляли национальные интересы русского народа. В настоящее время ситуация такова, что более 20 млн. русских за пределами РСФСР крайне обеспокоены своим положением и, как показали события в Эстонии и Молдавии, вынуждены защищать свои права с помощью забастовок, так как не имеют надлежащего представительства и законодательной защиты. Положение самой России, имеющей усеченную политическую и государственную структуру, также ущербно. И, наконец, последняя причина. Прошедшие в Москве встречи Межрегиональной депутатской группы показали, что депутаты, представляющие главным образом российские области, о России и русских не вспоминали, а сконцентрировали внимание на общеполитических вопросах. Ни в коей мере не отрицая значения таких вопросов и разделяя некоторые тезисы МДГ, мы считаем, что в условиях выработки новых принципов межнациональных и межреспубликанских отношений специфические проблемы РСФСР и в целом русской нации имеют не меньшее значение и требуют специального рассмотрения.

Все выше сказанное, по нашему мнению, является достаточным основанием для организации Российского депутатского клуба.

Оценивая общеполитическую ситуацию в стране, депутаты высказали глубокую обеспокоенность положением дел в политической и социально-экономической областях, а также в сфере межнациональных отношений. Бесконечные разговоры о перестройке-революции, о врагах перестройки, о партократии и левых экстремистах все больше утомляют и раздражают народ. Прошедшие в России в 20-м столетии три революции не дают оснований желать еще одной я связывать с ней все надежды на лучшее будущее. Никто не в состоянии дать гарантии, что идеалы этой новой революции не будут так же искажены, как в предыдущих, а ее прорабы не окажутся в числе первых жертв. Только на пути объединения всех здоровых сил, а не конфронтации можно найти выход из кризиса.

Мы глубоко убеждены, что все нации равноправны и равнодостойны. Искренне приветствуя процессы углубления национального самосознания всех народов СССР, мы вместе с тем отмечаем, что если русский народ останется в нынешнем бедственном положении, то планы развития других народов СССР успешно реализованы быть не могут. Отрицание очевидных геополитических и исторических реальностей при оценке роли Российской Федерации и в целом русской нации в процветании и стабильности нашего государства может быть выгодно только политическим авантюристам, прямым противникам всех народов СССР и ничего, кроме углубления кризиса, дать не может.

Однако в настоящее время русские видят удручающую картину. Через центральный бюджет и несбалансированную систему цен продолжается перекачка средств из России в ряд республик. Русские оказались нежелательными «мигрантами» уже не только в Эстонии, Литве и Латвии, но и в Грузии, которую когда-то спасли от уничтожения. Они должны будут подчиняться законам о языках и в обязательном порядке учить второй, а может быть, и третий язык, забывая «за ненадобностью» родной. В то время как звучат призывы об отделении той или иной республики, русские видят на всех своих рынках и среди кооператоров представителей этих же республик. И никто не спросит, сколько же русских торгует на рынках других союзных республик?

За 4 года перестройки не восстановлена ни одна политико-государственная структура России, кроме Академии художеств, не возвращены исторические названия ни одному русскому городу, кроме Рыбинска, не появилось ни одной новой российской газеты, молчит российское радио и телевидение. Ряд деятелей МДГ вполне серьезно предлагают вывести Россию из состава РСФСР, ужав ее территорию до границ Московского удельного княжества. Продолжается не санкционированный никакими демократическими решениями процесс передачи исконно русских земель жителям Средней Азии.

Все это происходит на фоне вакханалии нападок на русский язык, русскую историю. При этом полностью замалчивается вклад русского народа в развитие многих наций и народностей нашей страны. Деградирует русская семья, но никак не обсуждается проблема появления в ней третьего и четвертого ребенка, без чего нация обречена на вымирание.

Длительная практика коренизации кадров, не распространявшаяся на русских, привела фактически к их дискриминации при приеме в вузы, аспирантуру, докторантуру. Сегодня образовательный уровень русских один из самых низких в государстве.

Закрытие областных издательств сделало безысходным положение русских талантов в провинции. Разве можно сравнить возможности творческого роста и развития для эстонца, например, в Таллинне, где существуют многочисленные издательства, киностудия, Академия наук, и русского в городе такого же экономического потенциала, как Таллинн? Что есть в Перми, Омске, Костроме, Тюмени?

Фактически сложилось положение, когда районы к западу от Москвы являются фасадом, куда возят иностранных туристов и артистов, а восточная глубинная Россия — задворки. Между тем на этих «задворках» добыты тысячи тонн золота, горы судьбоносных для страны сырьевых ресурсов. Трудовая

напряженность населения, его продуктивность в этих районах ни в коем случае не меньше, чем в других регионах страны.

Вместо серьезного анализа деятельности Наркомата по делам национальностей, возглавлявшегося Сталиным, предпринимаются попытки дальнейшего дробления страны по национальному признаку, политической, экономической и национальной сепаратизации, что находится в вопиющем противоречии с мировым опытом. Механистический принцип определения нации и бюрократическая подгонка живой действительности под этот принцип ведут страну к средневековой замкнутости в границах карликовых псевдогосударств. Все это полностью противоречит долгосрочным политическим и экономическим интересам народов нашей страны, ведет к минированию страны новыми Карабахами! В этих условиях особую значимость приобретает качество нового республиканского депутатского корпуса, формировать который предстоит гражданам России на ближайших выборах.

Мы выражаем серьезную тревогу в связи с имеющими место попытками дискредитации Армии, снижением уровня державного патриотизма нашей молодежи. Эйфория от расширяющихся внешнеполитических контактов не должна заслонить тот очевидный факт, что обруч американских военных баз вокруг нашей страны не ослаб, разоружение пока идет в одностороннем порядке, к технологической блокаде КОКОМ присоединилась Южная Корея. Языковое насилие, планируемое в ряде республик, может вызвать опаснейшие явления в Армии, взаимное отчуждение, непонимание приказов, сепаратизм в мыслях и чувствах.

Молодежь всех республик должна воспитываться на идее величия общего советского Отечества, нерушимости его границ, монолитной целостности страны. Держава — как идея, держава — как сознание, держава — как военная структура — вот на чем нужно воспитывать молодежь! Новое политическое мышление и признание нашей страной приоритета общечеловеческих ценностей не отменяют жестокой необходимости иметь боеспособную Армию. У нас слишком горький исторический опыт в этой области, чтобы предаваться необоснованному пацифизму!

Мы ставим вопрос о судьбе российского золота, о прекращении его неоправданного вывоза за границу, категорически возражаем против раздающихся призывов шире использовать золотой запас страны. Транснациональные экономисты, как зарубежные, так и отечественные, внушают мысль, что золото утрачивает свое значение, но почему-то не объясняют, в чем причины продолжающегося накопления золота в банках Нью-Йорка, Лондона и Женевы!

Руководствуясь всем вышеизложенным и объединившись в Российский депутатский клуб, мы предлагаем всем народным депутатам СССР от Российской Федерации поддержать следующие предложения:

1. Распределять бюджет Союза ССР в строгом соответствии с вкладом каждой из республик и прекратить безвозмездные дотации.

2. Провести пересмотр нормативной базы с целью оптимизации структуры централизованно определяемых цен на продукцию обрабатывающих отраслей и ресурсы.

3. На основе пропорциональных отчислений из бюджетов всех республик создать Всесоюзный фонд помощи на случай стихийных бедствий и катастроф.

4. Предложить II Съезду создать Демографический комитет, провести в нем специальные слушания, разработать перспективную программу и принять ее на весенней сессии Верховного Совета СССР. Использовать только демократические принципы в проведении миграционной политики, создать специальный подкомитет по миграции в Демографическом комитете.

5. Проводить активную государственную политику в области образования и подготовки кадров высшей квалификации, направленную на пропорциональное представительство всех наций и народностей в образовательной и квалификационной структуре населения страны.

6. Создать в РСФСР Академию наук.

7. Создать в РСФСР Гостелерадио и открыть областные издательства.

8. Обеспечить реальный доступ к национальному культурному наследию независимо от его современных идеологических оценок. Переиздать в достаточном количестве отечественную художественную, философскую, экономическую, историческую и религиозную классику.

9. Возвратить исторические названия и принять Закон об охране названий.

10. Использовать для патриотического воспитания молодежи прогрессивную национально-историческую символику.

11. Обратиться с просьбой к Верховным Советам и Правительствам всех союзных республик более строго обеспечивать фактическое равноправие всех наций и народностей независимо от места их проживания. Отказаться от принципа деления наций на «коренные» и «некоренные», как противоречащего Конституции. Поставить вопрос о создании двухпалатных парламентов в республиках с неоднородным национальным составом.

АСТАХОВА М. М. — г. Белореченск; БЫКОВ Г. В. — Ленинград; БЫКОВСКИХ Н. Г. — г. Старый Оскол; ВАСИЛЬЕВ С. В. — г. Тюмень; ВОЛОШКИНА Л. Ф. — г. Армавир; ГЕЯСИН К. Г. — г. Невинномыск; ГЛАЗУНОВ А. Н. — г. Липецк; ГЛАЗУНОВ В. И. — Саратовский р-н, с. Клещевка; ДЕМИДОВ А. И. — Ленинград; ДЕМИДОВ Г. И. — г. Пенза; ДЕНИСОВ Н. П. — Горьковская обл., Арзамасский р-н; КАНДАУРОВ С. Н. — г. Курск; КАРЕПИН В. Е. — г. Улан-Удэ; КУПИН А. Д. — г. Майкоп; КОСТЕНКО В. И. — Белгородская обл., г. Щебекино; КАРАУЛОВ А. О. — г. Горячий Ключ; КОТИК В. Д. — Хабаровская обл; КИРИЛЕНКО Н. А. — г. Кондопога; МАРМИЛОВ А. Н. — Приморский край; МАТЮХА В. Н. — г. Нефтеюганск; НЕЧЕТНАЯ Н. П. — г. Клинцы; ПАНТЫКИН В. П. — Владимирская обл.; РЯЗАНОВА Г. И. — г. Пермь; САВЧЕНКО Н. В. — г. Новороссийск; СОБОЛЕВ В. В. — г. Красноярск; СТРЕЛАВИН С. В. — г. Кызыл; САПРЫКИН А. В. — г. Липецк; ШУЛЬДЕШИВА А. В. — г. Тюмень.

* * *

ОТ РЕДАКЦИИ. Встреча народных депутатов СССР в Тюмени, чье обращение приведено выше, состоялась 20—21 октября. А спустя всего три дня, 24 октября, — в развитие процесса консолидации патриотических сил — в Москве было проведено учредительное собрание клуба российских народных депутатов СССР и избирателей «Россия». Учредителями стали: Объединенный фронт трудящихся России, Союз писателей РСФСР, Всероссийский фонд культуры, журнал «Наш современник», газеты «Советская Россия», «Литературная Россия», Комитет по спасению Волги, издательство «Советская Россия», движение «Единство». В состав совета клуба «Россия» вошли видные советские писатели В. Астафьев, В. Белов, Ю. Бондарев, главный редактор журнала «Наш современник» С. Куняев. Председателем избран народный депутат СССР, рабочий лидер Вениамин Ярин. Среди сопредседателей публицист А. Салуцкий.

В Уставе клуба записано: «Клуб содействует работе российских народных депутатов СССР путем создания постоянно действующих групп специалистов; члены клуба организуют и проводят встречи депутатов с избирателями и трудовыми коллективами; клуб организует гласное обсуждение готовящихся и вынесенных на рассмотрение Верховного Совета СССР и Съезда законопроектов. Клуб осуществляет выпуск и распространение информационных материалов».

Телефоны клуба: 298-81-96, 921-43-07.

Аркадий САВЕЛИЧЕВ

ПЕРЕБОРЫ

РОМАН

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Удачный сбыт льна распалил молодого председателя: с обозом они еще несколько раз сгоняли в Череповец, и все с деньгами возвращались. Даже Матвей Макарович, забиравший в Череповце все большую власть, подивился: «А ты, парень, охотник! Что ж, стреляй... пока самого за флажки не загонят». Вторую часть его похвалы Дмитрий пропустил мимо ушей, а первую запомнил, как и слова Самусеева: «Мне бы до того недодуматься. Видно, времена другие пошли...» И тоже грустную половину самусеевской речи не взял во внимание, а лишь посвистал: «Где ему, старому пню!» Сорокалетний Самусеев был в его глазах уже каким-то далеким пережитком; он привечал его, но считаться с ним не считался. Когда тот завел было песенку о вреде торгашества, без обиняков осадил: «Я ж не семена на самогонку меняю!» Так и задохнулся на полуслове Самусеев. Нечем крыть.

С Самусеевым они целую зиму вдоль каких-то красных флажков ходили. Вопрос только: кто охотник, а кто добыча? Но в охотники, тем более уж за рублем череповецким, Самусеев явно не годился. Отстрелял свое, отвоевался. У Самусеева вечная, неизбывная вина в душе; какая охота, если рука дрожмя дрожит и глаза давно мушки не видят... С ним можно не церемониться. Можно и так сказать: «Федор Иванович, власть председательскую я сам в очко выбил, сам и на прицеле держать буду».

Как раз и вышел очередной разговор. Самусеев зашел вроде бы на огонек, но все с теми же поучениями:

— Насты начинаются, навоз возить пора.

Дмитрий и сам понимал, что пора, однако же возразил:

— Успеется.

А дальше уже обычным криком пошло:

— Успеется, а как не засеется?

— Засеется...

— А как и засеется, да не созреется?

— Созреется...

— А как и созреется, да трудодень-то пробалабонишь?! Как в прошлом году?

До таких крутых напоминаний Самусеев еще не доходил. Самое обидное, что бил по больному месту. Было дело: пробалабонил! Да ведь кое-что выкроили? Наскребли?

— Если и пробалабоню, так не за сивуху же! Не твоему Матвею Макаровичу!

Окончание. Начало в № 11 за 1989 год.

— Так он вроде уже и твой?

— Ну и что — мой? — сбился с тона молодой председатель. — На меня, значит, и будет работать. Огурцы к нему повезу! Редиску! Капусту! Да хоть и лен опять же? Да хоть и картошку?..

Самусеев долго одной рукой крутил цигарку, долго цыркал сквозь зубы, прежде чем уступчиво рассмеялся:

— Так для картошки-то еще больше навоза нужно. А для огурцов-то — хорошо бы и конского.

— А то не знаю! — хмыкнул Дмитрий.

— Знать-то знаешь, да делаешь-то на смех. Где тебе с Матвеем Макаровичем тягаться! — вспомнив свои с ним счеты, Самусеев зло, разобиженно махал фукающей цигаркой, пока под порог ее не швырнул.

У Самусеева пустой рукав, вырвавшись из-за пояса, как кистень заходил, а ярый шнурок на щеке совсем расшнуровался. Чего там, и у Дмитрия яблоки зеленые по скулам покатились! Кто колхоз довел до ручки? До самой смертной голодухи! Но и Самусеев не промах. Самусеев свое: не пыжься зря-то, тоже только восемьсот граммов и наскреб на трудодни, да и то, мол, по моим советам, ячменьком гнилым да овсецом, а рожь-то, мол, не хуже моего поразбазарил, с трибуны пустил на ветер — считай, все на тот же голодный... Славно расходились мужички!..

Вдруг в самую кухонную раму громко всхрапнул конь, стукнули, чуть не высадив окно, оглобли в стену, дверь на крыльце — враспашку, в сенях — настежь, и вот они, гости! Демьян Ряжин да его племянник, сбежавший пахарь, а для Самусеева — так вроде как и сын...

— Здравствуй, папа, — по-городскому поздоровался он, не глядя на нынешнего председателя.

— Здоровы будем, — тоже ни на кого в отдельности не глянув, но весело кивнул старший Ряжин. — О чем кричите? Мы с моря еще услыхали.

Ругаться в такой обстановке не было никакой возможности. Дмитрий с облегчением рассмеялся:

— Неуж с моря? Мы вот с Федором Ивановичем вечный перекор ведем: как жить да быть да как в вашем проклятом Череповце деньжат добыть. Наличненьких!

Самусеев заподергивал плечом, запохаживал по кухне. Опять мог сыр-бор разгореться. Но решительно вмешалась прибежавшая на крики Верунька:

— Ко дну вас головой, с вашими деньгами! Выметайтесь из кухни. Ужин пора готовить. Гости как-никак в доме.

Все четверо мужиков уступчиво завздыхали, — слава богу, можно не ругаться! — перешли на чистую половину и расселись вокруг стола, словно уже там кипело-шипело. Дмитрий хозяином в красном углу, под темной, неизвестно кого изображающей иконой,— видно только, что двое, как два друга закадычных. Как и на фотографии — покойный Клим Окатов с покойным же Кузьмой Ряжиным по правую руку; тоже, как и икона, потемнели, темью вечности... Но еще можно было различить: Кузьма в косоворотке, а Клим в пиджаке и галстуке, пририсованном услужливым фотографом. На пару, как знали, что в последний раз, фотографировались в Череповце; Демьян, уже городской житель, и затащил их туда, поэтому точно такая же фотография была и в доме у Ряжиных-Самусеевых, только с самим Демьяном вместо Клима Окатова. Сейчас, спустя десять лет, тоже разницы не чувствовалось: все иконно потемнело, и поменяй местами — не скоро разберешься...

Но Демьян, видно, разобрался, Демьян кивнул:

— Ну, здорово, мужики. Здорово, брат. При такой компании можно бы и помянуть вас... да ваши же фронтовички пограбили. Придется насухую...

— Как насухую? — робко, сидя с краешку, возразил Юрий. — А моя-то сумка?..

И ловко так, стервец, из-под лавки горлышко выхватил и со знанием дела донышко на стол припечатал.

— Ну, Юрка! — возликовал Самусеев. — Ну, отмах беглый! Уши бы тебе драть, а тебя хвалить приходится.

— Ну и хвалите, а я домой побег, — посидев только для приличия, поднялся Юрий, и как раз вовремя: младший братец, Санька, босиком влетел. Прямо на грудь:

— Ты чего до нас не дошел?

Видя возмущение этого самого маленького ряжинского оботура, и дядька его повинился.

— Ты, Саня, не ругайся. Председателя через двойные рамы услышали, — подмигнул он Дмитрию. — Нельзя мимо начальства проходить, зашли вот... Сейчас вот и домой. Правда, Юрка?

— Я-то домой, а ты как хочешь, — независимо встал Юрий, прямо с Санькой на руках. — Да и ты, папка, не засиживайся, — с укором Самусееву кивнул.

Юрий унес на себе голоногого, визжащего от радости братишку. И Самусеев не скрыл радости:

— Вот видите? Кто он мне? Никто. Ни по матери, ни по материной тетке. А завсегда так: па-апка!

По трем стаканам разлили, в три руки взяли, в три глотки хукнули:

— Хо-хо-роша череповецкая! Жаль, сумка у Юрия маловата.

Верунька сердилась, жаря на таганке яичницу. Как ни жарко взялось щепье, сковорода все равно запоздала.

— Да ну вас всех, ко дну вас головой! — рукой махнула, убежала доданвать корову.

Тут-то и начался настоящий разговор. Мужской, спокойный.

— А что, Димитрий Климович... — откинувшись на лавке, пустил Демьян по столу пачку «Беломора», — что говорить, парень ты хваткий. И мысли твои мне хорошо известны. Думаешь так: в Череповце деньги не сеют, сами растут — давай-ка их пообмолотим! Молоти, чего ждать? Такой город, такая стройка, такая прорва людей! И все есть хотят, заметь. И все, заметь, с деньгами, хоть и не даровыми, как ты считаешь. Деньги, их заработать надо, горбом! Спроси у Юрки. Но и есть надо, тут уж ничего не поделаешь. И чем больше едет людей, тем больше давай жратвы. Смекаешь? Пока вот корчи, вроде Самусеева, — кивнул он как-то без обиды, — пока они на своих послевоенных вырубках раскачиваются, ты и крути зеленой макушкой. Ты свежий побег. Строй теплицы, коль задумал, чего ждешь?

— Стекла нету, — буркнул Дмитрий.

— Н-да, стекло...

Самусеева вроде бы толкнули нечаянным корчом, но он этого не заметил и, себе же вопреки, напомнил, явно не без умысла:

— Как у себя огурцы сажаем? Траншею копаем да сверху чем бог пошлет в холода закрываем.

— То у себя, — тоже напомнил Дмитрий. — С два стола и траншейка-то. Видишь разницу?

Разница очевидная. Можно на том и успокоиться...

Но и Демьян, хотя давно отрезал себя от деревни, свое вспомнил:

— Батька наш как делал?.. Стекла и тогда не было, да и дорогое, так он жерди поперек траншеи клал, на них ряднину натягивал, а к сенокосу уже с огурцами.

— То к сенокосу, а мне раньше надо, — Дмитрий упрямо гнул свое. — Дашь стекла, Демьян Иванович?

Так разговор повернул, что вроде и не просил, а законное требовал.

— Хват, хват ты, парень! — повторил искренне Демьян.

— Чего хватать-то?.. Даешь, что ли?

Самусеев покрякивал, видя, как прижали начальствующего земляка. Тому пришлось соглашаться:

— Что делать, дам, пожалуй... Но немного. И больше порченого — рам косых не нагородишь. Подумай?..

— Подумаем, а ты, Демьян Иванович, все-таки и хорошего стеклышка дай. А мы взамен... — он замялся, не решаясь назвать цену. — Взамен-то мяса да молока для вашей столовой.

Демьян от удивления и папиросу в стакан сунул, а Самусеев — тот просто вскочил:

— Что говоришь?! Дело это незаконное, дело подсудное.

Но Дмитрий не отступал:

— Незаконное, дак узаконим. Дурак я, чтобы в каталажке вошей кормить?

Пришло самое время помолчать. Дмитрий всего-то не договаривал. Не из опасения, что разболтают, а из опаски делить шкуру неубитого медведя. Только лукаво и настырно спросил:

— Так приезжать? Через недельку, ежели?

Тут уж было впору стенам удивиться. Самусеев на него как на блаженного посмотрел, Демьян как на дурного глянул, и оба в один голос:

— Так ведь снега?! Снега везде?!

И он — тем стенам удивленным:

— Сойдут у меня как миленькие. Может, я по заказу весну истребую?

И истребовал. На другой же день после встречи с Демьяном Ряжиным, приезжавшим, надо сказать, не на колесах, а на санях, возвестил: «На траншеи огуре-ечные!..» Мало кто верил в затею Дмитрия Окатова, но дома сидеть не хотели. Только что масленица отошла, тихо и незаметно по бесхлебью, без костров и песен, а тут новая настала — председательская. Сумасшествие охватило всю деревню: стар и мал из дому высыпал. Лошади по насту полетели в лес, ребятишки, бросив школу, повалили на зимний огород. Было тут такое затишное место — лесное польцо, среди густейшего ельника. И всего-то гектара два, но на южной угорице и, главное, не пробиваемое ветрами. Основатели здешнего колхоза еще помнили, что был выруб одного отделившегося хуторянина: пожить хотел на просторе в свое удовольствие, да не пришлось — раскулачили, так и не дав толком поднять пашню. Пожог был ровный, уже раскорчеванный и однажды распаханный, в свое время, уже при колхозе, даже клеверком засеянный, так что не сразу лес пошел. Косили тут тишком для своих коров, а больше для лосей: лесники стожки ставили. Правда, в войну не до лосей стало, вдовы до потайного сенца не могли добраться — зарастала лесная дорога. Теперь вот вспомнили и по насту проторили. Припомнили и незадачливого хуторянина — Василиса Власьевна покаялась, что на его польце еще в довоенные годы сенцо тишком покашивала, а зимой вывозила. Она-то, старая скотница, и повела туда деревенскую команду. С топорами, с деревянными лопатами. «Копай», — велел скорый не только на слово — и на руку — председатель и сам пошел первой траншеей. Но тут же выяснилось, что до зеленой травы хватит одного лишь снегу копать: даже здесь, на теплом угоре, проталины только-только проклевывались. И вот Самусеев, смотревший на все это как бы со стороны, хмельно и угрюмо, по-своему подсказал: «Кончай дурную работу. Как, бывало, зимние окопы?.. Вали сушняк прямо по снегу да поджигай». Прищемило председательское сердце, но стерпел Дмитрий и согласился: ладно, по снегу. У Самусеева, хоть повоевать толком и не пришлось, военная наука сказывалась. Дмитрий безропотно погнал лесной вал. Сушняк был рядом, частью на лошадях, частью и волоком подтаскивали. Ребятишкам — забава, огороду этому оснеженному — огнище. Как навалили первый вал, Дмитрий, для поощрения ребятишек, велел поджигать; но Марьяша ввязалась: «Растает вокруг-то, по грязи таскать?..» Мать — не

Самусеев, прикрикнул, хотя пришлось и тут согласиться: верно ведь, подтопят наст, к другим валам не пролезешь. Нетерпеливые ребятишки приуныли, а делать нечего: до полудня, пока держал наст, сушняк валили. Четыре гряды набухали, потом избили наст — еле лошадей успели отвести. Вот тут уж Дмитрий больше не томил: «А ну, помощнички, чирка́й!» И сам коробок Веньке сунул — ценность немалая и доверие к тому же. Венька с великой осторожностью принял в ладошки коробок, носом в хворост уткнулся; но загорелось у него только с третьей спички, когда закрылся от ветра еще и полами кожушка. Зато и взялось, зато и понеслось вперекидку, подгоняемое и другими поджигателями. Самосеевская братия старалась: Юрась-карась, Венька-серединочка и особенно Санька-поскребыш! Свой оголец, хоть и вертелся, в счет не шел: катаночки приходилось в снегу подтаявшем искать. Сухой ельник с одного конца на другой пошел плясать вприсядку, а потом как затрещал, как взвился, как полез огненными грядами к небу — прямо страсть, забеспокоились: не перекинуло бы на лес? Тогда уж и самим с этой глухой поляны не выскочить...

До самой сутеми бушевало пламя, вздымаясь жаркими грядами, на которых мерещились огурцы, помидоры, и даже какие-то арбузы, о которых и слыхом-то мало кто слыхивал, разве что ленинградец Самусеев. Дмитрий отпустил женщин, а сам остался с ребятишками. Огонь подживляли, чуть ли не в огонь лазали, а мороз во внимание не приняли. Того самого, дедушку извечного. Как прогорели жаркие валы, он и посмеялся к вечеру: «Ну-ну, попляшите-попашите у меня!» И на ночь поднажал, да так, что на другое утро все опять заново начинай. На голой теперь земле... Но, попугав, и надоумил: сухостой возите по раннему насту, а жечь-то лучше к ночи. Чтоб к утру была талая земля.

На ночь ребятишек, конечно, не отправишь, Самусееву с одной рукой не управиться, самому — так ведь и днем надо крутиться, как не спавши? Немала деревня, да послать некого, без мужиков-то...

Не было б счастья, да несчастье помогло. Павлуша Лесьев опять в бега пустился, к Иванцову в компанию, и опять Капу резать прибегал — вот тут и перехватил его Дмитрий: зачем в доме-то? Такие хорошие Капины стены еще кровищей закапаешь! Валяй вместе с Капой в лес, там и точи ножи. Лошадку, чтоб не застыла, в деревню угоним, а розвальни сеном набьем да тулуп колхозный дадим, авось не замерзнете... как резаться будете... Знал Дмитрий, чем пронять. И надо же, пошел точить ножи Павлуша! Надо же, и Капа с радостью под ножи бросилась!

А наутро по первому насту сбегал Дмитрий к их костерку и — уже без всякого ехидства — велел срочно запрягаться да плуг болотный на сани грузить. Ничего не скажешь, Павлуша с Капой нагнали за ночь жару! Он лошадь из саней выпряг и в плуг поставил. Тяжеловато? Пожалуйста, и другую пристегнул. Но лошади снег никогда не пахали, идти не хотели. Еле свел с наста на горячее пепелище. Ну уж и пошел плуг, и запари́ло вокруг! Как ни глубоко брал канавокопатель, до мерзлоты не доставал. Может, уже и не было мерзлоты под мякотью.

Наладив пахоту, Дмитрий к плугу мать приставил, а остальным велел брать лопаты, теперь железные, конечно. Разваленные канавы следовало еще выровнять. Дело нешуточное, если всерьез делать. Он наказал везти с конюшни навоз и, пока земля не остыла, катышами заваливать. Тяжко, нудно, но двинулось дело, посильное разве таким окопницам, как Ия да Светка Барбушины, — первой военной осенью их гоняли на окопы под Тихвин, не забылось, видно. Да и у тех через недолог час дело совсем разладилось, хоть сам теперь в траншею вались... Руки у Барбушат опускались, ноги не двигались, спины не гнулись — не девки, старухи пришибленные. Дмитрий просил, Дмитрий ругался — все без толку. Еле прошли одну траншейку.

По справедливости, и то хорошо. Успели выровнять, успели и на-

возом проложить. Сверху зольной теплой землей привалили. Сей огурчики!

Это, конечно, только к слову — сеять. Огурчики еще во влажных мхах по печам нежились. Им и за неделю только по два листочка удалось выпустить. Но ведь удалось?.. Вот эту-то неделю и нельзя было упустить.

Мороз, помаявшись с безумными людьми, в конце концов отступился. Ну их к бесу, сказал! И убрался в свои дворцы ледяные. А на смену ему весна-красна детское личико выставила. Еще робко, боязливо, но пошла озираться по опушкам. Тут уж прошлогодняя трава, как молодая, повыскакивала — радовала. Прогретые траншеи уже не замерзали. Василиса Власьевна, от всего освобожденная, спешно ткала ряднину — похуже да пореже. Почти и не пристукивала бёрдом. Жаловалась: стыдно ей за такое худое тканье, но полотнища исправно выдавала. Траншейки копали как раз на ширину ряднины. Дмитрий уже загодя и перекладины уложил — как оказалось, тоже зря. Весна только кончик носа показала, не совать же слабый росток в холодную землю. Само собой выходило — перед посадкой снова грей землицу. Теперь поменьше требовалось сухостоя, но и путь от леса до траншеи хуже, снег да грязь с водой пополам. Ближний ельник уже подчистили, таскать приходилось издалека, на себе. В лесу таяло плохо, лошади резали ноги о наледь. Жалко. А люди — они таковские, чего жалеть их. Себя-то Дмитрий за троих битюгов гонял: приспособился таскать сушняк на зеленых волокушах. Дело нехитрое: две елки в оглобли, а на них вали сколько валится. Председательскую норму, полнешенькую.

И когда первую траншею, унавоженную и подготовленную к посадке, снова заложили мелким сушняком, Дмитрий с утра турнул ребятишек: сами теперь палите! Те убежали целой гурьбой. По дымам было видно, что добежали. Дмитрий велел женщинам грузить рассаду в корзины, да прикрыть, прикрыть на дорожку, а сам, никому не доверяя, стекла повез. На первую траншею, спасибо Демьяну Ивановичу, целых стекол набиралось. Он заранее размерил их длину и перекладины на пару с Павлушей вытесал ровные.

Так и пошло: по горячим пылавшим углям, боронуя их вместе с землей самыми тяжелыми граблями, женщины сажали огурчики, по два слабых листика, следом с метром шел Павлуша и укладывал по траншее поперечины, а уж последним, боясь и дохнуть, Дмитрий пластал стекла. Заводские, ровные, они плотно ложились. Чуть-чуть не хватило до конца. Стекла сразу взмокли: сырая, прогретая земля парила. Долго ходил Дмитрий вдоль этой траншеи с лопатой, самолично каждую щелку с боков подваливал. И успокоился только тогда, когда парок перестал пробиваться. Значит, укрыли.

— Все, бабоньки! — весело сказал он, обращаясь прежде всего к своим верным помощницам Барбушатам. — Осталось совсем немного, разве что загородить, мои миленькие...

Как ни спешили, кругом засечь опушки не успели, да с четвертой-то стороны и не имело смысла: завтра дальше огород продолжать. Сторожа ставить? Такие труды, а одна беспутная животина все ископытит... Но кого? У Павлуши с Капой начинались очередные раздоры, да и Барбушат не оставишь... Пришлось наказать матери, чтоб за малышами присмотрела...

Костер сторожевой пылал, луна горячей женской щекой к саням жалась, ну и Верунька, само собой, под луной пригрелась. Глаз не сомкнули, наговориться не могли. Лежа в сене под распахнутым колхозным тулупом, Верунька, как в первой молодости, все удивлялась:

— Митя, а, мой председателюшко?..

А Митя терпеливо и тихо, под такой палящей луной, повторял:

— Однова живем, Верунька, однова...

Снег сошел, и пошел снег...

К этому времени зимние огурцы уже по пятому листику выбросили. Росли на диво хорошо, и на них поистине молились. Чуть свободная минутка, говорили: «Пойдем на огурчики». И шли, в дождь ли, в слякоть ли. Смотрели через стекла на живые, детские ростки, вздыхали. Надо же, надо!.. По лесам еще белая стынь, утренники калили оголявшиеся поля, а здесь весна настоящая. Стекла запотевали от нутряного навозного тепла, холод в траншеи не пускали. Прямо загляденье, как рвались к свету зеленые ростки! И заглядывались, чего уж, больше меры... Если на переборке семенной картошки кого-то недосчитывались, знай: на огуречнике. Нагорная лесная поляна стала местом вечерних сборищ и одиноких вдовьих слез. Сколько раз Дмитрий гонял Барбушат, а они лишь вяло и разморенно отмахивались, словно и сами из парников повылезали. Да что Барбушата — мать свою Марьяшу точно в таком же состоянии застал: сидит на корточках и смотрит в зеленые стекла, как в праздничные зеркала. Что она там видела, старая?.. Так и сказал ей без жалости. А она подняла голову и ответила: «Мне ведь недавнёшенько за сорок перевалило, Митя. Отец твой, Климушка, привиделся...» Совсем рехнулась мать! Он тоже сквозь стекла посмотрел, но ничего, кроме огуречника, не увидел.

Славные, парные денечки!

И вот все это в одночасье кончилось. И председательские крики, и тайные слезы, и суета вокруг парников. Снег повалил! Да такой, какого и зимой не бывало. Со свистом, с тугим, надсадным воем. Что-то прорвалось в небесах и рухнуло на притихшее Забережье. Вначале только мокрым, тяжелым шквалом, а потом и мороз стал поджимать. Дмитрий как раз был в кузнице, на пару с Павлушей горн задичалый раздували, чтоб плуги править. Они давно возились возле гнилых мехов, до седьмого пота распарились и угорели — не слышали, что творится на улице. Тут и вбежала мать: «Каки плуга-а?.. Погибель ведь!» Когда выскочили вон... глаза бы лучше не глядели... Шел тяжелый и явно затяжной отзимок. Небо сплошь заволокло снеговыми тучами; они тащились над самыми верхушками елей — тех самых, что стерегли огуречник. Где им теперь устеречь! Дмитрий сел на закопченный порог и бездумно опустил голову. Каки-не огурцы?! Такой погодушкой впору повеситься!

Но мать схватила его за шиворот и — откуда силы взялись — поставила на ноги:

— Не сиди, Митя. Беги, Митя. Я сейчас беду покричу...

Беда — значит медная бурлацкая сковорода, притащенная из запасов Максимилиана Михайловича. Печи такой широкой не нашлось, чтобы попользоваться — на столбах у конторы подвесили. Мало ли — заем, лесозаготовки, пожар какой... Вот и вспыхнуло и загорелось на всю деревню. Да и округу, наверно, прихватило — так разошлась мать. Тут уж не лесозаготовки, не заем — тут сама война, знамо... Дмитрию жутко стало, мать словно мертвых поднимала. А что они могут сделать — хоть и мертвые, хоть и живые?.. Снег валил, снег заваливал все их смешные труды... туда им и дорога!

Глаза на свет белый не смотрели, голова думать ничего не думала, а руки свое делали. Руки ельник ломали, в костер валили; руки без топора, но все равно злые. И один, и другой костерище вскинули к небу, прежде чем подоспел Павлуша Лесьев.

— Чего лутошиться? — позевывая, присел он к огоньку. — Добрый снежок идет. Глядишь, и бабу какую слепим да поиграемся.

Невозмутимый вид Павлуши придал голове злой ясности.

— Играйся, играйся... Не наигрался еще...

Следом Капа прибежала, с топором. Вид такой — что и голову с плеч.

— Все посиживаешь, все попеваешь? Бери топор, ирод.

Был Павлуша сегодня такой перед ней насквозь виноватый. Пошел крушить — знай лес загудел.

— Да не сушняк, зелень надо, лапник давай,— заявился и пьяненький, раздраженный Самусеев.— Дымовую завесу! Ставь, говорю.

А тут уже и народ из деревни валил. С Марьяшей во главе. Со старенькой Василисой Власьевной. С Барбушатами даже. И уж, само собой, самосеево племя — эти с Праведницей попереди. А тут — вот уж и не ждали! — рыбацкая артель в помощь. С самим Иванцовым и его неизменной Дудочкой — женушкой поистине командирской.

Снег сыпал все так же обвально, зимне, но уже нестрашно: только теплее укутывал заваленные лапником парники. Шесть белых гряд поднялось на горьком этом огороде, ряд в ряд, по двести метров каждая. И лишь сейчас, когда они вот так зримо обозначились, стала заметна непосильная ширь огорода. Дмитрий запоздало забеспокоился:

— Да ведь его и не полить, гляди!

Марьяша одернула:

— Еще неизвестно, что из-под снега-то выйдет. Не замерзнет, так задохнется.

— Задохнется? — хохотнул от костра Иванцов.— Мы вот, было дело, неделю дохли в наглухо заметенном доте, да не подохли же! А сверху не мороз паршивый — немец целой батареей на нашей горушке! Да ведь пробились на свет божий, как мертвецы восставшие... Что, ваш огурец не восстанет? Жить захочет, так в штыки попрет кверху, как мы из того дота...

Побросав ненужные теперь топоры, иванцовская команда вытянулась в походную колонну, в затылок уходящему старшому. Замыкала строй усталая Дудочка, волоча в руке свою военную сумку, словно след заметала. Сестра милосердная...

Но даже она не могла увести одного заболевшего бедолагу — его охотно и слезно взяли себе в примаки набежавшие Барбушата.

Насмешливо пел ветер, ели, потревоженные рыбарями, смахивали с себя белую пыль. Вот и все...

Надо было и остальным уходить. На опушке, не в пример беззаботному Иванцову, Дмитрий оглянулся: спи спокойно, горевой огород! До свиданьица... До какого только?..

И ему зимний ветер в ответ пропел. Что? Разбери попробуй в этой снежной неразберихе!

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Отзимок наделал беды и в Череповце. Только что по-весеннему начало пригревать кирпич, только что сложенные стены блаженно запарили, как сыпанул снег. Собственно, и шел он поначалу обычным холодным дождем, но быстро затвердел и по-зимнему опушился. Ветер рванул с северов, каменщиков с лесов посметал. Поначалу пережидали в теплушке, а потом по домам разбрелись. Дом — это у кого какой угол; у Юрки Ряжина — раздвижная суконная занавеска в дальнем углу. Роскошь по всем здешним понятиям, какую могла позволить себе разве что негласная комендантша — Фима Аленькая. Там и обретался осчастливленный Юрка Ряжин. Вольность, до которой тоже не было никому дела. Начальство в такие общаги не захаживало, а безногий инвалид для того и приставлен был в гласные коменданты, чтобы водку дуть, карточный стол держать, а когда уж переходили всякую меру — зашибали кого в потасовке и заявлялась милиция,— то надевать боевую, прожженную у плиты гимнастерку и звенеть орденами, пока составлялся очередной протокол. У милиции и серьезной работы хватало: убийств там, грабежей, насилий — не до мелкой шпаны. Общага жила сама по себе; на работу по утрам вываливалась, и ладно. Так что квартировалось Юрке Ряжину за Фимушкиной занавеской — вдвое сшитыми

суконными одеялами — совсем неплохо. Он как раз пообедал оставленным под ватником — горяченьким! — пшенным кулешом, закурил и собирался в ожидании Фимушки уже и сапоги скинуть, как загремел от дверей голос нарядчика:

— Эй, дамы и господа! Фраера и честные труженики! Дистрофики и сачки! Вали на теплоцентраль. Деньги на бочку и по стакану для сугрева. Смотри, не зевай!

Начальство здесь было тоже тертое, знало, как разговаривать. А нарядчики — глотки луженые, души давно отпетые. Если что, им же голову и оторвут, известковое ведро вместо нее на плечи вздёнут. Врать нарядчики не могли, за вранье кровушкой своей отвечали. Раз пришли, так уж пришли. По высшему, известно, приказу. Общага оживленно зашевелилась.

У Юрия не было желания идти на какую-то погибающую теплоцентраль — хватит, находился уже на сверхурочные. Но Фима не вовремя заявилась и начала отговаривать:

— А ты не свисти на ветру, мой миленький. Ты свисти лучше под одеялом. Ря-аженький! Там на верхотуре крыши от снега ломит. Пыльная работенка.

Ряженький!.. Раз вот так заговорила ненаглядная Фимушка, он должен сделать все наоборот. Приказальщица?! Стянутый уже до половины сапог обратно натянул и в губки Фимушку чмокнул:

— Будь здорова, аленькая. Без меня не засыпай.

Характер на характер натыкался, и Фима Аленькая, беспощадная мать-командирша, с этим ничего не могла поделать. Потому что была гораздо старше, а ее ряженький уже начал соображать что к чему. Фыркни — так Юрочку на руках унесут! Власть у нее, конечно, была, но власть тяжкая, а судьбина горькая — уступать приходилось. Чему научила грозная Фимушка, то и получила взамен. Сердцу не прикажешь, сердце у нее, всевластной командирши, ломалось, как соломинка. Перед своим ряженьким всякую власть теряла. Да что там власть — саму себя! В ответ на мальчишеский гонор только и попросила:

— Раз уж деньгу зашибаешь, на рожон-то не лезь. Платят по живым головам.

И это хорошо знал Юрий: в конце дня ли, ночи ли, если уж сверхурочная, становятся в затылок к нарядчику и прямо из его брезентового портфеля получают на пропой души. Ну, каракулю какую-нибудь в ведомости черкнут или крестик — много неграмотных, до денег охочих. Главное, не прозевать, а нарядчику — не просмотреть; дошлый народец, по второму разу встанет и еще одним крестом ведомость окрестит! Но и нарядчики дошлые и очень глазастые, редко удается такой фокус-мокус. Просто играют с устатку, без обиды. Юрий и сам ради удовольствия иногда поигрывал. Чего такого? Разве что подзатыльник да гогот вдогонку — других наказаний здесь не водилось. В конце воскресного дня или какой-нибудь гиблой ночи расходились весело и полюбовно, зная, что строительная нужда вскоре опять сведет всех вместе. Так что и учить нечего: насмотрелся Юрий, настоялся в очередях. Приодеться-то надо? Надо домой хоть немного послать?..

Он к Фимушке привык, он возле нее прижился, но никогда не побирался. И это тоже было для Фимушки великим расстройством. Поэтому Юрий еще раз чмокнул в губки сладенькие и по-хорошему повинился:

— Ты не серчай, Фимушка. Сама знаешь, до денег я жадный.

— Да уж такая жа-адность...— повалилась она на кровать, все еще втайне надеясь, что ее ряженький останется.

Но он ушел. Подзаработать и в самом деле не мешало. За эти простойные дни тариф нищенский бросят — живи-свищи! На тарифе сидят разве что такие, как Нероба. Того на снег и ветер палкой не выгонишь.

Каково же было его удивление, когда по дороге и Нероба пристал! Человек двадцать уже набралось. Пёрли враспашку на теплоцентраль.

— Ты-то с каких таких барышей?

— Барыши... ши-ши!.. Клёшики трэба купляти. Як твои, Юрко,— тяжело топал рядом хохол.

Погодушка как обезумела. Снег еще куда ни шло — каменщику да снега бояться! — но ветер пробирал до костей, гремел на стройке всеми неприбитыми досками, всеми брошенными ведрами и растворными ящиками, и даже скрюченные листы железа по земле катал. Не сразу догадались, что они оттуда, с крыши... А как стали догадываться — поползли на стороны, ну, прямо примороженные тараканы! Напрасно нарядчик стоял с канистрой и кружкой звенел. Фраера и бездомные побродяжки, уже по пять и десять раз вербовавшиеся на разные стройки, марку свою держали, совесть не пропивали. Дело тут ясное: коли уж выпьешь, так и на верхотуру полезешь. Шармачков не любили.

— Тройной калым! Слово самого Ряжина! — кричал посинелый нарядчик, позвякивая жестяной кружкой и себя не забывая. — Записывайся, деньги наперед.

Это уже была новость — явная приманка. Нарядчики в денежки не играли. Значит, на крыше и в самом деле пахло жареным. Но все равно не больше пяти человек встало перед Юрием. Он ухмыльнулся, подходя к кружке, а затем и к ведомости. Круто играет нарядчик! Не проигрался бы... Пить ему было ни к чему, но приложился маленько: нельзя нарушать обычай. А возле ведомости задержался — дядькину резолюцию поверх чистого листа читал. Было там, на не заполненной еще ведомости, кратко, но веско: «Сверх-срочно! Три куска, не жалеть, если и больше». Посмеиваясь над нарядчиком, Юрий фамилию свою на дядькин манер закрутил — с лобастым ряжинским вывертом. Углядел-таки глазастый нарядчик!

— Чего под начальство ладишь? Мне-то все равно, пишись хоть Пряжиным, хоть Ряжиным, — ухмыльнулся понимающе новоявленному фраеру.

— А я — ряженький! — огрызнулся Юрий, забирая из портфеля свои незаработанные деньги, куш тяжеленький.

Умели нарядчики, коль поджимало, расторопно работать: аварийные куши были заранее бечевой связаны, чтоб не считать на ветру. Этот кружкой звенел, а другой, наверно, из десятников или мастеров, в тугом ватнике и монтажном поясе, пояса раздавал:

— Живо, живо наверх. И чтоб без пристежки там не шастать.

Человек восемь добралось до верха, хотя аванс взяло гораздо больше, — ветер срывал вниз даже совестливых фраеров. У Юрия тоже холодок под ватник пополз: на такой высоте бывать не приходилось, даже в тихую погоду. А что против ветра? Брезентовый негнущийся пояс да веревка с барашком. Как лошадь, на привязи носись, пощипывай свою замусоленную денежку. Он на всякий случай поглубже ее в карман запрятал. Опять провозился, сходя с железной гудящей лестницы. И, конечно, на окрик нарвался:

— Чего не пристегиваешься? Жить надоело?..

Мастер уже летал на привязи, и без ветра ветер нагоняя. Юрий тоже пристегнулся. Дело выходило горяченькое...

Под ними, где-то в парном кромешном аду, курились только что пущенные под живой, толком не закрепленной крышей — на весеннее затишье полагались, — громадные, черные, долгожданные, как все говорили, котлы, и вот на них-то сыпалось, лилось и валилось: дождь, снег и всякие сносимые ветром обломки. Там тоже копошились люди, в железных касках — не шуточка! Зависти Юрий не испытывал, хотя им касок и не выдавали. Зачем? У них беда не сверху грохает, у них за ноги тянет... Свались, так и костей не соберешь. Заледенелая крыша, как каток, с полыньями-проломинами. Обрешетка деревянная, жиденькая. Кому-то взбрендило, не обшив сплошняком, только скат закрывать, — для быстроты, весь город горячей воды ждал, — но потом опомнились и второй скат зашили железом. Ветер разметал толь, а теперь и железные листы, с одного ската оголенные, змеями бумажными поднимал на воздух и с лязгом кружил над стройкой. Жуть смертная! Юрий думал, так и проторчит тут, лишь бы самому не сверзиться, но мастер матерно нажимал:

— Давай, давай, вашу матушку!..

По блоку листы железные шли. Дело ясное, учить не надо. Все-таки работает голова у мастера: толем тут ничего не закрыть, толь вырвет из рук. Железо потяжелее. Юрий насыпал в карманы гвоздей, взял молоток поувесистее — и ползком, ползком с листом, брюхом его прижимал, чтоб по ветру не развернуло.

Главное, первый гвоздь засадить, лист пристегнуть — дальше уж легче. Обе руки освободятся. Рукавицы пришлось сбросить, гвоздя ими не ухватишь. Где по пальцам, а где и по шляпке — всадил гвоздище, поехал на брюхе вниз, уже за лист держась и стуча по пути молотком. Правильно его надоумило: от карниза начинать. Как раз и дырища такая, над самым свесом. Веревка натянулась и зазвенела что струна. Глядь, даже мастер подстраховывает, руками держит веревку.

— Чего, барашки расстегиваются? — поднимаясь за новым листом, прокричал ему в ухо.

— Не так чтобы часто, но бывает, — не стал скрывать мастер, подавая очередной лист.

Хорошенькое утешеньице! После второго листа Юрий взял и попросту привязал веревку к ремню. Мертвыми узлами. Второй конец, одобрительно покивав, затянул на балке сам мастер. Юрий невольно оказался на самом адском ветру, на карнизе. Другие возле конька норовили приладиться. Там рядами трубы вентиляционные, можно держаться, там веревки на коротком поводке. Юрий презрительно позыркал на верховых ворон. Черт с ними, шаромыжниками! Больно уж мастер хорош попался, носился по крыше, как непривязанный, его и ветром будто не шибало. Немолодой уже, усы седые. А может, и оледенелые, некогда присматриваться. Случайно только и задержался взгляд: мастер отрывал от трубы Неробу, а когда не помогло, кулаком по рукам шибанул... Взвыл Нероба, но отцепился, пополз по крыше. Умели здесь обращаться с ихним братом! Зря куши не платили.

— Не люблю сачков, — уловив настороженный взгляд, сказал мастер и так швырнул очередной лист, что Юрия чуть не снесло.

— Не люблю...— и он повторил, а что — понимай как знаешь.

Мастер отнес это на счет сачков и подтолкнул Неробу в напарники. С неохотой, но принял Юрий приятеля. Мастер таким же манером, где за воротник, где за шиворот, и другие пары расставлял: кто побойчее — вниз, кто попридуристее — наверх, в подавальщики. Маленько обвыклись люди, начали шевелиться. Незаработанные деньги под ватником шкуру жгли. Кто поднялся на крышу — тот уже поднялся. Мастер шугал покруче ветра. Еще раза два саданул кулаком по сцепленным вокруг трубы рукам, а по одним таким мертвым ручонкам даже сапогом безжалостно притопнул — намертво примерзнуть можно, давай, давай, крутись!

Загремела крыша железом, заскрипела лебедками, застучала молотками. Если кого и сметало, веревки подхватывали. Поверили в них, в этих спасительниц. Вниз на листе катились, а обратно взбирались, как моряки, по стропам. Только свист шел! Юрий уже и не ползал на брюхе; подражая мастеру, в полный рост с листом бежал. Молоток наловчился совать за правое голенище кирзача, значит, всегда под рукой, а гвозди в левом кармане, значит, правую руку можно сунуть в рукавицу. Вот возьми ж ты, от этого и левой руке теплее! Да и сачковала частенько левая, в кармане грелась, например, когда он с листом тащился или порожняком поднимался. Гвоздь на ветру подать, а там хоть на секунду, да в карман. Юрий приладился, ветра уже не замечал. Знай покрикивал на Неробу:

— Давай!..

— Да скильки ж можно?.. — ныл Нероба, примерзая брюхом к листу.

— Ничего, сачки чердачные. Коль так пойдет, часам к десяти покончим, — теплел взгляд мастера, и оледенелые сосулистые усы этого заледенелого погоняльщика уже добродушно позванивали.

Его слова походили на правду: дыры мало-помалу закрывались. Никто ведь и не заставлял делать настоящую крышу; настоящую — ее постелют кровельщики, в ясную и тихую погоду, покуривая и поплевывая в ладони. На таком ветру и морячок, окажись он здесь, не прикурит: плевок сползает с губ ледяным ошкурком. Не стоило рта раскрывать. В конце концов молча приладились. Только уж когда Нероба слишком долго сидел за трубой, Юрий озверело грозил молотком, и подвернись сейчас эти сачковатые руки — так бы и саданул почище мастера! После каждой заминки заново себя приучай, вот в чем беда. Вдруг и ветер замечался, и рука к гвоздям прикипала, и коленки на жести прожигало. Плохо, как замешкаешься; еще хуже, как с привычного шагу собьешься. Уж и не видишь, вверх или вниз летишь. А пока Нероба вылезет из-за трубы, пока заледенелые рукавицы растопорщит, чтобы ими, железными, такой же лист железный захватить и подтащить к своему не в меру работящему напарнику, — всего уж на ветру прожгет. Еще и посмеется:

— Хто робит, хто не робит — яке твое дило?..

Берег Юрий силы, зря на ветер не выдувал. А Неробе только бы позудеть:

— Хто робит, хто грошики считае...

Первых он презирал, вторых уважал. Уж тут ничего не поделаешь — характер. Иногда Юрий оправдывался сочувственно:

— Не могу я тихо, Нероба. Ну, просто моченьки нету!

Но когда он так и раз, и другой повинился, а Нероба в ответ еще глубже забился за трубу, — вывернулся из снежного вихря мастер и тем же, кажется, вихрем выбросил Неробу.

— Что? Что было?.. — почти в один голос вскричали они, со страхом поглядывая на крутившегося по крыше мастера.

Впрочем, у Юрия к страху и восхищение примешивалось: силе-он мужик! Мастер и другого, и третьего сачка вот так же от трубы отшвырнул. Ветер усиливался, снег все жестче твердел, сек голые руки. Мастер на свой манер посвистел вниз, и по блоку вместе с листами железа поползла знакомая уже всем канистра, с привязанной, призывно гремящей кружкой.

— Не замерзать у меня! — железными пальцами побарабанил мастер и первому Неробе кружку протянул, а вслед за ним и другим таким, совсем окоченевшим.

Тут и Юрий хлебнул, и не ради приличия — ничего уже не чувствуя. Что-то и его спина ледяным криком начала кричать; все внаклонку да внаклонку, ватник задирает ветром. Прямо беда!

Наступил час полнейшего забвения, когда все делалось как бы само собой, уже без всякого сознания. Руки притерпелись, ноги привыкли к ледяной крыше, а голова и не нужна была. Голова только мешала. В ней страх держался, усталость постельку стлала. Имея голову на плечах, нельзя на таком снежном ветру работать. Но ведь работали? Значит, безголовые, что о том толковать! Может, мастер подгонял, может, и близость конца работы. Скользили, падали, зашибались, но тащились по крыше с заиндевелыми, грохочущими листами. Как заводные, как снежные призраки. Все сверху обледенело, все приняло ржаво-серебристый окрас. Даже лица того же затертого цвета — ржавчина с наледью пополам. С трудом можно было отличить мастера от какого-нибудь Неробы — разве что по смерзшимся, зарыжелым усам. Мастер больше не отшвыривал от труб, видно, чувствовал предел человеческих сил. Двое все же крепко зашиблись, один за другим мешками скатившись по железу до самого низа. Их подтягивали на веревках и по блоку спуска-

ли в парное, гудящее облако. Помявшись возле блока, и Нероба тушей закоченелой застыл над пропастью. Чертыхнувшись, мастер хотел и его отправить вниз, но Юрий заметил хитроватый взгляд под ледяными ресницами — пинками привел своего напарника в чувство. Мастер одобрительно хмыкнул. Так и работали, под страхом. Нероба шатался, но больше не придуривался. Уже немного оставалось. Торопились, как могли. Вроде и ветер, замаявшись с ними, поутих, и снег поослабел. На последние заплаты навалились с остервенением все, кто был на крыше... Две-три дыры... Только две... Последняя-распоследняя! Ко-онец!

Напарники суматошно и радостно отвязывались от спасительных труб и, друг дружку поддерживая, уходили с веселым топотом по внутренней лестнице. Последний лист оставался за Юрием, тут уж и Нероба не скулил — под самые руки подал, посидел на корточках, пока он первые гвозди бил, и только тогда, отстегнув барашек, ледяными, негнущимися ногами загрохал вниз.

Конечно, не стоило бы отпускать напарника, но Юрий промолчал — дела-то оставалось на три минуты.

Еще на полшага задержался мастер, с каким-то отеческим чувством потрепав по плечу, — это Юрий и сквозь ледяной ватник почувствовал.

— Да вы идите... — смутился он. — Пяток гвоздей осталось-то.

Мастер подхватил канистру и с легким вздохом юркнул в люк внутренней лестницы. Может, и еще кой-какие ветровые-премиальные полагались, да и спасибо работничкам сказать надо — церемония такая: каждому ручку на прощание пожать, чтоб помнил, чтоб в следующий бедовый час обязательно прискакал. Много их, бед нежданных, носилось по стройке, и все больше ночных да воскресных, когда никакими законами люд вербованный не загонишь, — только вот так, горяченьким рубликом, да под звон каленой канистры! Забивая последний гвоздь, Юрий еще слышал на лестнице торопливые шаги мастера, мог бы даже окликнуть и остановить его, мог даже поспеть за мастером, бросив этот распоследний гвоздь, который, как назло, согнулся. Черт с ним! Никто не считал эти гвозди и никто не проверял, как они забиты, — все равно кровельщики будут перекрывать эту залатанную крышу. Но какая-то скрытая обида на Неробу и явившееся вдруг зло на мастера помешали отбросить молоток. Юрий гнул гвоздь то в одну, то в другую сторону, но тот, видно, наскочил на какую-то железку, сломался. Пришлось новый из кармана доставать и колотить поодаль. Торопиться уже было некуда, все шаги свалились вниз. Ветер, как часто бывает, вдруг стих, и Юрий без всякого страха выпрямил усталую спину. Захотелось хоть последнюю минуту бездумно постоять на крыше, глянуть сверху на мир людской. Он впервые увидел город таким большим и молчаливым. Унылые серые крыши опять покрыло снегом, они серебристо отсвечивали даже в надвигавшихся сумерках. До самой Шексны и дальше, до оледенелого, как и крыши, моря, проникал взгляд. Никто бы не поверил, но вроде там, за лысыми зимними заливами, за отдаленными лесами, — крыши Избишина промелькнули. Что-то сияло, просвечивало, позванивало под пологом туч; они шли все туда, в сторону Избишина, волоклись над самыми, казалось, забережными лесами. Юрий не в силах был оторвать взгляд от тяжелых, вдоволь натешившихся над этой землей, безжалостных и беззвучных туч. Хоть бы громом раскатились, хоть бы молнией прожглись! Так нет — грязно-серая жуть; истрепанный полог притихшей, осеребренной земли. Нижний свет подсвечивал закрайки туч и даже в их разрывы проникал; под серым небом нет-нет да и возникали видения крыш, колоколен, каких-то причудливых строений... Юрий дрожал, не замечая дрожи, горячечно искал что-то, собираясь вниз.

Стало знойно и парко спине, покойно и тихо вокруг... Он и не заметил, когда рванул вихрь, даже над крышей приподнял; беспомощно

полетел вниз, все вниз и вниз, так и не догадавшись за что-нибудь ухватиться. Кувыркаясь дохлой вороной, безвольно и странно спокойно, он пролетел по осклизлым железным листам и завис — все той же нелепой вороной — в каком-то голом, белом, летящем просторе... Но тут его наотмашь швырнуло к стене, и раз, и другой, замотало, завертело и выбило из головы всякое соображение...

С веревки его сняла Фима Аленькая. Уже около полуночи. Сердцем почувствовала, не на гулянке задерживается, ой не на гуляночке, и не в школе вечерней, ой не на ученьице ее ряженький и радостный петушок... Прокричал во сне, вороньим голосом прокаркал в самые уши. К чему бы это?! Вылетела Фима из-за ширмы, на ходу набрасывая кофтенку. Так, в ночной рубашке и с голой грудью, и на теплоцентраль влетела. Какой-то ошалелый от сна охранник замахал перед ней ружьем, но она и ружье из рук вышибла, рванулась вверх, безошибочно найдя дорогу на темной, грохочущей лестнице. Безошибочно и через обвисшие, трепавшиеся на ветру веревки перескочила, о тугую споткнулась и, упираясь в трубу, вытащила, выудила наверх окровавленного, заледенелого Юрия.

Ступала по коньку с бесчувственной ношей на руках... Прочь, прочь с дороги, псы сторожевые, говорил ее горящий взгляд заступившим было путь охранникам с ружьями.

Так и в общагу ввалилась. И уж тут полетели команды:

— Мадонна, тащи гусиного сала! Свербейка, давай спиртяги! Кошкодерка, доктора волоки! Раскидушка!..

Никакая Раскидушка или Кошкодерка не посмела переспросить, где в этот час искать сала, да еще гусиного, где отсыпается доктор, где тот же спирт несчастный так вот спокойненько отстаивается? По грозному ночному окрику Фимы Аленькой все в один миг нашлось и все прибыло вовремя, даже застарелый, кашляющий доктор, которого верные Фимины девахи приволокли в собственном голубом одеяле и в голубых же подштанниках. Но старичок оказался молодцом и время на ругань терять не стал, как не стал и трубку докторскую искать. Щетинистым ухом все голое распростертое на кровати тело замерзшего ряженького исползал, исслушал, ловя малейшие признаки жизни, когтистыми пальцами измял, исстукал окровавленные косточки. И тоже не тише Фимы закричал:

— Ну, курочка аленькая! Теперь сама мни и топчи своего петушка. Пока не закукарекает. Да с запиской, с запиской кого-нибудь пошли... чтоб всю медицину мне принесли, да и штаны, и штаны, пожалуй...

Из партизанских докторов был богом посланный старичок, не церемонился. А Фима и подавно: исцеловала, изласкала в собственных руках каждую жилушку ряженького и кровушку свою, как порубленная курочка, в докторскую стекляшку слила — надо же, и кровь у них одинаковая оказалась! Но и не окажись, так сотня завистливых девах за спиной доктора толпилась, как ни шугала их Фимушка взглядом. Не терпелось ведь посмотреть, как мертвое синюшное тело от Фимушкиных целований наливалось соком, вздыхало отогревшейся кожей, яснело, алело под цвет Фимушки, становилось молодым и — что там говорить! — красивым и желанным...

В ту ночь Юрий Ряжин жить начал как бы заново. В больницу его Фима Аленькая, как ни настаивал доктор, не отдала — так и отлеживался за суконной занавесью, с крупозным-то воспалением легких... Доктор называл это безумием, Фимушка называла судьбой. Может, и так, может, и судьба: больница была переполнена разными дистрофиками и сачками, отличить там больного от придурка было невозможно — сам же доктор, не стесняясь хрипом исходящего Юрия, о том и плакался в

минуту доверчивости. Похоже, доктор привык к Фимушкиному лазарету: тут тебе под рукой и няньки, и санитарки, и разные посыльные, и обед со всем таким горяченьким на тумбочке. Фимушка слала команды — грознее, чем генерал в окружении. Да и без команд летели гонцы во все концы. Мужская половина особого интереса к больному не проявляла, а женская самоотверженно стояла на страже. Чего тут было больше, зависти или сочувствия, Юрий и знать не знал. Он лежал под ворохом одеял, глотал из Фимушкиных ласковых рук лекарства, из ее же рук под поцелуи терпел уколы, давясь засипшей грудью, высасывал из ложки наваристые куриные супы, под терпеливое хмыканье доктора с тех же ложек прихлебывал горячее красное вино, с молчаливого докторского потворства согревался под боком сестры милосердной — и день ото дня сдирал с себя одеяла, как капустные листы с кочерыжки. И когда пришло время вставать на ноги, был он, действительно, что кочерыжка, без единого листика. Но живой и невредимый, если не считать зарубцевавшихся шрамов и ссадин — следов злосчастной, бившей его стены. Что удивительно, аппетит появлялся! Хотя чего удивляться? Кости не поломало, ничего смертельно не отбило, но кровищи выпустило до дна, до самого донышка.

Гуляла в нем теперь бродяжья кровушка Фимы Аленькой и звала к лени, любви и гульбе. Даже неусыпная его сиделка удивлялась: «Погоди, погоди, мой ряженький, всему свое время». Но годить он не мог, он жить хотел. Словно и не жил раньше. Приходили вечерами школьные учителя и терпеливо просиживали с ним на табуретке; еще позже приходили непонятные Фимины дружки и подружки и бренчали на гитаре, иногда даже очень хорошо, вороньем обсаживали кровать и дули водку, дули спирт и резались в карты, крича осатанело: «Перебор, моя фартит!.. Недобор, мне пофартило!..» Прогибая до полу железную кровать, на него поглядывали — на забавную игрушку. Он злился, чувствуя, как просыпаются бешеные ряжинские силы. Над его сердитостью тоже снисходительно посмеивались, растрепанные, беспризорные вороны с наколками во всю грудь, да, говорили, и пониже, читай — не перечитаешь. Играть начинали в ватниках, а кончали и без маек. Жарко становилось в переполненной общаге.

Все это ночными кошмарами перед глазами проносилось. От слабости крепко спал Юрий. Но раз не вовремя, видно, проснулся — сквозь натянутое на голову одеяло услышал не такой уж и тихий разговор. Спрашивал, словно допрашивая, совсем незнакомый голос, а отвечал Фимушкин, но тоже какой-то чужой, скрытный. Юрий не прислушивался поначалу — в общежитии даже ночью стоял гул. Да что-то задело его сознание. Выбрался из сладких Фимушкиных видений, самой Фимушки под боком не ощутив, и вдруг укололся о голоса; привык, казалось бы, к уколам, а тут иголки — как каленые — под две лопатки сразу:

— Поигралась, мать моя аленькая, и хватит. Пора выбрасывать игрушку.

— Если бы игрушка, отец фраерной! Называй как хочешь, но по уши втюрилась мать твоя...

— Ну-ну-у, мать моя мамочка! Запела! Добра в тебе этого черпай — не вычерпаешь! Завязывай, говорю...

— Значит, вычерпалось, на последний глоточек и всего-то...

— Так глотани, мать моя ненасытная, глотани!

Горлышко бутылки попеременно побулькало, и они продолжали уже спокойнее:

— Чего мне от тебя скрывать? Повидала я всякого, но рождена-то была, видать, не для всякенького...

— Для принца, матушка?

— Может, для принца, а может, и для каменщика какого... Устала я командовать этой вшивой общагой. Устала!

— Это ты верно говоришь: посерела моя аленькая... В сиделки нанялась, гляди ты!

— Никуда я не нанималась. Видно, время пришло — посидеть на месте. Пошел бы ты, отец, без меня... погулял бы по белу свету! Иль он мал для тебя?

— Не так чтобы мал, не так чтобы и велик. Вдруг с петушком твоим столкнемся? Сама знаешь, не привык я уступать дорогу.

Может, от слабости Юрий еще вздремнул, а может, устали голоса препираться — в забытьи отдыхал.

Очнулся от резкого ора:

— Я все сказал! Кончай, Фимá!..

— И я все сказала! Проваливай, Сёмá!..

— Я повторяться не люблю. Пеняй на себя, Фимушка.

— И я не повторяюсь. Пеняйся с поворотиком, Сёмушка.

Голоса угасли так же внезапно, как и взорвались. Немного и полежал, но когда откинул одеяло — никакого фраера не было. Сидела в ногах Фима и, закрыв лицо руками, плакала беззвучно. Да и плакала ли? Стоило ему скрипнуть кроватью, как отрешенно блеснули глаза:

— А-а, проснулся-таки?..

Юрий не отвечал, теперь уж и не зная — проснулся, нет ли, спал, бредил ли. Случалось с ним: видения разные кружились. То в рыбу обращался и плавал по морю Рыбинскому, могилу матери искал; то крыши под шнуровочку кирпичом крыл, чтобы никаким снегом-градом не пробивало; то свою Фимушку, как капустоньку, по листику по единому до корешка ощипывал...

— Ночь, что ли? — спросил он, чтобы не спрашивать: «А где же Сёмушка-то?»

— Какая ночь! Слышишь, тихо? За получкой все убежали.

Она пугливо и как-то безвольно прикорнула возле него. Фима-то, Аленькая?.. Юрий впервые ее такой видел. И сам не знал, с чего и жалость охватила — так бы и распахнул душу на обе полы, чтобы Фимушку прикрыть. Он гладил ее продолговатое, точеное ушко, в котором слезой кровавой бусинка горела, удивлялся:

— Гляди, как живинка!

— Эта живинка, мой ряженький, целой пятилетки стоит...

— Пятилетки? Стекляшка-то?.. — не доверяя глазам, приник губами к странному стеклышку, которое, вопреки огненному цвету, льдинкой ожигало.

Он так и не решился спросить, с кем это она разговаривала в такое святое для всех время — время получки. Не решился и на другой, и на третий день. Чем дальше шло время, тем меньше собственным ушам доверял. Какие Сёмушки, какие разговоры?! Чего в горячке не почудится! Хитрил, забывая, что горячка уже прошла, Фима была как Фимушка, разве что с налетом тихой и непонятной грусти; ну, словно бы инейком припорошило алый горячий цвет, который все равно жег глаза и душу. Юрий пребывал в довольстве и лени, потому что Фимушка не позволяла ему никуда выходить и потому что доктор-добрячок непонятным образом продлевал и продлевал бюллетень. Славное время настало, райское! Фима-бригадирша тоже редко ходила на работу, уж неизвестно чем и отговаривалась. Обленившимся умом Юрий догадывался, что ее в бригаде негласно заменяет кто-то из верных подруг, но дальше догадки забота не шла. Если уж рай, так и жизнь райская.

В свой срок, и как-то стыдливо, пришли один за другим уже позабывшиеся учителя из вечерней школы; опустив глаза, задавали вопросы, вздыхали уступчиво и ставили кто «удочку», кто «хорошку», а историк даже «отлично» влепил. Тут, пожалуй, и по заслугам — Юрий очертя голову бросился рассказывать, как в Смутное время разбойничали по Северу изгнанные из Москвы поляки да литовцы и как собирает ихние брошенные в болотах пушки и пистоли бывший учитель

Всеборский. Болезненного вида, как и нынешний смотритель маяка, историк повздыхал: «Да, да, Максимилиан, Максимилиан...» — и неожиданно отличил своего залодырничавшего ученика. Единственная высшая оценка — другие все-таки стеснялись: из пятого, в шестой не заходя, загремел прямо в седьмой класс — какая уж наука! Многие как больничный листок отмечали: из жалости. Алгебру — если не за красивые, так, действительно, за болезные глаза... Но как бы там ни было, лежа на боку, сдал за семилетку. Сдал-таки!

После учителей приходил с бутылкой красного вина и с конфетами мастер, что правил аварийными работами. Юрий долго не мог понять, чего он такой пришибленный и чего так униженно кается в каких-то своих грехах. Заскочившая за ширму Фима подсказала:

— А того! Ты ведь не кто-нибудь — Ряжин. Племяш самого Ряжина... который ксивы нам шпандорит... Засудят мастера за технику безопасности. А человек-то хороший. Человек несволочной. Чем глаза на меня пялить, пиши-ка, мой ряженький, объяснительную начальству. Так, мол, и так, после окончания аварийных работ вспомнил, мол, что часы, снятые с руки, на крыше забыл и, ни у кого не спросясь и никому ничего не сказав, полез наверх, пристегнулся опять и стал часы те искать... да и свалился вниз... Пиши, мой голубь. Пиши, как я говорю.

И Юрий тут же написал, что диктовала, будто школьная учительница, Фима Аленькая, а мастер, заплакав, схватил листок, снял с руки часы и убежал... Юрий так опешил, что и не остановил. Уж какое-то время спустя повертел в руках часики:

— Как ты думаешь, Фима, ведь я вроде как выклянчил их?..

— Не выклянчил, а кровушкой откупил, — ответила она. — Спроси у мастера рубаху последнюю — и рубаху с себя снимет. Век будет благодарен.

Юрия потрясло это не меньше, чем скоропалительные экзамены. Он слышал, конечно, что-то о технике безопасности, даже минимум какой-то при повышении разряда сдавал, но никогда не думал, что эта техника безопасности и на самом деле встречается...

— Взрослеешь, ряженький, умнеешь, — гладила по голове, как мать своего несмышленыша, его премудрая сиделка.

Себе не признаваясь, он ждал с таким вот покаянием и напарника Неробу. Но Нероба не приходил. А вместо него поздним вечерним часом, словно намерившись застать всех вместе, заявился дядя — сам Демьян Иванович Ряжин, недоступный и всемогущий «главкадр Ряжин». Одним своим видом поднял на ноги всю общагу. Юрий успел вытолкнуть Фимушку из кровати, но все же дядя, отдернув полог ширмы, насмешливо посвистел:

— Фю-ю-ю, как хороши, ничего не скажешь!

Племянник, может, был и не так хорош, а Фимушка ничего: в прозрачной, что паутинка, шелковой рубашонке, тепленькая и вся как есть словно за горячим весенним стеклышком — насквозь просвеченная. Дядя задержал на ней взгляд, но Фима и бровью не повела, рукой смахнула с табуретки подразумеваемую пыль:

— Садитесь, гражданин начальник!

И только после того, лениво потягиваясь, накинула халат, впрочем, не застегиваясь. Жуть, как хороша была Фимушка! Но дядя после первых прилипчивых взглядов напустил на себя холоднющую строгость:

— Ты писал? — и достал из кармана третьего дня отданный мастеру листок.

— А кто же! — тоже нахохлился Юрий. — Ты моего почерка не знаешь?

— Знаю, да почерк-то больно дурной. Разгильдяйство... Тут и до тюрьмы недалеко...

Юрий переглянулся с Фимушкой, и Фимушка вдруг ввязалась:

— Ну, от тюрьмы, как и от сумы, не отказываются!

— А я уж думал, ты отказалась, Фима Аленькая, — усмехнулся начальственно дядя. — Работаешь-то ведь хорошо, в ежовых рукавицах бригаду держишь.

Вот так-то! Во время его болезни Фима и в бригаду-то не являлась, а начальство этого и не замечало. Ай да начальнички!

— Чего ты смеешься? — перехватил дядя его лукавый взгляд. — Не вижу я ничего смешного. Одевайся и уходи из этого блатного притона. У меня жить будешь. Пока настоящее общежитие не построим.

Теперь уж Фимушка тревожно и обреченно глянула на него. Юрий понял ее, по-ряжински отрезал:

— Никуда я отсюда не пойду, гражданин Ряжин. Я тут начальством поселен и прописан... правда, на мужской половине, сюда вот в гости пришел, с подружкой повидаться... — И дяде на зависть, хорошо так, крепко притянул к себе Фимушку и шебутно поцеловал.

— Как к чистой жизни потянет, — покосился дядя на племянника,— приходи все-таки, теперь в ванне горячая вода. Авось отмоешься. Не залеживайся со всякими-якими...

— Но-но, начальничек! Потише на поворотах! — вскинулась Фима и, не дожидаясь, пока тот уйдет, расхохоталась, как сумасшедшая, и скинула халат.

К третьему разряду, уже денежному, Юрий в свое время готовился долго и самозабвенно, а вот четвертый вышел как премия — неожиданно и негласно. Недели не прошло после возвращения в бригаду, как дядя Паша, вечно чем-то недовольный их бригадир, во всеуслышанье объявил:

— Ряжин, с сегодняшнего дня по четвертому. Так что гони деньгу.

От удивления Юрий промолчал, бригадир молчание явно не одобрил. Не знал именинник, что в таких случаях полагалось — обниматься ли с бригадиром, угощать ли всю бригаду, — но чем-то же надо было отвечать на добрую весть. Он ответил по-своему: с остервенением застучал кельмой по правилу. Кирпич попался горбатый, под правило не садился. Стоял Юрий уже на углу, и от его зачина зависело, как и остальная стена пойдет. На толстом грязном шве — пойдет на толстом, уж ничего не поделаешь. Горбатый кирпич сбивал весь ряд, а Нероба словно нарочно такой подсовывал, да еще и ухмылялся. Пришлось отшвырнуть кирпич — и один, и другой, весь пласт швырком. На ту беду и Нероба подвернулся, заплясал под злой кирпичиной:

— А-а, хай тоби дядя так каменюкой!

Упоминание о дяде занозисто задело самолюбие. Вот оно что! Дядюшка расстарался?

Четвертый разряд — четвертый; четыре каменщика по традиции и носили его. Как четыре угла дома, как четыре столпа бригады. Они стражами неоспоримыми стояли на углах; они задавали ритм, они вели причалку, они и покрикивали со своих высоко поднятых углов на всю остальную братию. Бригадир — бригадир, в ежеминутные мелочи не вмешивался. У него, единственного, пятый, самый верхний разряд; дальше—мастер, личность почти недосягаемая. Мастера никто и не видывал — такие большие участки; бригадир тоже нечасто с мастерком на стене торчал, ну, а угловые заправилы — те лошади ломовые и псы сторожевые одновременно. От них план идет, от них крик: «Гони деньгу!»

Юрий впервые встал на угол. До болезни доводилось разве что кого-нибудь подменять: известно, тут были знающие себе цену сторожевики, могли со спокойной совестью и загулять после получки. Каждый из них получал все-таки вдвое больше вечного второразрядника Неробы. Значит, пошевеливайся, гони кирпич — гони деньгу! — чтобы бригада на бобах не сидела. И как ни ослабел за время болезни Юрий, все-таки гнал. Задиристый стукоток его мастерка — раз ребром, раз черенком,— видно, действовал на нервы. С других углов косовато поглядывали; с

промежуточных стен, где в массе своей копошился, не поспевая, третий разряд, под мастерок матерком позванивало и пóтом шибало. Суетились серые лошадки, закладывая гладкие промежутки стен, — пуды, тонны кирпича через их руки проходили. Ничего, думал Юрий, надвое не переломятся. Он с прошлого лета гнал внутреннюю версту, прежде чем на угол взойти. Жалости к нижней братии не было. Некоторые с начала стройки на вторых разрядах сидят — кто виноват? Он ничего перед собой не видел, кроме отвеса, которым до земли простреливал угол. Молоток и мастерок ходили в руках уже по привычке...

Еле выстоял Юрий на углу этот длинный майский день. Когда уходил с лесов, пошатывало. Ничего, кажется, признали за пса сторожевого. Провожали добрыми взглядами. Даже бригадир в спину понимающе покрякал. А он Неробу глазами искал — извиниться хотелось, ну, может, и поговорить по-человечески. Юрий уходил раздосадованный — и на себя, и на Неробу, и на свой злосчастный разряд. Неспроста далось ему в руки золотое яичко, ой неспроста...

Досаду свою скорым шагом, чтоб не растерять, нес прямиком к дяде. Начальствующий дядюшка недавно новоселье справил — в одном из немецких коттеджей. Два этажа, два крыльца, а сколько уж окон — не счесть; целую двухэтажную половину и занял старший Ряжин. Одинодинешенек! Юрий вещи таскал, видел: комната внизу да две наверху — целая общага выходила... Дядюшка понимал толк в жизни.

Еще на подходе к дому глаза налились, хотя дом-то при чем? Красиво, ничего не скажешь, сработали немцы. Из того же самого кирпича, из которого и они своей бригадой коробки лепили, но там под русты, под ребристые карнизы и карнизики, под чистый, расшитый шовчик. Видел он у одного пленного такую расшивку — золотом сверкала, хоть и всего-то медная. Не ленился в банку с маслом окунать, прежде чем шов отчертить, а после стену ребром кирпича шоркал, до блеска снимал малейшую грязь. Теперь даже не верилось, что из общего штабеля брали кирпич — так отливал он на фоне белых известковых швов. Они в бригаде с известью не любили возиться, серый цемент месили. Наверно, тот же подмоченный цементик и немцы бузовали, но под расшивку-то, верхним слоем, чистую известь находили, вот в чем дело. На красивый игрушечный коттедж Юрий посматривал с черной завистью. Что им, этим чертовым фрицам, срок за такую картинку скостят?

Дядя, на удивление, был у себя, как мысли племяша прочитал:

— Жаль, таких хороших каменщиков домой отправляют...

— Куда это — домой? — с порога завелся Юрий.

— Известно куда, в Германию. Кто хорошо работал, тот раньше и уезжает. Было обещано, слово держи...

— Они-то держали? Они-то с нашими цацкались?

До дяди его слова будто не доходили. Дядя посвистывал, загораживая племяннику дверь на кухню. Там мелькнул роскошный халат, вишневый, с пунцовыми розанами. Женского лица Юрий не увидел, но странно заволновался, всего-то издали и мельком ожегшись о какой-то халат. И дядя вроде как волновался, наверх по лестнице подталкивал. На сволочные немецкие ковры. Юрий по-ряжински упирался, оглядываясь на кухонную дверь; там было тихо, но все равно завораживало.

— Ты чего, племяш?.. — уже всерьез нажал плечом дядюшка.

— Ничего, ничегошеньки! — отрезал Юрий, по-прежнему упираясь на третьей ступеньке.

И вдруг вспомнил, зачем пришел. Даже внимания на хриплое и забинтованное дядино горло не обратил, тут же, на ступеньке, и выложил задиристо:

— Немцы паскудные! Халатики барышные! Теперь и у меня будет денег навалом — тоже халатик какой завести? — Он издевательски, безжалостно глянул сверху. — Только прежде скажи, дядюшка: зачем ты мне разряд по блату подсунул? Прямо с черного крылечка, тишком!

Что я — нищий, чтоб всякие-якие подачки принимать? С барского стола!

Дядя успел протолкнуть его еще на пару ступенек, а там остановился, похрипел в лицо:

— Погоди с немцами, погоди с халатиками... Что с барского стола?! Разряд? Говори толком — какой такой?

— Какой! Четвертый, известно. Третий и без тебя был. Честненький и законненький. Теперь-то чего, в бригадиры раз плюнуть!

— Так поздравляю, племяиничек, — будто и не понял ничего дядя. — С тебя причитается. Как раз и горло у меня вон требует...

— Что мне до твоего горла́, Демьян Иванович! — уже нес напропалую Юрий. — Горло у тебя, понятно, горластое. Ишь какой домишко себе заглотил! Другую-то половину, раз уж так, племяннику бы отдал. Нечего одному-то барствовать.

— А на другой половине немецкие инженеры барствуют. Жаль, не дорос ты до них, Юрий Кузьмич!

— Куда нам, куда... Давай тащи меня поскорее за уши, чтоб от фрицев паршивых не отстать. Давай сразу пятый разряд, давай бригадиром ставь. Чего тебе стоит? Рукой махнуть, плевком шугнуть...

— Та-ак... — вдруг понял все и голосом окреп дядя. — Ты скандалить пришел? А ну выметайся отсюда. О разрядах твоих я не хлопотал и хлопотать не собираюсь. С тобой разговаривать — и подавно. Будь здоров, племянничек!

Юрий выскочил, как ошпаренный, и остановился уже за оградой. Просто ноги остановились, просто глаза в стену, как в зеркало, уставились. Как ни сердился он на этот празднично-нарядный дом, злости явно не хватало. Дом притягивал глаза, притягивал и мысли. Подневольные люди, пленники, даром что без конвоя ходят, — чего им так стараться, чего?! Ради дяди какого-то? Ишь себе домишко пригреб да вместе с шелковым-то халатиком...

Вроде как и обратно повернуть захотелось. Но Юрий знал, что не повернет, и, отходя душой от позорного бегства, рассматривал этот двухэтажный, с мансардой, с колонками и портиками, красиво рустованный дом. Чем-то нездешним, заморским дышали эти игрушечные, покойные стены. И хоть из таких двухэтажных коттеджей составлялась уже целая улица, и хоть жили здесь, конечно, не только Ряжин да пленные инженеры, — многие прорабы и мастера, и даже некоторые бригадиры, например дядя Паша, — но все равно этот дом посверкивал белыми швами слишком назойливо. Может, и получше других был, может, каменщик здесь такой хороший попался, — все равно зависть. Ведь кто его делал?! Фриц! Гестаповец! Фашист!

А пока он обзывал гестаповцами всех поголовно, не исключая и дядюшку, с соседней довоенной улочки вышла фрау Луиза — и прямиком к калитке. И не одна, а с тремя незнакомыми мужиками, явно нездешнего облика, в чистых, отглаженных френчиках и такого же мышиного цвета фуражечках с длинными суконными козырьками. Видеть он эти фуражечки не мог! Знал ведь, пленные уже без конвоя разгуливают по городу и в свою новую Германию собираются, но не укладывалось в голове: как же так, почему их не стреляют, не вешают, как наших-то вешали?! Пока были они в своем лагере за колючей проволокой, пока работали под конвоем, как и наши заключенные, еще ничего, можно было терпеть, но как стали расхаживать по череповецким улицам — уж и терпения никакого не стало. Говорили, перепадало им от наших ничего не прощавших фронтовиков, особенно инвалидов, потому и не совались в одиночку на улицы. Так вот тройками да четверками. Да еще со здешней провожатой... фрау подколодной!..

— Юра, ты чего такой сердитый? — остановилась Луиза. — Говорят, болел?

— Говорят, и кур доят, фашистов вешать нам велят!

Поняли они, но промолчали. А Луиза упрекнула:

— Юра, я шесть лет у вас прожила, зачем ты так?

— А вот так, такой уж я!.. — не зная, что бы сотворить, саданул Юрий сапогом новенькую дядину штакетину.

Нетрудно было догадаться, что он собирается делать с этой зеленой, веселой, сырой и увесистой штакетиной, — все трое непрошеных гостей благоразумно отступили от калитки. Одна фрау Луиза осталась...

— И меня, Юра?..

Он и не собирался на нее замахиваться, но больно уж Луиза настырно нарывалась, — всякую жалость и всякую память у него отшибло...

Опустить безжалостную штакетину он все-таки не успел — кто-то повис на руке. Глядь — дядя, Демьян Иванович!

— Так-то ты, паршивец, гостей моих встречаешь?.. — отбросил он штакетину, а разбушевавшемуся племяннику попросту под зад поддал.— Милая Луиза, — рассыпался в извинениях, — не обижайтесь на дурака! Курт! Фриц! Отто! Не могли, что ли, с одним шалопаем управиться?

— Нам нельзя, Демьян Иванович, — ответил вдруг один из них по-русски. — Через неделю домой, а что будет, если драка?

Они бочком, бочком прошли в калитку, а Юрий, со слезами на глазах и с налитыми гневом кулаками, убежал от этого ненавистного дома. Значит, живут на равных с нашими строителями? Значит, гости? Значит, уже и не фашисты?

Слезы эти, злые и горячие, мог осушить только один человек — Фима Аленькая. Она, утешительница...

«Погоди, дядюшка! — пообещал он в решительном гневе. — Куплю я Фимушке такой же вишневый халатик. Не одним твоим побродяжкам красоваться».

Угроза странным образом успокоила его. Деньги были при себе, магазины еще не закрылись — поди, найдется и получше еще халатец!

Прежде чем идти к Фимушке, рысцой побежал к центру города.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Напрасно племянник обвинял его в барстве. Знал Демьян Ряжин, помнил всегда Демьян Иванович: живи по званию своему. Не меньше... но и не больше большого. С той довоенной поры, когда он молодым инженером строил под Рыбинском, в никому не ведомых тогда Переборах, немилосердную, всеми проклинаемую плотину, с тех лет взял себе за правило: никогда не высовываться дальше собственного носа. Это избишинцам, землякам неотесанным, казалось, что он барствует — нет, их могущественный земляк жил, можно сказать, скромнее скромного, ровно настолько, насколько тянула очередная должность. Собственно, должности менялись, а сам он был неизменен: спокоен и независим. Именно потому, что не жаден до благ людских. Хромовые сапоги, полувоенный шевиотовый китель, желтой трофейной кожи портфель, казенные лихие дрожки, а теперь вот и казенная, пробитая пулями и заново окрашенная машина, возившая какого-нибудь оберста, — вот и все, чем он располагал. И это при его должностях, в самом деле немалых. Преувеличивали, конечно, земляки, но был он если и не первым, — само собой, не первым, — так все-таки в первой начальствующей десятке. Еще одно утвердившееся житейское правило: никогда не становись коренником, ходи в пристяге. Так, еще в довоенную пору, при тогдашней выбитости инженеров, когда целыми десятками увозили их куда-то вниз по Волге, мог он и сам выбиться в начальники над всеми Переборами, знай подставь кому-то ножку, но не подставил же, удовольствовался должностью надсмотрщика над будущим морем — проектным надзором заведовал, если уж говорить точнее; ломались и переселялись по всей Шексне деревни, пристани и даже городишки, вроде запропавшей

на дне морском Мологи, а он все-таки со стороны посматривал. Только поддакивание прорабам в суровых защитных кителях, только контроль и приемка уже готового дела — ничего своего, никакой личной мысли. И потому, когда с началом войны принялись рубить строительные головы, так и не сумевшие все дела на море покончить, — какая стройка обходится без аварий, неувязок и людской перетряски, — ему и прятать голову не пришлось: плотину-то в Переборах строил не он, и не его вина, что растерзанная, развороченная пойма Шексны — двести с лишком километров замертвелых берегов! — так и не набрала должного уровня воды и до конца войны выжимала из себя болотную жижу, чтоб оправдать каменно-бетонный, слезно-людской перебор возле древних Переборов. Болота и умершие под морем реки и речушки в конце концов нацедили чашу необъятного моря, а порубленные головы заново не отросли... У него же — на плечах, на своем законном месте. Не высовывался. В коренники не лез.

То же самое и в войну: когда пал тыловой Тихвин, прифронтовым городом оказался и Череповец; несмотря на его малость, в нем надлежало срочно ковать победу. Много чего оборонного в спешке и суматохе начинали тогда строить, но ничего не довели до конца, побросали и позабыли. Как фронт от Тихвина отхлынул — затихла и прифронтовая суета в Череповце, но опять же не без рубки голов: должен же кто-то отвечать за фронтовые денежки. Кто-то — не Демьян Ряжин! Как мог и сколько мог, он днями и ночами корпел над невыполнимыми проектами, себя и людей... нет, все-таки вначале людей, а потом уж себя... подгонял и подбадривал всем, чем можно, в том числе и дополнительным пайком, а пришло время разбирать грехи — грехов-то за ним и не оказалось. В пятых-десятых заместителях — чего с него взять! Ничего и не взяли, ни единого волоска с головы.

Как бы оберегая его голову, жизнь и в последние военные годы подсовывала должности, за которые в худшем случае дают подзатыльники — выговора. Но велики ли районные страсти и велик ли страх от подзатыльников, к которым любой медведь привыкает? В костоломные Переборы он так и не вернулся, хотя строительные и прочие работы в русле Шексны, проще говоря, по новым неустоявшимся берегам, никогда и не прекращались. Все время где-то что-то валилось и что-то строилось и достраивалось. Без всяких видимых денег и без служебных надежд. Подскребать довоенные огрехи? Хватило ума, хватило житейской изворотливости: не мальчик, но муж шел по земле забережной, кем-то восхваляемой, а кем-то и оплакиваемой. Демьян Ряжин его, свое Забережье, ни восхвалять, ни оплакивать не собирался. Родина?.. Это для Митьки Окатова да для какой-нибудь Тоньки-Лутоньки, Праведницей ставшей. Даже Юрка-племяш этой истовой праведности уже не принимал. Все-таки напрасно тявкал, щенок несчастный! Разряды ему, конечно, дядюшка не давал... хотя тот, кто давал, знал ведь, что удачливый каменщик — тоже Ряжин, как ни крути носом.

Череповецкая десятка, само собой, в обычную десятку не вмещалась, а Демьян Ряжин и в ней не потерялся. Не был он ни главным прорабом, ни главным инженером, начальником строительства тем более, но имя свое имел. Имя это называлось — Кадры. В начальниках отдела кадров он и пребывал, без всякой зависти к другим, благоразумно порешив, что прорабам публично привинчивают на грудь ордена — прорабам же и пятилетку-другую к трудовому стажу прикручивают, тут уж без публичных аплодисментов; как раз одного такого прямо с аварийной теплоцентрали в «воронок» посадили и увезли в заполярный санаторий. Скорый суд над очередным неудачником лишний раз подтвердил его житейскую удачу. Не им сказано: живи и другим жить не мешай. Нового прораба он уже подыскал, а утверждать-то будет начальник — его подпись встанет в приказе, а Ряжин только трудовую книжку оформит, только биографию черными чернилами пропишет, только и всего... Стройка шла, как и положено идти большой стройке: где шажком, где

галопными скачками, а где и через спотыкач. Так от века, и так вечно пребудет. С большого леса большие щепки летят. Демьян Ряжин не хотел быть щепкой, даже такой звонкой, как череповецкая. Ряжин своим топориком сам дрова рубил. Пускай другие собирают щепки, если хотят.

Так думал Демьян Ряжин в минуты душевного затишья, и думал все чаще. Жизнь незаметно и неотвратимо проходила, и с этим ничего не поделаешь. Много прожито-просвистано, к сорока годам подбирается — сколько еще остается?.. Он не упрекал прошлое, нет — он видел неизбежное будущее. Кроме кителя, хромовых сапог и дырявой машины — больше-то ведь ничего и не было. Женой и той не обзавелся. Жена! Одно слово это лет на двадцать отбрасывало. То некогда было, то неохота, а теперь искать ее не надо, по чину и по штату придет... «Как пришла вот и Фима Аленькая, черт ее подери!» — добавил он с сытым смешком. А было ему не до смеха. Фима как раз выходила из верхней спальни.

— Что, начальничек мой? Когда будем жениться? — потянулась она перед ним, ничуть не заботясь о своем роскошном вишневом халате.

— Тебе бы хоть каждый день женихаться... — устало огрызнулся он, швыряя в пепельницу папиросу.

— Не каждодневно, а только по воскресеньям. Вроде сверхурочных! — уточнила, раскуривая от его окурка свою утреннюю папиросину.

— Ну да, ну да... — не знал он, что сказать.

— Ну да, ну да! — она-то знала. — Эх, зря променяла племянника на дядьку! Он вот точно такой же халатик купил, еще и необновленный... — вздохнула она без притворства, сбрасывая с голых плеч этот, обношенный, и доставая из дорожной сумки другой, магазиноскладчатый и тревожный.

— Хор-роша! — не удержался Демьян Иванович на своей сердитой ноте.

— Хороша, да — ша-ша-ша! — недоступным чистым ветром прикрылась, бросив к его ногам измятую, привычную тряпку.

Его поразила эта мгновенная перемена. Не попрошайка, не тряпичница перед ним — дева первого причастия, право! Что-то подобное и раньше бывало, такие вот преображеньица волновали кровь, но сегодня переходило уж всякие границы. Он с оскорбленным достоинством сложил на груди руки:

— Покажись, покажись перед племяшом! Прямо сейчас вот девой непорочной и предстань!

— Ша-ша-ша, говорю! — топнула она не хуже начальника строительства. — Племянника не трожь. Голову откручу и на штакетник для назидания другим повешу. Ой, зря я перед тобой постелилась, ой, дура я набитая!..

— Замолчи!.. — безвольно выдохнул Демьян Иванович.

Фима какое-то время помолчала, уставясь на него тяжелыми, непроницаемыми глазищами, потом, так ничего и не сказав, одним сумасшедшим движением схватила его подарочную, заношенную тряпку и набросила ему на голову — бархатный удушливый халат захлестнулся на горле рукавом, точно живой, разъяренный, и пригнул Ряжина к полу. Демьян захрипел и забился по ковру, ничего не видя и не слыша, а когда вырвался на свет, Фима была уже в платье и аккуратно, по прежним заминам, складывала второй халат.

— С тобой уж и не пошутить... — голодно хватая воздух, вскочил Демьян.

— Один вот так-то пошутил да и окачурился, — и бровью не повела она, запихивая сложенный халат в свою сумку. — Будь здоров, начальничек, и не кашляй. Обещаньице не забывай. Не доводи, чтоб тебе напоминали...

— Фима! — прокричал он уже в захлопнувшуюся дверь. — Фимушка?..

Она и на улице, под проливным дождем, не оглянулась, размахивая так и не раскрытым зонтиком...

Демьян не сразу сообразил, что его больше потрясло: такое вот, бессердечное, бегство Фимы или проклятое «обещаньице». Чего не наговоришь, чего не наобещаешь после полуночи!

Он постарался придать своим мыслям побольше игривости — но ничего не получалось... Обещал-то он не флакон духов и не очередной халатик — ой, что он натворил, дурак небритый...

Долго в этот воскресный сырой день сидел Демьян у окошка и все чего-то ждал. А чего?.. Племянник не заходил, Фима, конечно, и не думала возвращаться, а немцы-строители, жившие на другой половине дома, стали надоедать. Пленными они уже себя не чувствовали и работали только кто хотел — отправки в Германию ожидали. Но Германия-то, как орех, на части раскололась, и там где-то, в недосягаемых для Череповца верхах, никак не могли решить — кого куда отправлять. На Запад или на Восток?! Сами немцы уже тут разбивались на западников и восточников и брали друг друга за старые, хорошо вычищенные и хорошо отглаженные воротники. Крепко-то не ссорились, все еще по привычке побаивались, но могло и до крупной драки дойти. И хоть пленные числились по другому ведомству, нежели вербованные, отделаться от них не удавалось. Стало быть, и тут хорошего мало...

«Стало быть, осел ты, Ряжин!» — от души отругал он себя и почувствовал облегчение. Пожалуй, еще и оттого, что Луиза на улице показалась. Фрау Луиза! Была она когда-то тихая, покорная и на все согласная, чего ни попроси. Жила все эти годы добровольной пленницей, числилась колхозницей, и как стала на череповецких харчах отъедаться — тоже женщиной оказалась, еще не больше тридцати лет, и даже очень справной... «Исправненькой!» — лукаво позлословил Демьян, глядя, как она перебирает ножками, чтобы не выскочить за сетку дождя, падающего с оранжевого зонтика. Фима неслась, как вихрь, дождя не замечая, а эта ни единой капли не обронила на себя, на свое коротенькое летнее платьице. Даже когда калитку открывала — зонт не шелохнулся над ней, словно подвешенный, а ноги не сбились с танцующего ритма. Что говорить, приятно было смотреть на ее уличный танец, приятно и вспомнить прошлую покорность. Не было секретом, что мужа искала, на правах вольной немки во все концы запросы слала, а нашла совсем рядом, в Череповце. Возможно, и не совсем случайно, возможно, какая-то добрая русская душа и направила ее мужа поближе к законной немецкой жене, но ведь и здесь чего-то стоило выделить его из толпы работных пленников и вызвать из колхоза жену — вначале как парикмахершу, а потом и переводчицу. Была, была необходимость: и стричь, и брить, и на понятном языке общаться с пленными строителями. Луиза на все годилась. Все делала тихо, незаметно и быстро. И немного времени прошло, когда ее Отто, задержанный до мирного договора довоенный специалист, поселился в одном доме с ним, Демьяном Ряжиным. Стройка ценила и знала ее Отто, а Демьян Ряжин знал и ценил его Луизу, человека в общении с пленными просто незаменимого... и во всех отношениях приятного... «Даже очень приятного!» — искренне пожалел Демьян, что она со своим нашедшимся Отто отбудет в Германию. Скоро, скоро, как только все формальности уладят... Она ведь из советских немцев, хоть и жена законная Отто, вот в чем дело. Видно, и в довоенное время дорожили этим Отто, если разрешили жениться на поволжской немке.

Луиза шла прямо к Демьяну, не заходя на соседнюю, уже домашнюю половину, где занимали целую комнату. Зонтик промелькнул за окном, Луиза, конечно, видела Ряжина, но через окно здороваться не хотела. Не входило это в ее привычки.

Все как положено: деликатный и вежливый стук в прихожей, вежливое и нескорое шарканье ног по коврику, даже после громкого ответа, извинительное в дверях:

— Можно к вам, Демьян Иванович?

— Можно, для вас, Луиза, всегда можно, — немного встряхнулся он от своих невеселых дум. — Ничего не слышно насчет отправки?

— Слышно-то слышно... Через неделю, говорят. Это уже, говорят, последняя отсрочка. Но кого на Запад, кого на Восток? Где будем разбираться?

— Да уж, видно, не в Череповце. Видно, уж так, Луиза. Не забивайте себе голову пустыми хлопотами.

Демьян не замечал, что она все еще стоит, покорно и самоуниженно. Но ведь она-то и вовсе не пленная!

— Да садитесь же вы... — от своей оплошности нахмурился он.

— Благодарю вас, Демьян Иванович, — церемонно поклонилась она, присаживаясь к столу.

Давно уже была переводчицей при пленных, была доверенным лицом, да и войну-то всю в Избишине прожила, но никогда в разговоре ни единым немецким словом не оговорилась. Словно стеснялась, словно стыдилась чего-то. Да ведь и было чего стыдиться — ей, как ни оправдывай, все-таки немке...

— Проводы, конечно, нужны, — заговорила она. — Но я боюсь... мы все боимся...

— Чего бояться, дорогая Луиза? — Демьян обрел уже уверенный начальнический тон. — Не все же нам врагами быть. Тут, в Череповце, не военные преступники, обычные пленные. Значит, домой. Почему бы и не попрощаться по-человечески?

— Все так, все правильно, Демьян Иванович, но и наши не все так хотят, да и ваши...

— Что — наши? — резко, кивком победителя вскинул он голову.

— Фронтовики. Те, которые воевали, — с нажимом, показалось Демьяну, уточнила Луиза. — Потерпят ли они в мундиры одетых немцев?

— Ну, мундиры ваши поистрепались! — тем же скорым жестом победителя отмахнулся Демьян.

— Нам разрешено сшить новые. На свои заработанные деньги. Так советовали даже ваши начальники. Не отправляться же в рванье через всю Европу!

В тоне, во взгляде тихой Луизы тоже появилось что-то новое. Какая-то выстраданная независимость. Какая-то прежде невообразимая уверенность. Уезжала она с мужем, который и настоящим-то пленным не был, уезжала, по сути, со своей родины, но уже нечто отчужденное в ее словах проступало. Хотя бы разделение на «ваших» и «наших». Хотя бы колкое упоминание о фронтовиках...

— Наши готовятся к проводам, чистятся и речи заготавливают, но ведь и ваши готовятся. Те, которые воевали, — опять вроде бы с умыслом уточнила она. — Скандала бы не вышло. Не дай боже, чтоб напоследок!..

— Не выйдет. Мы позаботимся, — пообещал Демьян то, что не входило в его обязанности.

— Спасибо, Демьян Иванович, — опять церемонно поклонилась Луиза, вставая. — Мы на это как раз и надеемся. Но есть еще одна просьба...

— Еще?

— Очень большая. Ваше Избишино, можно сказать, меня к жизни вернуло — не могу я уехать, не попрощавшись. И Отто хочет посмотреть деревню, которая меня военным хлебом кормила... Разрешение получено, но только на один день. Да и небезопасно немцу по таким дальним дорогам, среди военных вдов и инвалидов...

— Ладно, Луиза, — понял ее Демьян, — я отвезу вас на своей машине. Только не сегодня и не завтра... дела, дела тут, — потупился он. — Денька через три устроит?

— Устроит, Демьян Иванович, вполне устроит, большое вам спасибо, — попятилась Луиза к порогу, опять церемонно раскланиваясь, словно и не была знакома с хозяином, словно и не бывало у них никаких других отношений...

И тут Демьян понял, что главным-то это и было. Проводы — они и есть проводы. Если и с музыкой — так не с парадной же. Если и с речами — так не с заздравными. Все давно решено и обговорено. Память не отпускает? Избишино, деревня?.. Ишь, совестливая фрау и ее сентиментальный Отто!..

Не до Луизы было ему все эти дни. «Обещаньице» не давало покоя, хотя Фима и не напоминала о себе. Да и не о ней шла речь — о друге закадычном ее, как понимал Демьян; случайно ли, нет ли, уходя, она оставила на ночном столике открытый паспорт — какие в ночи паспорта! — и он вынужден был прочитать, что она замужем за неким Сёмой Смагиным, стало быть, хлопочет не о ком ином, как о муженьке законном. Чего тут зазорного? Муж неизвестно откуда взялся и неизвестно чем занимается, но раз объявился — прописка нужна и какая-никакая работа. Тут все под тесемочку. Теперь строже стало. Пока не устроился на работу, не прописывали, а без прописки на работу не принимали. Череповец становился вольным городом, где под флагом ударной стройки собиралось всякое человеческое отребье, не говоря уже о забережных Ванятках и Манятках, которых строительным половодьем за сто верст из колхозов приносило, — не зря же председатели угрюмо и упорно прятали и сжигали вербовочные объявления. Но эти, которые из окрестных деревень, заявлялись без паспортов, их задним числом, конечно, проверяли; хуже с дальними, приезжими, у которых и паспорта, и печати на месте. Сил никаких не хватит — на каждого слать запросы; отдел кадров — все-таки не милиция. Погрязли кадровики в человеческом «материале» и вздохнули с облегчением, когда запрет вышел. Теперь прописывайся законным порядком, а уж потом на работу. Как ни нажимали прорабы, сидевшие без рабсилы, ограничения не снимались. С одной стороны, районные власти в колокола зазвонили, мол, последних пахарей на стройку переманивают, а с другой — и милиция заворошилась, то и дело сети в мутный человеческий омут забрасывала, вместе с мелкой рыбешкой вытаскивая сомищ, по которым давно горячая сковородка плакала. Сомы эти и сомята в ударники выходили, на Доску почета со своими двойными физиономиями вылезали, и вот ударная-то фотография как раз и подводила — всегда находились люди, которые когда-то их знали, когда-то и где-то их видели, хоть и в фашистской собачьей сворке. А казалось, лучшего места, чем отдаленная громадная стройка с ее всесветным людским водоворотом, и сыскать невозможно.

Про то и Демьян Ряжин, далекий от сыскных забот, умом своим знал, но попробуй поспорь с умом, если ежедневно в отдел кадров шли приказы: сотню каменщиков, полсотни плотников, не меньше того бетонщиков, хоть десяток кровельщиков, без числа и счета землекопов и разнорабочих, и даже нарядчикам-десятникам счет потеряли. Настоящих мастеров не хватало, перешли на древний счет: десятники. Мастеров срочно на курсы набирали. Видел Демьян Ряжин в том списке, кем-то заботливо подсунутом, и своего племянника, но от какой-то стыдливости вычеркнуть не посмел. Да и с какой стати, если уж на то пошло? Семь классов парень закончил и характеристики самые расхорошие.

Но если с племянником, уже известным на стройке, — о его геройстве во время аварии даже газеты писали, — было более или менее ясно, то с Фимушкиным муженьком дело было посложнее. Сёма Смагин? И разряд, и характеристика, и семь классов — все было, было... И все слишком уж гладкое, скоропалительное. Несколько месяцев прошло, как в Череповце объявился, — когда успел? Думать о том не хотелось,

а хотелось как-то побыстрее сбыть «обещаньице». С глаз долой — с заботы вон. Отправляли-то строительных стипендиатов не куда-нибудь в Вологду или Рыбинск — в запредельный, отсюда недосягаемый Минск. Чтобы они, набив глаз и руку на хороших стройках, через полгода мастерами в Череповец возвратились. Кто там их будет проверять! Помучившись угрызениями мужской совести, Демьян лукаво ухмыльнулся, — не им же, а минчанам Сёму пасти! — и Фимушкина законника тоже в список мастеров вписал. Некогда было раздумывать, через два дня группа отбывала в западную столицу.

Видимо, с этим и племянник наконец-таки зашел. Последнее время у дяди он не появлялся и в бригаде, говорили, упорно отказывался от платы по четвертому разряду. Но разряд-то был приказом начальника стройки утвержден — считай, генералом, подпись которого обжалованью не подлежала. Или настырный племянник и это обжаловать решил?

— Не бойся, дядюшка, от курсов не откажусь, — как бы читая его мысли, усмехнулся тот, подозрительно оглядываясь. — Слышал я, Фима Аленькая была?

— А-а, была, чтоб ее... — сразу догадался Демьян, как вести себя с племянником. — На стройке меня не нашла... за своего хлопотать приходила. Тоже на курсы с вами едет. Что ж, дело благое, пускай его учится. Хор-рошая бригадирша... наверно, мастером хорошим будет и муженек...

— Мужене-ок?.. — совсем по-мальчишески напрягся племянник. — Да откуда он взялся?

— Откуда берутся муженьки... Мне-то какое дело? Документы работники мои проверили... семейное и прочее положение. Вот у тебя, племянничек, как тоже мои кадровики установили, еще нет семейного положения. Гордись... и не спеши заполнять в личном деле пустую графу. О-ох, мне бы твои годы!..

Совсем развеселился Демьян, видя, как исходит холодным потом ошарашенный племянник. Но тот — ряжинской породы — справился со своим замешательством и выложил на стол пачку перевязанных строительным шпагатом деньжат:

— Вот. Я-то уж не успею домой. Передай там моим... Да не тяни, как в прошлый раз.

— Не затяну, Юрка, езжай спокойно. Хлеб у мастера надежный.

— Сам знаю, — отрезал племянник и ушел, больше ничего не сказав и ни о чем не спросив.

А жаль! Надо бы ему спросить о муженьке-то Фимушкином... Надо бы сказать дураку-племяннику. Не подрались бы там ненароком, случись, если откроется... Чего доброго, с них станется.

Но как ни совестно признаться — Демьян был рад скорому уходу племянника. Что-то разладилось у него в душе, а что — и не поймешь. Не до родственных чувств...

Когда мелкие заботы, вроде племянника и Фимушкина муженька, благополучно отмахнулись в Минск, пришел срок и обещанному Луизе. Она уж и так, вроде как невзначай, сталкивалась с ним у калитки и, хоть ничего не говорила, упорно смотрела в глаза, будто проверяя начальническое зрение. А чего проверять? Зрение у него хорошее. На этот раз усмехнулся понимающе:

— Завтра! Завтра, Луиза. Устраивает?

— Ой, устраивает, ой, спасибо большое, Демьян Иванович! — просияла всем личиком Луиза, словно ее уже в неведомую Германию отправляли, и побежала собираться.

И вот это завтра подошло — нельзя было больше оттягивать, немцев со дня на день в самом деле могли в Германию отправить. Ненужных разговоров не оберешься: те, кто давал Отто разрешение, знали ведь, что делали. Демьян тоже отложил все свои дела.

Но как ни рано встал, решив ехать без служебного шофера, — меньше глаз, меньше огласки, — Луиза и ее чопорный Отто ожидали уже у калитки. Демьян подосадовал: старый «опель» нужно было прогреть и проверить. Однако ничего не сказал, только кивнул, с головой залезая под капот.

— Позвольте? — подошел Отто. — Марка машины мне известная.

Демьян внутренне усмехнулся: «Ну еще бы!» — и охотно предоставил ему право готовить «опель» в дорогу. По крайней мере, будет на ком злость сорвать...

Напрасно злословил: машина шла исправно. Дорога хоть и лесная, тяжелая, была накатана, кое-где даже подправлена; собственно, на второй половине и не дорога, а цепь лесных просек, соединенных меж-ду собой. Везде виднелись следы топора и лопат. По этой-то дикой дороженьке Митька Окатов, надо же, огурцы на череповецкий базар бузовал — как раз встречь попался, во главе обоза из трех запыхавшихся одров. Ясно, не пахотных лошадей отрывали, а таких, что уже в плужных постромках ходить не могли. Одну лошаденку из колдобины вытягивать пришлось. Даже Отто на ходу выпрыгнул, налег плечом, а тут и Демьян с Митькой подоспели, у задка телеги поздоровались:

— Здорово, председатель!

— Здоров, кадра...

— Так-таки и наладили дорогу? — вынужденно прервал нарочитое молчание Митьки-председателя.

— Наладили, — с насмешкой над их машиной ответил тот. — Телеги проходят.

Вот и весь сказ. Демьян потоптался возле вытолкнутой на сухое телеги, пощупал один из туго набитых мешков:

— Огурчики уродились-таки?..

— Таки и уродились, — не стал разговорчивее Митька.

Демьян потрепал по плечу важно сидящего на возу возчика, Веньку Ряжина, еще потолкался у задка телеги, ожидая чего-то. Но Митька словно и позабыл про весенние стеклышки, независимо помахивал кнутовищем. Надо сказать, стеклышков ему перепало совсем немного, а разговоры о мясе и молоке для строительной столовки отрубило начальство. Все же не это было причиной председательской неразговорчивости — гости немецкие, на которых Митька и не посмотрел, словно не заметил. Демьян поспешил убраться подобру-поздорову.

— Ну, мы поехали.

— Поехали и мы, — все с той же недоброй усмешкой ответствовал Митька и добавил, ничего не объясняя: — Лучше и вам за нами.

Демьян не хотел проникать в смысл его темных слов, тоже круто спину развернул. Колода забережная, а не председатель!

Митька уже прошел в голову своего базарного обозика, когда, на беду, спохватилась Луиза:

— Димитрий Климович! Больше и не увидимся, может?..

— Может, и к лучшему, — показал председатель свой упрямый затылок и с тем отбыл по дороге, которую только что промяли машинные колеса.

А они неловко и как-то пристыженно поехали по следам тележных колес. Оси уже посбивали с просеки молодую поросль, а сухая погода выровняла колею; дорога оказалась и дальше вполне сносной. Только на одной гати и выходили из машины, чтобы вытолкнуть ее на бревна. Предусмотрительный председатель на этой дороженьке все-таки не для машин — для себя путь торил. Спасибо и на том! Но всем было не по себе. Такая встреча с земляками ничего хорошего не сулила...

— Луиза? Отто? Не повернуть ли нам обратно в самом-то деле?

Демьян думал, вопросы эти объяснять не нужно, но гости непрошеные все на свой немецкий лад перевернули.

— Зачем поворачивать? Мы уже половину дороги проехали, — затрясла аккуратной парикмахерской головкой Луиза.

— Не надо поворачивать. Мы уже отпросились на этот день, — закивал лысой, лобастой головой и ее послушный Отто.

Демьян в досаде погнал старый «опель» по кочкам так, что он всеми зашпаклеванными костями загремел. Гости ничего, терпели. Демьян не смог бы объяснить свои опасения и брату родному, будь он жив, а уж этим-то!.. В зеркале отражалось строгое, невозмутимое лицо Отто, на котором и прошедшая война, казалось, не оставила следов. Разве что лыс, как придорожный лобастик-валун, на который они чуть не наскочили. Отто строил где-то на Украине завод и, вероятно, знать не знал, что от своих же бежать придется. Еще меньше о том знала молодая жена, впервые попавшая на Украину со своим милым, наивным Отто, пророчившим ей райскую жизнь; грезилось немецкому инженеру и поволжской немке солнечное свадебное путешествие, оплаченное к тому же какой-то далекой и доброй фирмой — молодого инженера ценили и прощали такие житейские вольности. С богом — телеграфировали им из Германии! Но вскорости немецкие самолеты бомбили и Украину... Разными оказались их судьбы... Луиза хоть и немка, да все же вроде бы и своя; Отто хоть и добрый инженер, да все-таки вроде бы немец, чужак и, стало быть, враг. Наивному мужу — судьба всех пленных; доверчивой жене — судьбинушка проклинаемой всеми беженки. Ищи-свищи друг друга! Беженской волной вражью пару, как говорили, разбросало и смешало с российским народом, но все же не настолько, чтоб совсем от властей потеряться. Отто пошел с колонной первых, камнями встречаемых пленных, а очумевшую от горя и еле живую Луизу выбросило на закраек далекого Рыбинского моря. Ей пришлось изведать соленой рыбки, а Отто пришлось строить заводы совсем, совсем на других правах... Но строил он их по-немецки добросовестно и по-русски быстро и жил получше иных российских беженцев. Той же волею судеб попал в Череповец, где уже и пленным-то не считался — разве что по документам. Той же фортуне угодно было и жену ему довоенную сыскать, которая все эти годы жила совсем рядом — обычная семижильная колхозница. И все бы хорошо, но вологжанами они, само собой, не стали. Не говоря о привычках, и в одежде сохранилось нечто чуждое этой древней крестьянской земле. Демьян советовал надеть что-нибудь попроще, пиджачок да галифе, например, какие донашивали фронтовики, так нет — Отто вырядился в полувоенный шевиотовый френч и кепку с длинным, назойливым козырьком; все сшитое для отъезда на родину, все вычищенное и выглаженное, как бы в укор встречавшимся по дороге холщовым рубахам и изодранным гимнастеркам победителей. Немного деревень было по этим лесным забережным местам, но и там присматривались к сухому, нездешнему профилю пассажира, покуривавшего на заднем сиденье, под ручку с завитой и по-летнему принаряженной женщиной. Рядом с ними Демьян, одетый как положено, то есть тоже хорошо, выглядел все-таки служебным шофером какого-то большого начальника. А какое в этом Забережье начальство, да еще большое? Здешние начальники — бывшие ротные и комбаты, у которых до сих пор глотки на «ура» раздирало. Эти же двое — все вежливенько, все молчком да кивком. Покуривают на пару... Демьян старался проскочить поскорее людные места. И проскакивал, да с таким звоном, что куры на заборы шугали, а вослед кулаки поднимались. Куда их несет, за чьим таким ветром?!

Заехали в низинные места, колея по гатям потянулась. Не свернешь. А впереди какие-то полуголые люди новую гать мостили. Присмотревшись, Демьян узнал дикую команду Иванцова. Наверно, Митька Окатов большак для своих огурцов прокладывал и с рыбарями договорился, все за те же шальные огурчики, которые хороши на закусочку... Народ разговорчивый, следовало хоть из вежливости остановиться. Демьян притормозил и помахал рукой через окошко, но мотор не выключил. Нетрудно было догадаться, как заговорит полковник Иванцов, командовавший и тут, будто на Синявинских болотах. Ноги врас-

пор, волосатая грудь немыслимо тесаками исполосована, папиросища самокрутная в зубах, в руках топор посверкивает, и фуражка командирская на голове. И рядом эта его, полусумасшедшая Дудочка, в гимнастерке с орденами и с военной санитарной сумкой через плечо. Про остальных и говорить нечего: латаные, как на подбор! У кого шрам во всю лопатку, у кого решето в спине, у кого бок выворочен, у кого брюхо какой-то скорой сапожной дратвой заштопано... Ничего удивительного, многим в окружении воевать приходилось. И все в грязи болотной, и все под хмельком, и все с топорами да дрекольем. Высыпали на дорогу, как на бруствер. Вначале удивление, потом улыбки до ушей, потом и скулы набок — признали, чутьем своим прожженным почувствовали, кого череповецкий землячок везет. Еще минута — и в топоры взяли б! Иванцов папиросищу выплюнул и топорище, как на приступ, поудобнее перехватил. Гаркнул что-то такое, что и остальных на дорогу вынесло. Демьян протестующе взмахнул рукой и бросил машину вперед, пока бревна наката не выдернули, — две-три пары рук уже подскочили к свежим деревинам. Колеса чуть не по пальцам простучали. Ходу, ходу!

— Ну, теперь-то поняли? Может, в объезд да обратно?.. — за тремя поворотами остановился и закурил Демьян.

Но в ответ все то же упрямое непонимание.

— Зачем? — Луиза к нему через плечо пригнулась. — Какой объезд?

Невозмутимый Отто только подышал через другое плечо...

Решив больше не уговаривать несокрушимых гостей, Демьян на парах, со звоном въехал в Избишино, как в атаку пошел на безлюдную, казалось, деревню — в поле все, что ли?..

У калитки Тоня-Праведница копошилась со своим многоликим выводком. Ребятня бегала вокруг ее широко расставленных ног, цеплялась за подол, висла на руках.

При виде машины, облаком дыма ворвавшейся в деревню, к калитке подбежала какая-то незнакомая Демьяну, во всем черном, женщина и заслонила собой Юрася-белорусика. Остальные, всполошившись, облепили Праведницу и прятались за ее юбкой. Демьян не успел и дверцей хлопнуть, как из дорожного облака выскочила Луиза и кинулась на шею Тоне:

— Праведница ты наша! Через день мы с Отто, моим Отто, в Германию уезжаем, решили попрощаться...

Отто подошел и церемонно поклонился, раскрыл на руке собранную в дорогу гостевую коробку и протянул ребятишкам — глянули оттуда на них галеты, шоколад и губные гармошки. Отто сиял добрым, праздничным лицом. Сунув одному-другому шоколадки, он выхватил сверкающую губную гармонику и заиграл что-то веселое, приговаривая:

— Так поют в моей Германии!

Демьян, закуривавший на подножке, почуял недоброе, — нет, надо поскорее отделаться от землячков! Черная женщина подошла к Отто — Демьян заметил, как у нее задергались пергаментные скулы, — и вдруг заполошно закричала:

— Ка́ты в вёску прийшлы, знов каты!..

А тут и белорусик белобрысым вихрем закружил, взмыл испуганным соколенком и жиганул под ноги Отто:

— Бей фашистов!..

Кто-то из самосеевской братии подскочил к Отто, лягнул его ногой, кто-то до синевы сжатым кулачишком вышиб подарочную коробку и, вспрыгнув на нее, как на жабу, стал давить, топтать, кто-то, из самых маленьких, по лицу визжащей железкой задел — Отто замахал отчаянно руками и грохнулся со своей гармошкой. Черная женщина трепала плачущую Луизу.

— Да вы ополоумели... — бросило Демьяна с подножки в этот содом. — Луиза, Отто, черт вас дери!.. Быстрее в машину!..

Демьян гнал «опель» вверх по улице под градом камней — злая ребячья шрапнель, с громом и воем, звоном разбитых окон, с гулкой каменной осыпью провожала «фрицевскую» машину до самой околицы.

— Майн гот, майн гот... — повторял без конца Отто, сквозь кашель от плохонькой папироски, качая упавшей на руки головой и не смея взглянуть за разбитые стекла.

— Демьян Иванович! Демьян Иванович! — схватила его за руку Луиза. — Не могу я так уехать...

Демьян не успел остановить машину, Луиза прямо на ходу и выпрыгнула. Отто следом дверцу рванул, но Демьян немилосердно вдавил его в сиденье:

— Сиди, говорю, и не рыпайся, гость дорогой!

Отто закрыл лицо руками...

«Опель», разворачиваясь по канавам, тупо уткнулся в наваленные комья земли, мотор взревел и неожиданно заглох.

И неожиданно в разбитые окна уже не злобные крики влетели, подгоняемые камнями ребячьей дикой конницы, а... женские слезы. Да и глаза не обманывались. Луиза сухо и бесчувственно стояла на коленях, вокруг нее сидели женщины, работавшие поблизости, и под общий рев, слаженный и дружный, грачиным хором, вперебивку что-то говорили, говорили, будто вместе с несчастной немкой искупая чью-то невыплаканную, злую вину. К Луизе задышливой старческой пробежкой подоспела Василиса Власьевна — она с Марьяшей уволокла под руки заполошную черную женщину — и с Марьяшей же на пару попыталась поднять Луизу с земли. Но Луиза трясла растрепанной головой и с коленей не вставала. Ее окружали и окружали женщины, беспорядочно колгоча, ревмя ревели и, казалось теперь, всем миром молились небу, траве и, конечно же, земле, которая ворочалась под ними от погибших людских костей — своим и чужим хватило в ней места...

Боже правый, спаси всепрощающую русскую душу!

Спаси и помилуй!

Возвратившись из родного Избишина в разбомбленной машине, Демьян доложил куда следует, просто не мог не доложить, о вдовьих камнях. И кой-какие меры были приняты. Прощальный митинг проводился не в городе, а на стройке, на плацу возле опустевших бараков — там какая-никакая была охрана. Грузовики подали уже поздним вечером и провели колонну без огней, кружным путем, всю одним заходом, сразу к пристани, где стоял под парами специальный пароход. Пленные, теперь уже бывшие, отбывали в полном порядке, строгими десятками и еще более строгими сотнями, во главе со своими выборными «оберстами», честь по чести, многие даже с русским поклоном. Заправлял всеми и на русских документах расписывался Отто Майснер—главный Отто, невозмутимый Отто, у которого даже избишинский каменный град не порушил дисциплины. Это он достал приготовленное заранее красное знамя и под холодным череповецким дождем, — не было теплоты в небесах, не было теплоты и на земле, — встал на колени и вначале знамя, а потом эту чуждую землю поцеловал. Вслед за ним и многие другие наземь опустились, прощаясь или молясь. Но не все, не все — добрая половина офицерским строем стояла. И под дождем у иных скрытой яростью блестели глаза. Русских это уже не касалось — это было делом самих немцев. Пускай судятся судом памяти, пускай сами разбираются. Кто с коленей, кто с презренно негнущихся ног с последним плевком и на трап парохода шагнул — ихнее, немецкое дело. Все-таки поклон этой многострадальной земле отдан — и прощальный поклон получен... Езжайте с миром, несчастные люди!

Погрузка прошла по-немецки четко и по-русски лихо — в десять трапов, в десять живых ручьев, в десять минут перенеслись все на пароход — и он без гудков, без палубных огней отчалил вниз по течению.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Не думал не гадал Дмитрий Окатов, наивный все-таки председатель, что проводы пленных немцев скажутся на судьбе Избишина. А ведь сказались! Дорога, которую он потихоньку налаживал в сторону Череповца, налаживалась-то в основном руками иванцовской команды. Еще с весны, как подмогли они во время снежного отзимка, возник негласный уговор: мы вам того-сего, а вы нам сего-того помаленьку. Это только казалось, что рыбаки живут рыбой, — жили-то они молоком, картошкой да теми же огурчиками. Слово за слово тогда — разговорились. Земель пустующих на побережье — хоть колхоз новый ставь, так почему бы не поставить рыбацкую кормушку? Не для рыбы — для самих рыбарей. Числилась артель за районом, но район забережных рыбаков не числил. Малосильной Мяксе от них и проку-то не было: вся рыбка уплывала в Череповец и дальше, сам уж рыбацкий бог не дознается куда. Как ни обнищали послевоенные колхозы, все же какой-то навар оставался, хоть обсевки, хоть брюквица кормовая. У рыбаков и того не было: вся пойманная рыба, не заходя и в Мяксу, буксирным катерком, с прицепной допотопной расшивой, отправлялась своей приказной дорогой, а Мяксе оставались лишь планы да нагоняи. А рыбакам — разве что костлявая ушица, с которой не то что сети — весла не потянешь. Как дар божий восприняли рыбаки обещание забережного председателя помочь рыбарям завести огороды и картофляница.

Море посметало прибрежные деревни, поразогнало людей, а само никак не могло улечься в берега — то наступало, то отступало, нанося на бывшие задичалые поля ил и всякую дрянь. Ниже этой полосы морского наступления пахать было опасно, а выше — пожалуйста, пока море не доставало. Слава богу, не доставало и районное начальство — знать не знало, что делается на изъеденном водой побережье. И добраться сюда можно было только на лодках. А со стороны Избишина проходы сухие, прежние дороги кое-где сохранялись — лошадь, во всяком случае, проходила. Чего попусту толковать? Не должна пустовать даже самая захудалая дорога — подправь ее да и езди. И подправим, мол, Окатов, обещали и рыбари, подправим за милую душу! Давай только семена, давай лошадей, давай плуги-бороны. Баш, председатель? Баш, рыбари! Так поговорили и так договорились обо всем полюбовно.

Теперь, на изломе лета, огороды уже поднялись и давали такой приварок, что и план колесом по морской череповецкой дороге катился. А забережная дороженька, проложенная по лесовозным лежневкам, только в воображении Демьяна Ряжина могла называться дорогой. Верст двадцать надо было вылезать из лесов, прежде чем начинались, уже с череповецкой стороны, обжитые места и накатанные проселки. В са́мую сушь и при хорошем моторе проскочил те лежневки с гостями Демьян Ряжин. Но тогда и Дмитрий Окатов свои тележные караваны водил, а сейчас сеногной начался. Задождило, развезло. Лощины и низинные лядины стали непролазны. Лежневка требовалась. Иванцовская команда, урывая свое неурочное время, на самых гиблых местах гать положила да с криками «ура» и отбыла. Вернулась команда через какое-то время, только без командира своего — повели штрафного полковника под ощетинившимися штыками Титова за то, что абордажем иванцовцы собирались пароход с пленными немцами на Шексне перехватить... И хоть заверял своих штрафников полковник: «Я там, с этими опричниками, долго не задержусь» — домой пока не возвращался. И как результат — план в рыбацкой артели трещал, а у председателя Окатова тележные оси трещали. Дмитрий прискакал на выпряженной лошади. Бросил кепку оземь:

— Выручайте, братцы рыбари!

Бригадирша Айно сразу все поняла, в стенку пошла:

— Нет, Окатов! Нет, Митя! План тонет.

— У меня телеги тонут, Айно!.. Только пяток километров по берегу обвезите. Дальше мы пройдем, Айно!.. Мы на реке Оклятой стоим, там до взбережья недалеко. Прахом огурцы, труд прахом...

Даже такая мужская слеза не прошибла бригадиршу. У нее свой резон:

— Нет, Митя. Нет, председатель. Если план провалим, вслед за Иванцовым и я пойду, а бригаду разгонят, где-нибудь в новом месте соберут. Поближе к Мяксе или поближе к Череповцу. Сам знаешь, на нас давно косятся: руки не достают. Пойми, Митя, прости, родной...

Дмитрий мог и простить, и оправдать ее, но как быть с загубленным трудом своих женщин? Кепку из грязи поднял и зло выбил о ладонь.

— Ладно. Поговорили. Когда из Оклятки-реки огурчики к вам приплывут — знайте, председатель Окатов самолично в реке солит. С-суки-ны шкурники!

Попрощавшись так с рыбарями, он еще кепку на голову пришлепнуть не успел, как его взял за воротник Павлуша Лесьев:

— А постой, Митя, а погоди, Окатов! Это кто же шкурники?..

Не дрогнул под его взглядом Дмитрий Окатов, прямо в глаза огнем выпалил:

— Ты, Лесьев, ты, лейтенантик вшивый! Не Иванцов же! Когда мы в снегу гибли, полковник не шкурничал.

Только это и спасло Окатова от лейтенантских кулаков. Павлуша долго держал председателя за грудки, прежде чем оттолкнул со словами:

— Много ты понимаешь, молокосос! Слу-ушать мою команду! — на своих зыркнул: — Ставь паруса, весла бери.

Дмитрий ускакал обратно, чтобы плетеные двуручные корзины успеть перетаскать на берег Оклятки — телеги застряли не у самой воды, еще на подходе, в пойме. Мосток иванцовская команда весной срубила, но лежневку не положила — сейчас к мостку было не добраться. Дмитрий просекой погнал телеги к сухому мыску. Но иванцовская команда раньше их причалила и в десять рук принялась шваркать корзины с телег.

Глядя на их лихую работу, Дмитрий повинился:

— Ладно, Павел, не обижайся, — и попросил: — Полегче с корзинами. Сам знаешь, нам ведь торговать.

Павлуша Лесьев внял его просьбе, и остальные корзины перенесли, как беременных баб, на руках. Загрузили лодки впритирочку, по борта.

— Ладно, и ты, председатель, камень из-под рубахи выбрось. Сам понимаешь, не мог я сдержаться...

Ребятишки-возчики — да какие они возчики, им бы самим за вожжи держаться! — жались к Дмитрию, и теснее всех — Юрась-карась. В чистом, единственном пиджачке, гость уже: со своей белорусской теткой, с той самой черной женщиной, что на немца Отто накинулась, на горькую родину ехал. Юрась все на просеку оглядывался, за лесной поворот. И вдруг встрепенулся, вперед дернулся:

— Мати?.. Матуля прибежала!

Оглянулся и Дмитрий: Тоня-Праведница, леший ее дери. Юрасю этому она просто с поля ветер, а вот пойми их возьми! В обнимку, друг от дружки и не оттащишь...

— Ты не ругайся, Димитрий Климович, — взмолилась загнанная,

словно лошадь, мокрая от мороси и пота Антонина. — Ночами отработаю свое, с ребятишками свои копны взмечу. Проводить-то белорусика, проводить ведь надо...

За прилавком на базаре стоял Дмитрий, как на страже. В каждом покупателе, в каждом черепанине видел волка — волка, нацелившего зубы на ихнее Избишино. И сам разбойником с большой дороги казался. Да и не умел торговать, чего уж... Торговля поэтому шла плохо. В прошлые разы то Капу, то кого-нибудь из Барбушат брал с собой, а сегодня и Тоню, которую ему бес в дорогу послал, за белорусами улопотала — на вокзале, поди, рев стоит. У Тони ведь так: и добро, и глупость — все вперехлест, все через край. Вернулась она, когда уж последний покупатель, позыркав на сумрачно надувшегося разбойника-продавца, убрался от греха подальше.

— Видишь? — набросился на Тоню. — Обратно огурчики повезем!

— Обратно так обратно, — выплаканная вся и успокоенная, согласилась Тоня. — Поди поспи, Димитрий Климович.

Ничего другого не оставалось. Корзины перетаскали обратно на возы, завалили травой и лопухами, чтоб огурчики не завяли, а сверху водой сбрызнули. Так и раньше поступали, тоже не успевая расторговаться в один день. Дело привычное, а досада не проходила. С тем и завалился под составленные впритык телеги, где уже похрапывали его возчики. Пускай Праведница дежурит!

А поутру она прямо преобразилась, хоть и не видел никто, что спала: умылась, причесалась, платочком белым прикрылась и холщовый фартук подвязала. Веньку себе в помощники снарядила, тоже под продавца: одна из холстин, закрывавших корзины, пошла и ему на фартук. Стеснялся Венька, но вместе с Тоней тащил раскрытую корзину к воротам рынка, еще запертым. Сторож открывал, ворча на ранних барышников. Но день, видно, такой выдался: черепане рано вставали. Не успела Тоня со своим помощником расположиться за прилавком, как и полетели, полетели денежки в карманы ее фартука! Кажется, те же, что вчера отворачивались от Дмитрия, сегодня нарасхват мели огурцы. Они были уже не в диковинку — и на пригородных огородах пошли, — но у них брали почему-то охотнее. Может, оттого, что Тоня кидала на весы с походцем, приговаривая:

— Избишинские, гляди, родименькие, посматривай, ежели...

В ее облике не было ничего от базарной торговки — просто тихая, стеснительная вежливость, и люди шли и шли, и все к ней, к ней, минуя шипевших торговок. Те уж и не скрывали досады:

— У-у, окаянные! Шалопаи избишинские! Эка прорва огурцов-то! Когда у них и покончатся?

На радость торговкам — кончались, рассыпались по городским сумкам избишинские корзинищи. Последняя оставалась, когда для форсу Дмитрий сам вздел на шею Тонин фартук и встал к весам. Взвешивать-то, собственно, было нечего. Но подлетел странный покупатель: с фотоаппаратом и аккуратной голубой корзиночкой; треногу воткнул прямо перед носом продавца, а корзинку бросил на прилавок:

— Насыпай, хозяин, да полнее! Шесть кило мне!

Огурцов было уже мало, приходилось выбирать. Дмитрий занялся взвешиванием и насыпанием — весы-то, взятые за огуречную мзду у одной магазинщицы, больше двух килограммов не тянули, — три раза менял вес, самозабвенно выравнивая шаткие тарелочки, а тем временем и покупатель возню возле треноги покончил, обрадованно крикнул:

— Готово! Птичка вылетела, птенчиков жди. Сколько с меня?

Дмитрий назвал положенную цену — шесть рублей базарных, помноженных на шесть. Покупатель отсчитал деньги, подхватил на одну руку корзину, на другую фотоаппарат и улопотал, посвистывая, в ворота. Только тогда Дмитрий спохватился:

— Он никак фотографировал?..

Ребятишки, еще не видавшие в жизни фотоаппарата, непонимающе зашмыгали носами, но Тоня со вздохом подтвердила:

— Никак фотографировал... Щелкало, слышала.

— Слышала-прослышала! — озлился Дмитрий. — Чего не сказала?

— А чего говорить, принесет фотокарточки, ежели...

— Ежели, ежели! — Что-то во всем этом не понравилось Дмитрию. Он остервенело выгребал из карманов фартука замусоленные деньжата и засовывал их в кожаный колхозный портфель, когда подошел старый знакомый — Матвей Макарович. Тот попенял по-свойски:

— Негоже самому-то... Знаешь что, Димитрий Климович? Давай на базаре твою лавочку откроем? И над светлым таким окошечком напишем: «Колхоз «Свободный труд». Право дело — дело стоящее.

Дмитрий был пристыжен не влезавшими в кошель мятыми базарными деньжатами, удивлен словами не такого уж и разговорчивого приемщика и совершенно сбит с толку фотографом — невесело посмеялся:

— Да хоть две! Да хоть и золотом по вывеске! Кто разрешит?..

— Да я и разрешу. Пусть жена моя торгует, делать ей все равно нечего. А тебе — чего время терять? Я и катерок пришлю, чтобы не колготиться. Телефон-то еще не оборвали?

— Оборвали было зимой лесорубы, да мы подвязали опять. По деревинам натянули, ничего, — похвалился избишинской смекалкой. — Венька вон, — указал на снимавшего фартук помощника, — и лазил, только первый раз проволоки не хватило, пришлось искать...

— Вот видишь, Димитрий Климович, — покачал головой всезнающий соблазнитель. — И за куском проволоки набегаешься. Не с руки тебе посторонними делами заниматься. Ты расти это самое, огурчики там, свеколку, морковку, капустку... Будет капуста-то?

— Должна быть, — опять похвалился Дмитрий. — Много на затопленном побережье набузовали. Хорошо идет!

— Вот я и говорю, — продолжал напористый соблазнитель. — Будет на базаре своя лавочка — и никаких забот. Деньги прямиком на колхозный счет. Чего их взад-вперед возить?

— Да уж поистине нечего, — согласился Дмитрий. — Через неделю какую опять приезжать, не сюда, так в Мяксу. Сбрую надо покупать, износились лошади.

— Во-во, — подхватил Матвей Макарович. — Но лучше — в Череповец. Здесь я сам и присмотрю, чтобы гнилья не подсунули... Да чего там! Э-эх, Димитрий Климович, где наша не пропадала! — хлопнул его по плечу. — Пиши, чего и сколько. Для первого раза сам привезу на катерке. Чего смотришь? На том самом, что рыбу у рыбарей забирает.

Ошалев от неожиданной удачи, Дмитрий посопел, посопел про себя, но нетерпение скрыть не мог и достал из полевой сумки, подаренной Павлушей Лесьевым, председательскую толстую тетрадь, с засунутым в корешок химическим карандашом, и принялся строчить: хомуты, седелки, уздечки, дуги, шкворни, колеса, гвозди... Гвоздь, конечно, к сбруе не подходил, но если подумать, то и телеге без него не обойтись. И Дмитрий, лукаво посмеиваясь, приписал и гвоздей... два пуда. Для всяких таких извозных поделок, для тех же копышен... еще и скобы кованые нужны. И их без тени сомнения дописал. Еще вспомнил про завесы, шпингалеты, вилы, косы, топоры, подковочные гвозди, сами подковы... Как без всего такого? Не поедет колхозная телега, остановится. Даже из-за какой-нибудь чеки. Из-за какого-нибудь вертлюга или барашка... Он уже не посмеивался, всерьез писал: барашки, вертлюги, железо листовое... Стоп! Железо-то никак к сбруе не припишешь, но если подумать — можно и приписать. К примеру, легонькую разъездную таратайку сладить? На днище, на боковины, на закрылины, на облучок? Если из досок, да как намокнут — с места не сдвинешь. Нет, дерево на обрешетку, а сам кузовок железом легоньким обить — э-эх, вороные!

Давно он мечтал о такой таратайке. Хоть для престижу, хоть и роженицу какую в больницу отвезти. Порассуждав о будущих роженицах, стало быть, о будущих колхозниках, Дмитрий Окатов, вошедший в аппетит председатель, с полной уверенностью и железо к сбруе приписал, немного, полсотни листиков... А стеклышки, те самые парниковые, у него давно в голове посверкивали, только не знал он, как их-то с лошадью свести, пока не надоумился: конюшня! Конюшню-то надо стеклить?.. И уж тут с волчьим аппетитом, жирно послюнявив карандаш, дописал: стекло оконное для лошадей...

— Ну, председатель, ну, хват! — усмехался следивший за его карандашом Матвей Макарович.

— Не хватай, так никто за ради христа не подаст, — утихомирил Дмитрий его смешки. — Проезжал я через ближние череповецкие деревни, через Красную Сельгу — голые все, с голодухи пухнут. Что, и нам из-за этой проклятой стройки помирать? Нет, драть мы вас будем, как липку! Пусть хоть тоже гольем пойдете, пусть хоть на корню, как те липки, позасыхаете!

— Надо, милый ты мой председателек, надо нас драть! — от полной души приобнял его соблазнитель. — Я тебе и липку оправдательную сочиню, уж поверь, толк в этом понимаю. Никакой ревизор не подкопается! Не все сразу, не все... но кое-что привезу. Ты, главное, лавку колхозную открывай. Под эту вывеску мы все со временем достанем, всего-всегошеньки... если головы не потеряем...

И хоть конец речи Матвея Макаровича был какой-то невеселый, Дмитрий уехал из Череповца все равно навеселе... Э-э, да что там! Не человек он, что ли? Не председатель? Велел лошадей к чайной привернуть и уверенной председательской ногой взошел по крашеным, чистым ступенькам, сел за чистой скатерти стол и громко потребовал:

— Сто пятьдесят и селедки.

К новому удивлению, все это мигом явилось перед ним. Руками расторопной, смешливой молодки, от которой исходил какой-то тревожный городской зов. Подчиняясь этому зову, Дмитрий потребовал еще и полкилограмма конфет. А потом и пачку «Беломора». И когда рассчитывался, расщерив пузатый колхозный портфель, заметил, как уважительно сверкнули глазенки:

— Широко живешь, Митя!

Залюбовался собой и не заметил, что назвали по имени, вышел, дымя беломориной. Дать чаевые, конечно, не догадался — просто не знал, что надо было дать.

Вот возчиков своих угостить — это он знал, это он понимал. Щедрой горстью отсыпал каждому в кепку, и даже Тоне парочка перепала. Но она их в платок завязала. Для малышни, само собой. Вот только их вроде бы поболе?.. Э-эх, вороные, не догадался!

Глядь — мокроносые возчики из своих кепок по конфетке Тоне откладывают... И на него — с укоризной. Не умеешь, мол, считать, председатель.

Да что считать-то... Э-эх, вороные, двадцать три рубля двадцать четыре копеечки просвистел! За какую-то череповецкую улыбочку... Постой, постой, не Манька ли, за которой он, еще до Веруньки, на пустое брюхо ухлестывал?! Манька и есть, точно! В Череповец сбежала, когда о Череповце еще никто и не догадывался... Он уже и не помнил, как там дело было... Кажется, уехала к тете погостить, да и не вернулась. Э-эх, вороные, лыко из нее дери!

Сидя за председательским столом, никому не доступный и неумолимый, Дмитрий Окатов подбивал колхозные счета. Ладно, кто раньше сбежал, тот сбежал, не воротишь. Что теперь остается? Так, потеря пособника-Иванцова, а вместе с ним и Павлуши Лесьева, — это потеря из

потерь. С Павлушей, как ни странно, дела не слаживались... ни дорожные, ни складские теперь уже. На дороги махнул рукой — склад на берегу решил строить. Чего долго думать — церковь-то бесхозная? Он по такому же праву, что и рыбаки, занял один боковой придел, в отсутствие рыбаков выкинув сети, и замок свой амбарный на дверях припечатал. Не то угнетало, что Павлуша на весь берег раскричался, — командовала-то здесь все-таки Айно, а она помалкивала, — Павлуша и после, как накричался, помогать не захотел. А помощь была нужна, и большая. Замки замками, но окна выдраны и крыша прохудилась, надо крыть-перекрывать, надо в этих пустых стенах настоящий склад ладить. Раз уж лодками решил обзаводиться, к складу и причал давай. Далеко смотрел Дмитрий, широко. Мысленно уже проложил прямую водную дорогу до Череповца, и дело оставалось за складом, за лодками, за своим надежным причалом. Не толкаться же локтями возле сумасшедших рыбарей. У них без Иванцова свары начались, да, кажется, и гульба, как бригадирша ни строжилась. Народ фронтовой, страха не знающий. Что им баба? Им полковник нужен — не лейтенант-приблудок! Что-то Паша вьется и вьется вкруг Айно, мозги ей набекрень сбивает — и куда только смотрит Максимилиан Михайлович! Вслух-то он это, конечно, не высказывал и приблудком Павлушу Лесьева не называл, но дело от того не менялось. Никак не удавалось с рыбарями сговориться. Мол, вы вечерами так-сяк по-мужски поработайте, а мы вам таконьки-сяконьки по-бабски на ваших рыбацких огородах подмогнем. Лады? Полковник Иванцов в два счета бы такую премудрость разрешил, к обоюдной же выгоде, а лейтенант Лесьев стал из себя генерала ломать, и кроме крику ничего не выходило. Лесьев мстил кому-то за Иванцова и знать не знал побочных дел, тем более уж колхозных. Ну, не потеря ли это в председательских счетах?..

Отъезд со своей теткой в Белоруссию выращенного здесь, как все тот же огурец, четырнадцатилетнего мужика — тоже, как ни отмахивайся, потеря. А еще была Луиза, честнее честного работавшая в колхозе; про нее и забывать начали, что немка, — вдруг опять онемечилась и запропала. А еще ведь был, и не забылся, укативший теперь в Минск Юрка Ряжин. А еще, пьяные черти его бери, был, был, и при одной руке никем не заменимый, Федор Самусеев. Что теперь от мужика осталось? Тень человеческая, не больше. Дмитрий только что вытолкал, исчерпав все доводы, взашей его из конторы и дверь на крючок запер, но Самусеев и на улице бушевал, не давая и Праведнице своей работать. Муженька она не бросит, стелется половичком под ноги — Дмитрий и окно захлопнул, решив хоть какие-никакие занавески в конторе повесить, чтоб безобразия этого не видеть. Тонька ноги Самусееву обнимала, уговаривала Федора, вместо того чтобы обнимать и уговаривать ржаные снопы, тоже ростом с Самусеева. Рожь нынче уродилась на славу, а Дмитрий, наученный прошлым опытом, хвалиться не стал — наоборот, плакался в районе, что неурод, и даже одного такого охочего уполномоченного через море возил, чтобы тот самолично удостоверился и где надо доложил. Уж само собой, возил-то на разъединственное гиблое польцо, которое и сеял-то для слезного показу, без навозу и без всякого догляду.

Посшибал, посшибал Дмитрий костяшки и в конце концов разогнал хмурь. Есть ведь и прибыль, и прибывает на колхозные счеты немало. Прежде всего соблазнитель-заготовитель Матвей Макарович: дважды звонил уж, довольнешенький, и докладывал, что лавочку на базаре почти задаром ладят, — за ненадобностью будку проходную в немецком лагере сперли, подправили, подкрасили, и все, считай, за один магарыч, разве не удача? И хомуты да седелки и все такое прочее на складе потихоньку собирается и с первой же оказией будет привезено на забережье. И моторчик, мол, для лодки с того-сего спишем да вам припишем. Уж это ли не повод разгладить председательские брови! Даже покрякивал Дмитрий от удовольствия.

Но главная его радость из-за спины Самусеева проступила, с пыльной и знойной улицы. Золоторукий Прим собственной персоной, и ничуть не меньше! По правую руку с Ией, по левую со Светланой... Прибился воркутинский слабосильный язвенник к команде Иванцова, с ней и парники в огуречных траншеях ладил, там и надсадился, там и попал Барбушатам в руки — добрыми и покладистыми повернулись они к приблудному язвеннику: прямо на глазах наливался он силушкой и мужской уверенностью. А как поднялся на ноги, собственноручно самую настоящую жатку на колеса поднял. Воистину золотыми оказались руки у Прима. И Барбушатам земной поклон от председателя! Отчищенная, откеросиненная, отлаженная лафетизя эта жатка всю женскую рать на поле заменила, а лошадей дал ему Дмитрий наилучших, да и с конюхом Венькой вдобавок; всегда стояла в подмене кормленая пара. И махала жнейка-лобогрейка крыльями до самой росы. И все это время Прим, считай, не слезал с железного седла, на которое Барбушата пуховую подушечку сшили. Им ли не знать, как трясет мужика! В редкие, короткие перерывы кормили его — верные жены, колхозной работой венчанные, — прямо на коленях, усталого, но самодовольно-веселого, и на два голоса приговаривали: «Ешь, кушай, Николай Иванович!» И хлебал Прим Николай Иванович наваристые щи, пил парное молоко вместо воды... Смекай, какого мужика и работника — рабо-отника! — заручили Барбушата. Плюнь председателю в глаза, кто посмеет осуждать Прима свет Ивановича!

Плевать на Дмитрия Окатова, самовластного председателя, уже не решались. Да и кому плевать? Да и зачем? Бессемянный колхоз, ткнувшийся было перед судьбой на колени, опять поднимался на ноги, как тот воскресший язвенник, и обещал к осени хорошие трудодни, если не просвистит их председатель. А уж он зубами зажал всякий свист, шалишь!

Думая о свалившемся, как дар небесный, колхозном примаке, которого теперь и не называли иначе, как Прим Иванович, председатель все прибрасывал и прибрасывал костяшки. Шутка шуткой, колхозные счета прибавлялись, а счетовода в колхозе не было. Раньше за бедностью не считалось, теперь за жадностью не проворачивалось. Кого? Плохого не поставишь, хорошего жалко. Метил в свое время белорусика-Юрася, да на нет — и суда нет. Ребятишки, вроде Веньки, еще малы, а девчушки глупы, а собственную жену в счетоводы не посадишь...

Опять поник головой Дмитрий, пробрасывая на костяшках свои дебеты-кредиты. Что-то не сходилось в колхозных делах. Если крупный колхозный рубль он мог в одном кулаке держать, то вся золотушная мелочь сквозь пальцы утекала. Пастуху нужен подпасок, председателю — помощник, на которого можно, в случае чего, и контору оставить. Дела все увеличивались, разъезды удлинялись. И телефон треклятый, то и дело славший указы-приказы... Во, опять: почему акт на списание вымокшей ржи в РИК не представлен?! Акт уже в лодчонке-посылушке, вместе с ублаженным уполномоченным, где-то на волнах барахтается и через час-другой, если погода не подведет, к мяксинскому берегу пристанет, а все равно надо толкаться в разговорах — как шестом на перекатах. Чего лучше, поставить под шест помощника!

Он стукнул кулаком и удивленно вскинул голову, потому что сам стол вроде бы как балалаечкой отозвался:

— Да мы ничего, Димитрий Климович, мы подождем.

Глазам своим не поверил! Та самая девчушечка из голодной Красной Сельги, под руку с неуспевшим помереть дедком, на которых он в умершей этой деревеньке наткнулся, когда Юрася-белорусика на огуречном обозе к морю провожали.

Дедок мял в руках обтерханную, как и бороденка, сивенькую заячью шапку — это по летнему-то времени! — и только умильно помаргивал, а девчушечка за старшего выступила вперед:

— Мы к вам, Димитрий Климович. Мы в колхоз ваш просимся.

— В колхо-оз?.. — приподнялся с недоброй усмешкой, так что девчушечка попятилась. — Бежали бы себе в Череповец!

— А мать ваша говорит, что и здесь можно...

Мать! Она как раз и высунулась из двери, кулаком погрозила. Дмитрий смирил свой председательский голос и уже мягче спросил:

— Ну, хорошо, а что делать будете?

— Да что велите, Димитрий Климович.

— Ну ладно, а звать-то как?

— Авдуловы мы, из тех самых, из председательских...

Час от часу не легче! Председатель сбежал на взбаламученный войной Карельский перешеек, а родственников своих покидал...

— Внучонка, что ли?

— Племянка, если по председателю нашему... Семнадцатый уже, не сомневайтесь, Димитрий Климович.

— Семна-адцатый?.. — смерил он подозрительным взглядом эту изголодавшуюся девчушечку. — Так ты, видать, и училась?

— Семь лет, Димитрий Климович. Наша Красная Сельга до стройки со школой была...

— Вот именно — была, да сплыла! — дал он волю последнему гневу. — Прямо наказанье с вами... — тянул для себя-то уже ясную нить. — Счетоводкой ежели?

— Ежели и так, Димитрий Климович...

Он встал из-за стола и потрепал ее жиденькие косички:

— Мне голова нужна, голова — не два уха! Садись за стол и подбивай мои проклятые бабки. А я покурю пока.

Усадив неожиданно свалившуюся счетоводку на свое место и сунув ей ведомости, он дедка и взглядом не удостоил. Уж поистине отец преподобный! Как же ты сынка-председателя в бега пустил?.. Злость все-таки разбирала. Не только на дедка — и на пигалицу. Стыдно было признаться, что у самого-то только четыре класса... В одну бражку к злости, как тот хмель, и удивление примешивалось: неужели вот эта пигалица сообразительнее тебя?

Вслед за матерью и Верунька на взгляд нарвалась:

— Что у тебя за гости?

— Не у меня, а у тебя, Митя. Кормить, что ли?

— Нет, поить! Бражкой сахарной!

Веруньке не понравилась его крутость, развернулась и пошла домой. А Дмитрий всласть посмотрел вослед и всласть похмыкал: «За пять-то лет, за пяток-то годов со мной как на дрожжах подошла!»

Вернулся в контору уже с улыбкой:

— Ну, что там, Авдулова? Не спихнешь председателя?

Дедок все так же торчал перед столом и щипал свою шапку, словно внучка и впрямь заняла уже место председателя. Она и локотки, остренькие даже под платьицем, на утертое пятно положила — всю ведомость цифирьками, как весенней рассадкой по грядкам, утыкала и межи разлиновала.

— Не сходится, Димитрий Климович, — повела смышлеными глазенками. — Если огурцы продавали вначале по семь, а потом по шесть рублей и если огурчиков тех и других было... Да, все так и есть. Двадцать три рубля двадцать четыре копейки... недостача ведь?..

— Да?! — рявкнул Дмитрий. И своего голоса устыдился. — Да, счетоводиха Авдулова. Недостача. — Он вспомнил, что ровно столько и оставил в череповецкой чайной, у раздобревшей землячки Маньки. — Да. И не может хватать. Я сам взял из кассы. Отнесешь на счет председателя. А пока... Пока идите ко мне обедать, третий дом отсюда. А я подумаю, как вам жить. Где пожитки-то?..

— А здесь, все здеся, — подал голос и дедок, оборачиваясь к дверям, где сиротливо торчал полупустой холщовый мешок.

С такими мешками только нищим по дорогам бродить, послевоенными побирушками...

— Да, одно хорошо, что нести вам нетяжело... — опять нахмурился Дмитрий и вывел гостей на крыльцо, указал свой дом.

А когда они скрылись за калиткой, отправился на поле, где махала безостановочными крыльями воскрешая под руками уважаемого Прима Ивановича чудо-птица...

Еще весной, маясь дурью с рыбаками, Дмитрий прихватил и для себя пойменной земли. Так, шутки ради. Десяток капустных да морковных гряд самолично вспахал и разваловал женщинам — уж больно просили «родимых огородов попробовать». Смывая побережье, море все силилось, силилось захватить и бывшие огороды, но, видно, силенок не хватало; не помогала и каменная плотина в Переборах. У тех, кто замышлял на равнинной пойме Шексны это предвоенное море, что-то не задалось: выше огородов вода не поднималась. Заметили убежавшие за семь километров избишинцы, что вода всякую весну останавливается у одной и той же замусоренной черты, а дальше, вместе с летом, начинает спадать. О том и птичьи гнезда свидетельствовали: птица прибрежная чует воду, никогда не станет вить гнездо на затоплиемом месте. А раз вила, раз жила — значит, и овощу жить можно. Так рассудил Дмитрий, забираясь по весне плугом на задичавшие, подтопленные подворья старого Избишина. Саму деревню море все-таки доконало, обошло по пойме реки Оклятой и за десять лет в порошок стерло, в ил придонный превратило, а огороды, находившиеся хоть и в низине, но за суходольной кромкой реки, уцелели. Река одним своим берегом слилась с морем, а другим преградила ему путь. Суходол пропускал через глубинные пласты морскую воду, а переплескиваться не давал, разве что самую малость, весной, когда плотина в Переборах тоже под напором воды трещала. Но малая паводица шла даже на пользу: хорошо напитывалась земля, да и наносным илом кормилась. К маю по суходолу, вытянувшемуся наподобие дамбы, уже можно было босиком ходить, а заплеснувшаяся через край водица исходила урожайным паром. Вот там-то, чуть ниже рыбацких картофлянищ, и взбунтил Дмитрий плугом десяток длиннющих гряд, а бабы засеили их морковью и засадили капустной рассадой.

Теперь настало время разводить руками: да что же это, из воткнутой палки деревья прут! Сюда и заглядывали мало, разве что набегом прополоть, а уж поливать и не думали: руки не доходили. И вот на радость — или на горе председателю? — налились пудовые кочанищи и вымахала морковь, прямо страсть! Дмитрий приехал на только что слаженной — все тем же раздобревшим Примом Ивановичем — таратайке и остановился в изумлении. Кочаны разлапились — земли не видать; морковищи прут: выдернул одну — на двоих с жеребчиком хватило. Тут бы и хлопать в ладоши, и песни распевать, но Дмитрий сумрачно задумался. Бабы эти да поросята — хорошо, но что в районе-то говорить? Если задним числом прибавлять к плановой пашне, то огородик боком выйдет. Сейчас же посыплются вопросы: как так, почему без спросу?! Сейчас же уполномоченный какой-нибудь нагрянет, и добро, чтоб как по ржаному делу — соловыми глазками вокруг одного польца кружить; нет, скорее всего, и тут загремит: п-пачему в целом по колхозу указана заниженная урожайность, п-пачему не проинформировали?! Дмитрий уже наслушался этих грозных, малопонятных слов и отмахивался от них, как черт от ладана. Да попробуй-ка отмахнись! Глядь, и на законные огороды, на каждый гектарик выползанной на брюхе капустки и морковки накинут вот этой меркой центнер-другой... и поминай как звали лавочку в Череповце, хоть и с золотой вывеской, но с пустыми ларями... И так косятся: откуда излишки? Сейчас-то еще можно отвертеться: оттуда, мол, от верблюда, от горбатого бабьего племени. Не разгибаясь, целое лето над грядами корпели, можно хоть на одежку для лошадей да, может, и на одежку для самих огородниц? При полном плане покричат, но помилуют. Вот помилуют ли за эти разлапившиеся кочаны?

А тут еще и Павлуша вологодскую газету подсунул — на курево, сказал, только почитай предварительно. Нехорошо так усмехнулся Павлуша, и Дмитрий, уехав на свои огороды, вспомнил и решил действительно покурить. Но когда хватил угол для самокрутки, на него собственный лик вдруг глянул, с нехорошей тоже базарной усмешечкой. Где уж тут успокоительно покурить! Прописано-пропечатано черным по белому: «Базарный председатель». И при четырех классах понятно, что это значило... Дмитрий как грязную веревку жевал:

«Вот так, труженики славного Череповца! Вот так, строители Череповецкой Магнитки! В то время как вы, отдавая все насущные силы делу досрочного завершения сталинской пятилетки, стоите с самоотверженной гордостью на строительных лесах, некто т. Окатов, забережный кулацкий председатель, самолично стоит за базарным прилавком и денежки трудовые с вас гребет. Нет ему дела до вашего героического строительства, до ваших железных свершений. Продает он не только огурцы — продает вашу рабочую сознательность. Вместо того, чтобы удваивать и утраивать государственные планы, он кошель деньгами набивает. Всмотритесь повнимательнее: кошель у него как кулацкое брюхо! Но пусть не радуются барышники: достанет и на базаре их железная сталинская рука!»

Благо никто не видел — заплакал Дмитрий, дрожащими руками, как вор распоследний, раскурнвая свое базарное отображение. Горькое, незадачливое...

Докурив самокрутку, поуспокоился: ладно, с председателей снимай — не замай, ладно, и лес, чего доброго, для череповецкой стройки пойдет пилить. Ладненько! Захотелось ему, раз уж так, вторично пройтись плугом по этим огородам — чтоб, к чертям собачьим, не смущало! Может, прямо сейчас бы и начал, благо и плужок, как в насмешку, с весны был в кустах позабыт, и жеребчик что-то такое глазом лукавым подсказывал... Но тут со стороны Череповца вылетел катерок. Сам соблазнитель во всей своей красе! В галифе, в начищенных хромовых сапогах и с настоящим кожаным портфелем под мышкой — ясным полуденным солнцем выплывал портфель, жарко посверкивал. Заготовитель без портфеля — что таратайка без облучка. Без портфеля ему никак нельзя.

— Что, соловушка, не весел, что головушку повесил? — прокричал гостюшка еще с борта катера, заскочившего прямо в устье реки Оклятой.

— А чего тут веселого? — пнул Дмитрий кочанище, но тот даже и не шелохнулся. — Вот дурнщи! Вот расселись! Базарный председатель вас бери!

— Читал уже? Собака лает — ветер носит, — сплюнул на бережок неунывающий Матвей Макарович. — А не видит того, не понимает, что ветра меняются... Пока писалось-маралось твое изображение, нам уж указ вышел: усилить сверхплановые заготовки, из колхозных и личных — даже личных! — запасов и доблестных строителей Череповца снабжать местными продуктами питания, поскольку с Волги и Украины не навозишься, да и там-то негусто... Эка беда, пропечатали! Привыкай, председатель, к славе. Выговорок, однако, тебе дадут...

— Да у меня уж имеется, за богатые трудодни-то! — вдруг повеселел Дмитрий.

— Один и всего-то? Вот когда до чертовой дюжины дойдет — тогда и считай себя счастливым. Много ли я работаю, а уж трояк заработал. Видно по мне?

— Надо же, не видать! — искренне изумился Дмитрий, озираясь в сторону притаившейся за морем районной власти.

— Ты туда поплевывай через левое, — вылез на берег заморский

гость и, аккуратно оттянув галифе, уселся на портфель, горсть семечек из кармана выгреб.

Дмитрий тоже ладонь подставил, укололся шелухой, опять осердился:

— Тебе смешочки, Матвей Макарович! Тебе все шуточки! А мне сводку в район давать... Куда я этих дурищ дену? — с прежним остервенением попинал он ближние кочаны.

— А все туда же, на катерок да в лавочку. Как сказано, доблестным строителям на пропитание, — не скрыл своей цели новоявленный новгородский ушкуйник. — Верно, эки дурищи, эки деньжищи! Поначалу выговорок, а там и благодареньице. Попомни мое слово!

Дмитрий уже душой чувствовал эту подсказку, но сам не решался повторить слова лукавого соблазнителя.

— Ведь боязно... Взгреют за сокрытие плана.

— Боязно, так уходи с председателей, Димитрий Климович. На тех копейках, что мы даем по госцене, и домотканых штанов не удержишь. Светить задом, как иные дураки?..

И это была правда, истинная правда. Не только череповецкие — и мяксинские колхозы, распустив по стройкам молодежь, заплату на заплату садили, чтоб стыд прикрыть. И не для горького словца — на самом деле. На прошлом районном совещании, задумавшись под звонкие звуки доклада, Дмитрий насчитал семь заплат на рубахе только одного председателя, и ничего, привыкли, даже не замечали, преспокойненько взяли новые, повышенные обязательства. А залатанного председателя даже похвалили за инициативу... Уж какую, понять никто не мог, главное, высказывался председатель хорошо и хорошо в грудь себя бил, прямо по чистенькой, аккуратно залатанной рубахе...

У Дмитрия Окатова, уже поднаторевшего забережного председателя, заплат ни на рубахе, ни на пиджаке не было, а штаны хоть и уступали широченным галифе заготовителя, но все же вниз не сползали. Нет, светить он нищенской вывеской не хотел.

— Ну ладненько, расторгуемся. А тебе-то, Матвей Макарович, какой прок?

Друг-ушкуйник, видать, такого прямого вопроса не ожидал и вскинулся бородатым, неулыбчивым лицом, с которого, как ни странно, и улыбки ласточками в нужный момент слетали и рассаживались, как по гнездам, по глазам собеседника. Обманчив, неясен был лик торгового друга, но, что интересно, внушал доверие. Было видно, что мелочиться человек не будет. Первое время Дмитрий подсылал к его жене, торговавшей в колхозной лавочке, доверенных соглядатаев, но Матвей Макарович быстро его раскусил и посоветовал: «Ты это брось, Димитрий Климович, продаем по той цене, по какой сговорились, и по полному весу — разве не так?» В том-то и дело — так, все так и было! И вот это-то бескорыстие и смущало.

— Ты не сомневайся, Димитрий Климович, — дольше обычного помолчав, ответил и на это всезнающий ушкуйник. — Конечно, есть какой-то прок и для меня, но тебе-то без урону. Секрет торговли, как говорят, ее законный навар. Зачем тебе влезать в наши дела? Свое получи, да и...

— ...помалкивай?

— Да почти что так, — не смутился торговый гость. — Сам знаешь, хвалиться тебе деньгами ни к чему. Все-таки фотограф вместе со славой и черную зависть на тебя напустил. Планы по району высокие, многие колхозы не вытянут — смотри, как бы и твои плечи не обломили... Нет, держи свое при себе.

Они уже весь берег оплевали, а все чего-то не договаривали. И Дмитрий наконец в своих сомнениях признался:

— Да понимаю я, Матвей Макарович, понимаю: хочешь жить, так крутись... И кручусь, как видишь. Ленку опять хорошего для сдачи тебе готовлю, опять буду драть по высшему сорту, уж не сомневайся. И парники-теплички расширю — спасибо тебе за стекло. И маслобойню, если механизмы достанешь, сотворю. И корзины плести стариков усажу и, может, бочки клепать... Думаю, думаю, Матвей Макарович. Одной землей нам не прожить, да и чего упускать нонешний барыш. Череповец давит окрестные колхозы, но он же и денежки дает — умей только взять. Вот я и учусь этому — брать. Не без твоей помощи, не без твоей, Матвей Макарович! — доверительно улыбнулся он. — Опять же спасибо — и за помощь, и за науку, если хочешь знать, но...

— ...но все-таки не обману ли? — понятливо досказал догадливый гость. — Нет, без обману. Уж поверь, Димитрий Климович. Зачем мне терять поставщиков, которые с умом да с толком? Ведь от нищих колхозов, как от козлов паршивых — ни шерсти, ни молока. На таких, как ты, наше заготовительство держится. Штаны-то, кажись, уже выпотрошили? — потряс он карманами своих необъятных галифе. — Значит, и время терять нечего. Будем рубить капустку, пока она идет еще по ранней цене?

— Будем, — уже без дальнейших раздумий согласился Дмитрий, — вот только...

— ...грузчики? Да что, я без головы? Да что, за твои семь верст киселя хлебать? Своих привез. Фью-ить, ребятки! — свистнул он по-разбойничьи.

И сейчас же из маленькой каютки катерка выскочили двое расторопных молодцов, с капитаном во главе, пиджаки поскидали, рукава закатали, топоры в руки — и пошла, пошла рубка! Надо отдать должное, и сам заготовитель не отставал. Пиджак и портфель отнес в капитанскую рубку, рукава тоже засучил и кивнул на перевернутую двуручную корзину. Запа-асливый! Дмитрий подхватил ее за уши, и они бегом, бегом стали бузовать на борт что успевали наготовить порубщики. Думалось, уж ладно, на глазок, но там и сама торговка, сама Макаровна объявилась, брезент с весов откинула. Пожалуй, это лишнее — примерный вес корзин известен. Но Матвей Макарович и первую корзину не вывалил прежде, чем поставили на весы. Вес ее записали в аккуратно разграфленную тетрадь. В конце концов и Дмитрий оценил эту щепетильность: обоим спокойнее. Он без передыху таскал корзины по трапу, перекинутому на берег, и удивлялся выносливости заготовителя и его деловой, улыбчивой жены — ведь кочаны, очищенные от подолов, надо было штабелями сложить, чтоб не потерлись. И Макаровна дело свое знала: капустный бурт под ее руками поднимался ровнешенько, под веселую присказку.

Тяжелое и кропотливое дело сделалось быстро и хорошо. Под конец, когда набузовали-навзвешивали полные борта катерка, Дмитрий мог уже со спокойной совестью подбить бабки и поставить свою подпись рядом с подписью приемщика-заготовителя.

Капустный бурт закрыли брезентом, полости зашнуровали, и огрузлый катерок закачался на волнах, собираясь в обратную дорогу. Матвей Макарович, отдыхая на прощанье, опять в пиджаке и с портфелем на коленях, преподал и последнюю науку:

— Вот так-то лучше, Димитрий Климович. Когда делаешь дела — не бери стакан в руки. Даже с другом наилучшим. Даже хоть и со мной. Спокойнее, вернее... и для головы безопаснее, — пустил он из бороды, как из гнездышка, свою скрытую ласточку.

Дмитрий проводил глазами уходящий катер и покачал головой: «Ой ли, без опаски ли?..»

И как бы подтверждая его беспокойство, из-за берегового мыса вдруг выскочил какой-то махонький, мокренький, брезентовый человечек и, на удивление громким голосом, закричал:

— Ушкуйники бесстыжие! Разорители земли своей! Что вы делаете? Что вытворяете?

Катерок уже подымливал далеко в море, и Дмитрий самоуверенно отмахнулся:

— А капустку растим! А дураков кормим!

— Во-во, — затопал перед ним ножками и в сухую погоду промокший брезент, посверкивая золотыми очошками. — Растите! Кормите! Кого?

— А кто с деньгами. Не шаромыжников же! — не скрыл своего презрения Дмитрий, сжимая в один кулак и коробом стоящий брезент, и кепчонку, и золотые, видать краденые, очошки. — Сам-то ты кто, пугало огородное? Да откуда ты на меня свалился?

— Оттуда, — вылезла из брезента махонькая цепкая ручка с зажатым в ней биноклем, сверкнули стекла в сторону громадной сухой березы, оставшейся от старого Избишина. — Сук подгнил... Хорошо, что мелко, плавать-то я не умею, — за золотыми очошками и глазенки проступили — белесые и, как ручошки, цепкие и неугомонные.

Дмитрий уже не слушал, что кричит это промокшее существо, а из сухого плавника быстро вздул костерок, бросил к нему из телеги охапку сена и подтолкнул рассвирепевшую брезентуху:

— Хватит горло драть! Горячку схватишь. Раздевайся.

— Догола-а?.. — как-то комично ужаснулись отсвеченные очошками глазенки.

—Догола ли, до голика ли — живо... чудо-юдо морское!

Пока барахталось, выбираясь из брезента, это стучащее зубами существо, он сходил к телеге и сунул в ручошки, уже совершенно голые, заначенную бутылку.

— Грейся со всех сторон. Вода все ж сентябрьская, не для таких цыплят... — Но осекся, обнаружив вместе с человеческим обликом и бороденку, жиденькую, малозаметную, но явно седенькую... — Не для таких сморчков, — поправился смущенно. — Однако, однако в этом-то деле ты силен!

Вылупившийся из брезента седенький цыпленочек времени зря не терял: круто заломил бутылку и пустил в свое, казалось, бездонное, горло. Даже у Дмитрия дух перехватило.

— А ничего, не обеднеешь, председатель. — Вернулась к нему бутылка.

Дмитрий отнес ее от греха подальше, обратно в таратайку.

— Да откуда ты знаешь, что я председатель?

— Кто тебя не знает! Кто разоритель земли своей?! — разогревшись, опять затопал ножками седенький птенчик.

— Силё-он! У моего костра согрелся, мою бутылку выжрал, да меня же и ругать?

Подсохший птенчик опять облачался в брезент, вешал через плечо бинокль и даже книжечку с карандашиком откуда-то достал, чирикал в ней мелким воробьиным почерком.

— Что ты там пишешь?

— А штрафик, штрафик. За разорение птичьего побережья.

Дмитрий уставился на это чудо-юдо морское:

— Из милиции ты, что ли? Ты кто, говорю?

— Дед Пыхто! А проще — так никто... Никто! Не из милиции! А надо бы, надо погончики... Уж лучше бы — полковничьи! Чтоб в разум тебя ввести... как меня-то краснопогонщики вводили. Спросить бы со пристрастием: зачем ты побережье распахал по самую воду? Здесь птичьи гнездовья, их среда обитания, так сказать, дом их отчий. Э-э, да что тебе толковать... Не бит ты, председатель, не бит...

— Ну знаешь, дед Пыхто! Катись ты, знаешь... — стегнул Дмитрий кнутом по кострищу, искры под носом у этого птичьего заступника взбил. — Мне с тобой говорить... Люди ждут меня.

— Да и ты мне до... — отряхнулся от искр и поднялся этот не от мира сего Пыхто. — Меня птицы ждут, и зверье заждалось. Несчастные создания, как и я, беспогонные...

Так они, ничего друг о друге не уразумев, и разошлись. Может, и забыл бы Дмитрий этого Пыхто, может, и выбросил бы из головы, не

заверни к рыбарям. Еще на подходе Павлуша с Айно встретились. Сидели на мыску, от всех в удалении, и обсуждали, видно, рыбацкие свои дела. Скрипа таратайки не слышали — увлечены были разговором; не таким и веселым, как выяснилось: Айно застал Дмитрий в слезах.

— Выходной, что ли? — подал голос председатель.

— Пыхто нам воскресеньице устроил, — недобро подхватился Павлуша. — Прогнал с тоней. Чего уставился?

Дмитрий только мельком и глянул-то на зареванное лицо бригадирши. Смутило его это лицо, жалость взяла к подрубленной головке — так и клонилась в бессилии на плечо Павлуши. Не хотелось в разговоры пускаться, как ехал — так и проехал мимо, к церкви...

Максимилиан Михайлович, тоже в уединении, сидел в раскрытых дверях на паперти, на сугреве. Видно, ловил больной грудью последнее солнышко.

— Пыхто? — расхохотался сквозь кашель. — Пожалуй, что и Пыхто... Уж поверь, нас с тобой перепыхтит. В Питере битый, в Москве недобитый — нам в назидание посланный. Из заповедника, слышал?

Что-то такое про ссыльных ученых и открывшийся на побережье заповедник доходило и до забережного председателя, но не думал он, что уж это-то его касается. Не заем, не хлебопоставки. Не дороженька череповецкая. Не Барбушата одномужние, наконец. Своих дел полнехонько, до полного горлышка. Дался ему какой-то Пыхто!

— Сидим мы тут, кроты забережные, и знать не знаем, чем Москва да Питер мой живут... — продолжал Максимилиан Михайлович. — Там аукнется, здесь откликается. Этот махонький Пыхто был в Питере большим генералом... не чета полковникам, которые его сюда сослали. Целым институтом ворочал... хоть в институте-то букашки да таракашки!

— Оно и видно, — съехидничал Дмитрий.

Ехидство Митино и остановило Максимилиана Михайловича, он недобро вскинулся:

— Удивляюсь я тебе, Димитрий Климович, удивляюсь! Пожалел бы человека. Тем же кнутом ужаленный, что и Самусеев, и Иванцов, и я... да и ты сам, и ты!

— Ну, уж дудочки, про меня-то! — вскинулся и Дмитрий. — Меня-то с ног не собьешь.

— Как знать, как знать... — не захотел распалять страсти Максимилиан Михайлович.

Сорвав все-таки больную грудь, стал он тих и неразговорчив. Не оживился и при виде вернувшейся с мыска жены — она была уже без слез, но усталая, смурая какая-то. Постаревшая Айно — мог бы еще добавить Дмитрий. Что-то неладное творилось и здесь, на церковном острове. Максимилиан Михайлович только глянул в сторону жены и вздохнул. Ничего не сказал. Какая-то кошка промеж них бегала и явно хвостиком покручивала... Дмитрий и посидел-то на паперти с десяток минут...

Снова гремела таратайка. Была она на железном ходу, легкая, ладная, череповецким дегтем смазанная, но все равно погромыхивала. Поскрипывало что-то, подрагивало, потрескивало. То ли под колесами, то ли в самих колесах. Драли они лесной мох, сшибали придорожные сосенки, мяли коренья, но и самим доставалось. На одной из песчаных осыпей, когда жеребчик от натуги круто выгнул спину, колесо вдруг сорвалось и, освободившись от таратайки и набирая скорость, покатилось впереди лошади. Даже жеребчик от удивления встал на дыбы! То-то картинка!.. Но Дмитрий, ковырнувшись со своей новенькой председательской таратайки, не смеялся — завороженно, испуганно смотрел, как катится, катится слетевшее колесо, как клонится, клонится набок таратайка... пока в грязную канаву не запрокинулась...

«Вот тебе и отпыхтелось!» — отряхиваясь, ехидно подумал Дмитрий и вопросительно глянул на опешившего жеребчика.

Осень пришла, и осень ушла. Бабье лето возвернулось. Уж которое по счету?..

Дмитрий ехал верхом и посмеивался. И над возвратным теплом, и над возвратной женской глупостью... Чего не бывает в этой жизни!

Собираясь в свой тайный поход, он далеко обогнул избишинскую церковь — так далеко, что и колокольни было не видно. Бездорожье, да зато покороче: прямо в низовья реки Оклятой выводила давняя охотничья тропа. С весны он еще думал здесь прорубить дорогу, но сейчас надобность в рубке отпала. Другие, совсем другие у него наметились планы...

Две оплетенные бутыли с керосином по бокам седла болтались и немного сбивали ход верного жеребчика, однако ехать можно — ехать нужно... Ну, словом, необходимо. В седле проходил и без просеки, по тропе, а лучше — чтобы и тропы никакой не осталось. Чтобы лесом и сама память о череповецкой дороженьке заросла! Председатель Дмитрий Окатов настроен был решительно. С дорог, думал он, все начинается, дорогами и кончается. Вон как с Красной Сельгой — покончилась ее судьба придорожная, последние Авдуловы в Избишино сбежали. А все потому, что на большаке стояло гордое череповецкое село, тройки то и дело в Череповец гоняли. Вот и догонялись — растерялось, растрепалось все село и дурной крапивой изошло. Судьбы такой, могильной, Дмитрий Окатов своему Избишину не желал. Керосиничиком бесову дороженьку полить и семенем еловым потом посыпать, вот так. Страсть как хороши елки рогатые! Никакой засеки не надо. Татарскую дикую конницу и ту не пропустят — куда уж там избишинским зимогорам!

Под зимогорами он разумел, конечно, Веньку Ряжина и его мокроносых сверстников. Планида уж такая у председателя — все слушать и все подслушивать. Да и велик ли грех — в риге ребячью сворку застукать! Думал, снопы не подожгли бы с курежом. Думал, турнуть. А у них дела посерьезнее оказались... Ораторствовал подросший Венька:

— Скоко можно сидеть в нашей дыре? Как станет дорога, как закалеет грязь — надо драть в Череповец. Может, в фэзэо примут.

— А годы? — ему отвечали. — Годов в метриках маловато.

— Метрики что! Метрики подтереть можно. У меня уж полных шашнадцать, гляди!

Долго сопели над Венькиными метриками, восхищались:

— Надо же, как гладко! И мне? И мне подотрешь годы?

Дмитрий подтер им вчера носы, но знал — ненадолго. Если бежать сговариваются — убегут. Вслед за Юркой Ряжиным подрастают, вслед за ним и тянутся. Все по этой, по дороге черепанской... Надо перекрыть дороженьку, палом пустить. По таким грязям да хлябям без сапог немного напрыгаешь. Да через речки, ручьи-то!

Вот на них-то, на бесчисленные ручьи-ручейники, и была надежда. Река Оклятая все болота к себе выдоила, жаднющая! Он охотничьей тропой как раз в ее низовья и выехал. С двумя керосиновыми бутылями у седла и с веселеньким таким хлыстиком в руке. Не председатель, а разоритель татарский. Интересно, заходила татарва в такую забережную глушь?

На эту ненужную мысль его монастырек навел. Вернее, останки монастырька. Кое-что из каменных стен уцелело, но здесь больше было деревянного — погнило да погорело. Бедноват был монастырек, маломощен. Первый этаж из валунья да из кирпича поднимали, а выше ставили сруб. Ну, и уросло все теперь лесом. Только развалины хорóм да теплиц. Крыш, считай, нигде уж и не осталось. Что это, приостановился Дмитрий, дымок?

Над одной из сожженных хоромин настлана покрыша — еловым корьем, но труба нормально дымилась. Решив передохнуть у неведомых зимогоров, Дмитрий подвернул было к натоптанной у входа полянке... и тут же морду жеребчику зажал: молчи, милый, прочь от греха подальше! На дорожке монастырька сидела в нагольной одежке бригадирша Айно, а на коленях у нее полеживал, тоже в нагольном, не кто иной, как Павлуша Лесьев... Как было не шугануть обратно в кусты! Ай да рыбка, ай да золотая! И на таком глухом бережку ловится...

Ехал теперь Дмитрий Окатов по своей череповецкой дороге и распевал что-то непонятное. Так, от блажи душевной. Куда ни сунешься — везде тайны, тайны, тайны! Кто в Череповец сговаривается, кто рыбку на пару с рыбачкой в глухом монастырьке имает... Кажется, отсюда в довоенные времена и уволок Павлуша на свою голову бесподобную Капу-Белиху? Но эта-то не белая монашенка, ой не белая... Тоже им тайна — для одного глупого муженька! Значит, сами пускай и разбираются. Он не видел, он и смеха ихнего не слышал — ничегошеньки. Жахнет он по этим тайнам огнем паленым! Керосинчиком последним! Жаль керосинчика, а ничего не поделаешь. Надо.

На всю дорогу и по капельке из этих бутылей не натянешь, конечно, а вот на кладочки-мосточки хватит. Если с толком за дело взяться.

Новая, неожиданная встреча с Павлушей и задурившей Айно только воодушевила его. Надо, надо! Всю дорогу проскакал лётом и остановился уже на выезде из лесов. Впереди виднелась закрапивевшая околица Красной Сельги — ни одного дымка не поднималось над растрепанными крышами. Ураганы, что ли, здесь пронеслись? А раз ураганы череповецкие — так перекрыть им дороженьку в Забережье! Начисто и наглухо.

У последнего моста, через верховье Оклятки, он слез и отвязал одну из бутылей. Седло сразу поползло на сторону, и жеребчик скосил глаз: чего, мол, ты еще надумал, хозяюшко?

А то и надумал, что ладила-то эти мосты целая иванцовская команда — разве теперь по силам одним председательским рукам? Он натаскал с ближнего задорожья елового сушняку и копной взметнул на середине моста. Скупо, с прицелом спрыснул из бутыли. Главное, разжечь, а там огонь свое дело сделает. Дерево все-таки, не камень.

Лежа на бревнах у дикого кострища, он вспомнил, сколько пота тут изошло. Жаль, конечно, но дорога их всех погубит. Надо сидеть в своем Избишине и носа в сторону Череповца не высовывать. Ну, разве что председательский носишко да носище Матвея Макаровича — хватит и того с избишинцев. По крайней мере, с куском хлеба отсидятся.

Огонь прыгал по верхушкам сушья и долго, неохотно примеривался к бревнам настила. Ну, наконец, взялось! А раз взялось — уж не отступится...

Но уехал он с первого моста не раньше, чем все охватило жарким пламенем. Смотреть, как рушится мост, все-таки не стал. Да и некогда было. Отступив с полкилометра, и гать подпалить захотел, хотя бы на самом гиблом месте. Тут сушняка потребовалось побольше — бревна лежали на земле сырые, и провозился он порядочно. Ничего, тоже взялись огнем праведным иванцовские труды.

Так, пятясь к своему заповедному Избишину, сжигал Дмитрий за собой все мосты и мосточки. Уже и вторая бутыль была снята с седла, вполовину поплюхивала. Приходилось беречь горючее. Позади него, до самой Красной Сельги, вставало дымное марево, а впереди было еще чисто. Значит, вперед, председатель, пали, поджигатель! День уж кончался, он торопился. Некоторые легкие мосточки попросту разворачивал ногой и бревешки разбрасывал, как косточки обглоданные. На все-то керосину не напасешься. Оставался еще главный мосток — все через ту же реку Оклятую, но уже в низовьях, широкий. Председатель битый час таскал хворост, уже не копну — целый хвойный зарод взметал по настилу, прежде чем решился выплескивать остатний керосин. И, заполошившись, уже в сутеми поджег — с того, дальнего берега...

Огонь по такому зароду славно пошел, дружно. Дмитрий Окатов, поджигатель-председатель, хохотал, еще не думая, как перебираться обратно. На той стороне ржал жеребчик, а он стоял перед кострищем

руки в боки — и над всем и над вся смеялся. Так ее, растак ее, дороженьку череповецкую!

Но сколько ни смейся, на свой-то берег надо перелезать? Пришлось догола раздеваться и с узлом над головой лезть в холоднющую воду. Поневоле вспомнишь несчастного купальщика Пыхто! Даже жеребчик ближе к берегу подступил — не нужна ли помощь, хозяюшка? Нет, сам выбрался. Синющий, сиганул прямо в огонь и уже потом, подсогревшись, отступил. Тут его, со штанами в руках, и окликнули:

— Хорошо ли купаньице, председатель?

Павлуша Лесьев, леший его бери! И ладно, хоть один...

— А хорошо ли гостеваньице в монастырьке? — не остановился перед тайной-стыдобушкой Дмитрий.

Следовало ожидать, что теперь уж они в кулаки возьмутся, но Павлуша ответил примирительно:

— Так хорошо, что не знаю, что и делать...

— В колхоз возвращайся, — стягивая ремень на ватнике, подсказал Дмитрий.

— И рад бы, да грехи не пускают!

— Что, рыбка золотая?

— Золотая ли, серебряная ли...

При полном пожарище, при молчаливом соглядатае уезжал Дмитрий Окатов от последнего моста. Вот дела! Теперь у них с Павлушей такие тайны завелись, что знай готовь сеть. Для чьей вот рыбки только?..

На это и сам Дмитрий не мог ответить. Знал только, что дело сделано, мосты сожжены — ну и ладно. Спать пора. После такой-то работушки!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Над побережьем дули холодные, сквозные ветры. Они шли, казалось, из-под самого полюса — так пронизывали снеговым духом. Но какой снег в сентябре, пусть даже и на исходе? Напрасные страхи. Тем и успокаивал себя Максимилиан Михайлович, кутаясь в брезентовый дождевик. На колокольне под прожектором было как в поднебесной: тучи над самой головой. Они плыли, что пароходы: серовато-белесые, потрепанные, поспешные, а из русла Шексны, стиснутого берегами, стремительно вырывались на просторы моря, и уж здесь куролесили, куролесили! Какое-то время невмочь было найти дальнейший путь: кругом торфяные острова, протоки, заливы, постоянно меняющиеся берега. Маяки и те не всегда помогают: бог не видит, водяной не слышит, а капитан не верит. Вот все еще торчал один пароходишко в торфяной каше, всплывшей на самом фарватере, два катера-толкача вокруг него кружили, а не могли столкнуть на чистую воду. Максимилиан Михайлович знал, какие проклятия шлют капитаны в сторону обманчивого маяка, а что он мог поделать? Приезжали пароходные генералы, с биноклями и дальномерами, сквозь прорези колокольни, как сквозь бойницы, позыркивали на море и сыпали крупнокалиберными матюгами. Не помогало! Море куролесило по-прежнему.

Максимилиан Михайлович с надеждой думал, что навигации как-никак скоро конец и все само собой уляжется. И море, и ветры, и люди... Иногда ему казалось, что люди-то во всем и виноваты, особенно этот Пыхто. Человек чужой, человек зловредный. Удивительно, и в таком глухом углу слухи ползли: за букашек-таракашек выслан из Питера, стало быть, зачумленный человек. «Может, отравитель какой!» — проницательно судачила фронтовая братия, а Павлуша Лесьев — тот предлагал прямо к церковной стенке поставить. Было уже само собой подозрительным, что полковника Иванцова забрали и не выпускают, а этого и забирали, да выпустили. Значит, и сообщники имеются. «К нему без противогаза нельзя, — говаривал Павлуша в злом упоенье. — Отпыхтится нам сволочной Пыхто!»

Тот не обижался, для себя требовал самого малого — биологического существования, а для птиц и зверей возводил их дикие дворцы. Что нужно птице? Камыш повыше, плавник в воде поглубже. Что нужно зверю? Нора посуше, логово потише. Пыхто прямо выходил из себя, когда рыбаки, народ ни царю ни богу, жгли в кострищах, иногда и целыми гектарами выжигали, береговой плавник. Для них это просто коряжины, не срубленные перед затоплением и повалившиеся в воду леса; чертовы крепи, мешающие забрасывать и тасквть сети, которые рвались, трещали, как гнилые дерюжины. Особенно после того, как лебедки и ворота применять стали. Рука, она еще что-то чует, а колесо или барабан — чует только силу. Крутят-вертят — из воды ошмотья тащат! Как было не возненавидеть пни, топляки и разметанные по взбережью бревна — все, что осталось от залитых лесов, деревень, пристаней, разных складов и сараюшек. Люто ненавидели рыбаки не перетертые еще водой обломки прошлой жизни. Все эти носящиеся по волнам прялки-скалки, все эти сундуки-рундуки, в которых взяли моду селиться лещи да налимы. Максимилиан Михайлович бегал вслед за артелью, вытаскивал из воды и грязи что еще не погнило и знал: чем гуще стоит мат, тем вернее добыча. Его добыча — не рыбацкая. Так он еле вырвал из рук рассвирепевшей Дудочки лубяную, тонкой резьбы зыбку, с расщепленным обломком очепа, о который запуталось с десяток метров сетей. Ну уж и гнала она ладожские волны по шекснинской воде, ну уж и поминала всех фронтовых угодников! Максимилиан Михайлович помог ей избавиться от очепа, а безымянную зыбку утащил в церковь. Случившийся на ту пору Венька Ряжин долго смотрел на узор зыбки и ковырял пальцем почерневшие следы долота, так что Максимилиан Михайлович даже спросил: «Уж не ваша ли, уж не батька ли мастерил?..» Венька ничего не ответил, молча ушел в новое Избишино, не желая и поминать старое. Но рыбаки поминали, да и как еще? Казалось, вся ненависть, копившаяся военные и послевоенные годы, сошлась здесь, на задворьях затопленного Избишина. Рыба по какому-то своему рыбьему норову облюбовала порушенную деревню; наверно, было много ям-погребов, колодцев, всяких потайных подполий, фундаментных камней, еще не сгнивших нижних, не подвластных воде венцов, всякого житейского хлама. Что держало на месте невидимой деревни бессловесную рыбу, что кружило по берегу жалостливого Пыхто, защитника букашек-таракашек, — то бесило рыбаков. Часто и без всякой надобности полыхали кострища, гремели взрывы — даже тол для расчистки тоней давали, а уж как пользоваться толом — учить фронтовиков не надо. Делали они с лихим удовольствием это опасное дело; опасное не столько для себя, сколько для наивного, вечно пыхтевшего Пыхто. Разочаровавшись в писаных и неписаных запретах, он взял моду на всяком прибрежном завале свои метки тыкать; этакий крепкий осиновый кол, расщепленный вверху, с дощечкой в расщелине, с красной надписью: «Заповедник. Ловить рыбу запрещается!» Дощечки эти Пыхто у себя мастерил вечерами, а по утрам развозил вдоль берега, зорко высматривая гнездовья, нерестилища и просто чертоломные места, где возводил дворцы для своего заповедного мира.

А эти места и рыбаков привлекали. От церковного мыса, от обжитых, загаженных берегов они спускались все ниже по дикому побережью — вверх, к многолюдному Череповцу, идти было бессмысленно, рыбу там городская орда вытаптывала. Нет, рыбаки настырно лезли — и вплавь, и пешью — во владенья Пыхто, будь их воля да будь лодки получше, они бы и до самых Переборов, до плотины дошли. Говорили, там-то и кружила рыба, а-агромадная! Но до Переборов было далеко — до заповедных палестин Пыхто совсем близко. Отжимали все дальше и дальше очкастенького, брезентовенького ученого, зловредной его учености не принимая. Лодками своими тяжелыми, сапожищами, кострища-

ми, ором несусветным, сетями начисто утюжили побережье, облюбованное неукротимым Пыхто. Где проходил он пешочком да в легкой лодчонке — рыбаки целой армадой врывались, и, случалось, летели под взрывами струганые красные досочки; случалось, и опрокидывало посудинку настырного Пыхто. Максимилиан Михайлович говорил Айно: «Ведь утопите горе-ученого!» — «А что нам делать? — отвечала Айно, поглядывая на своего заместителя, Павлушу. — План все повышают да повышают». У плана была государственная оборона; у несчастного Пыхто такой обороны не было. Мастерить-то красные дощечки мастерил, но все понимали: самочинно. Границ заповедника никто не знал, границ этих, собственно, и не было, а если и были, так очень далеко, на ярославском углу Забережья; на вологодской стороне о том и слышать не хотели. Жаловаться не имело смысла, да Пыхто и не жаловался, просто держал смертельную, неравную оборону. Его оттесняли с красными дощечками, его выбивали из завоеванных проток и заливов, а он снова наступал и наступал, как заколдованный. Особенно везло ему в штормовые дни: рыбаки не могли залезть в море с сетями, а он со своими осиновыми кольями и красными дощечками умудрялся как-то залезать. Поистине с нечистой силой!

Максимилиан Михайлович ловил себя на мысли, что и он, как зачумленный Пыхто, все больше и больше влезает в какие-то не свои дела. Дело его — смотреть за маяком, давать светлый путь пароходам, баржам и плотам... а он музеем занялся, заповедником мается, он, наконец, вроде попа... Рыбаки совсем озверели, Айно знай поддакивает Павлуше, почернела, провялилась на воде — осталось только подсолить, как ту копчушку.

— Аня, — требовал он, муж ей все-таки, — брось ты эту войну. Что ты все с Павлушиных уст дуешь?

— Отстань! — стервенела она. — Рыбы нет, сдавать нечего.

Все так: не вытаскивали план. Не только рыба — и рыбари с пропажей Иванцова пропадали. Павлуша Лесьев больше с бригадиршей, как говорили, совещался, чем занимался делами. С него-то взятки гладки — Айно за все отвечала, а он для полковничьего куража. Но что удавалось истинному полковнику Иванцову, то не задалось лейтенанту Лесьеву. Напрасно кричал, напрасно рвал толом прибрежные завалы — авторитет его выше лейтенантского не поднимался. А хотелось, очень хотелось ему в полковники! И сама бригадирша тоже вроде бы восхотела стать полковничихой... Да, да, что-то и такое, глупое, между ними началось. Воевали, казалось, с дедом Пыхто, а на поверку-то — с ним, мужем и хозяином этого острова.

Дудочка, та прямо вчера заявила:

— Ты, это, гони Пашку. Гони, потом пожалеешь!

Надымила папиросищей, накричала, а пойми возьми?

Бригадирша и ее неотступный заместитель как раз причаливали к берегу. Без бригады, вдвоем. А тут и китайские церемонии у причала: Павлуша козлом прыгнул на берег, лодку бортом притянул, а потом притянул и Айно, на руках, как царицу, понес к церкви; повязанная платком голова Айно от рыбьей чешуи и впрямь золотой короной клонилась на грудь Павлуши. Значит, лещей таскали сегодня? Но не лещи — жена занимала Максимилиана Михайловича. Покашливая насмешливо, он спустился вниз — путь по этим шатким переходам, да с такой верхотуры, и для здорового человека неблизкий. А ему куда спешить? Но смеялся слишком опрометчиво: Айно он нашел в жилом приделе, на кровати, уже без брезентовых штанов, а Павлуша стоял на коленях и ногу ей ладонью наглаживал.

— Ты, случаем, жену не перепутал? — появился в дверях Максимилиан Михайлович. — Капу лучше бы погладил.

— У Капы что-то не подворачивается нога, — нехотя уступил свое место Павлуша.

— Нога?.. Ах, ноженька замужняя! — со всей решительностью постарался заменить Максимилиан Михайлович незваного заместителя.

Павлуша стоял обочь, недовольно наблюдал.

— Да разве так надо? — потеснил он плечом ревнивого мужа и принял колено Айно в обе ладони, катая, как горячую картошку.

— А уж это мне-то лучше знать! — и Максимилиан Михайлович плечом поднажал, перекатывая неостывшую картошину в свои руки.

Айно лежала на спине, почему-то обхватив руками живот, сквозь слипшиеся ресницы на них посматривала, но ничего не говорила. Признаться, такой вот, ждущей и даже требующей внимания, Максимилиан Михайлович ее и не знавал. Обычно было все наоборот: он валялся на кровати, а она над ним клонилась. Сейчас вот и самому пришлось поклониться, да еще и с непрошеным помощником на пару...

— Ты иди, рыбу лови, — подсказал ему.

— Я свое уже выловил, — поднажал плечом и Павлуша. — Нога, вишь...

Но тут и Айно стиснутые на животе руки разжала, улыбнулась:

— Кака-ая нога?.. Иди ты, Павлуша. Кузю привези.

Ее Павлуша послушался, ушел на причал.

— Час от часу не легче! Вы и про Кузю позабыли?..

— Не позабыли, а оставили на лодке у Дудочки, — поправила его Айно.

— Во-во, оставили!

— Да ты чего, Максимо? — назвала она его прежним, домашним именем. — Вроде как расстроен? Нога-то ничего, к завтрему на свое место и вывернется.

— Еще бы не вывернуться!

Закрыл ее голые ноги одеялом и тоже вышел на причал, может, сына встречать, а может, Павлуше чего такого хорошего сказать...

Но парус Павлуши Лесьева был уже далеко в море — сильный дул ветер, попутный. А навстречу, зигзагами, другой парус тащился. Этого долго пришлось ждать. И не без волнений: с парусом управлялись Дудочка да сынишка, вертели его за веревки туда-сюда. Те еще мореходы!

Когда причалили, Дудочка, не стесняясь Кузи, всласть поругалась, а потом ушла в церковь, сердито наказав:

— За хозяйкой бы, грозен-муж, получше присматривал. Па-алучше бы!

Что она, негодница, хотела этим сказать? Идти вслед за Дудочкой было бесполезно: не пустит. Слышно было, как и крючок на двери щелкнул.

Максимилиан Михайлович гулял с Кузей по берегу и через него пытался дознаться:

— Чего там у них случилось-то?..

С точки зрения Кузи, случилось нечто совсем фантастическое, потому что он так и захлебывался, рассказывая:

— Понимаешь, пап, бревно плыло, понимаешь, лодке ход перегородило, мамка это бревно пихнула багром, а оно, пап, оно щукой оказалось, а-агромадной, а щука как ударит хвостом, как ударит, ка-ак понесет лодку, понесет, а мамка ка-ак закричит, закричит, ка-ак полетит за борт, ка-ак плюхнется в воду, а дядя Паша ка-ак мамку за ногу, а щука ка-ак поскачет, поскачет по волнам, а мамка вслед за щукой, вслед за щукой, а дядя Паша ка-ак дернет, дернет за ногу, а мамка ка-ак схватится за живот да закричит, а щука ка-ак...

— ...тоже это, за живот схватится? — остановил его Максимилиан Михайлович.

Кузя недовольно поперхнулся, сбитый, видно, на самом интересном месте. Но ненадолго. Опять захватили его прежние видения:

— Щука уплыла, только и видели! Мамка мокрая вся, но мамка не уплыла, ее дядя Паша в свое переодел, а сам-то...

— Голышом, что ли? — догадливо подсказал Максимилиан Михайлович.

Сын с досадой замахал руками:

— Не рыбак ты, папка, ничего ты не понимаешь! Холодина же? Для мамки запасное нашел, а сам на ветру выкрутился, а я парус в обратную сторону повернул, и мы понеслись, понеслись к берегу!..

— Так уж и понеслись? — и тут поймал его Максимилиан Михайлович. — Как же ты у Дудочки... у тети Павлы то есть, в лодке оказался?

Сыну пришлось и это досадной скороговоркой объяснять:

— А, ничего тебе не понять, пап! Со мной лодка огрузла, я к тете Павле перепрыгнул, а она налегке понеслась, понимаешь, пап, она вся мокрая, ее сушить надо...

— Лодку-то? — уж тут нарочно сделал вид, что не понимает.

Сын тоже потерял терпение:

— Лодка, она всегда мокрая. Не понимаешь, так помолчи, пап, понимаешь?

Уж тут понять что-либо было поистине мудрено, кроме одного: ага, переодевались, ага, кто в мужское, кто в запасное! Кому во что захотелось! Дело это недолгое: и мужчины, и женщины натягивали на себя обычно солдатское белье, подштанники то есть, да еще и не одни — зад ревматизный, как луковку, прикрывали несколькими слоями, а поверх — брезентовую робу. Только вроде бы Павлуша-то повыше ростом?

От своего ехидства еще больше раскашлялся Максимилиан Михайлович и гулял по берегу только так, чтобы сына не обидеть. С этими рыбарями Кузю почти целое лето не видел, да и теперь, с наступлением осенних холодов, все еще по морю таскается. На самой большой лодке сколотили фанерную кабину, сена настлали, железную печурку засунули — можно было по очереди погреться, а можно и без очереди, по-бригадирски...

Сын что-то начал, он что-то докончил, и вышло как в сказке: прямо за ножи берись. Совсем рассвирепел обычно покладистый Максимилиан Михайлович. Ножи, ножи требовались для сегодняшнего настроения. Где-то ведь еще валялся фронтовой тесак, не все же им лучину щепать?!

Три дня отлеживалась Айно, три молчаливых денька. Максимилиан Михайлович вместе с зареванным Кузей был выселен в общежитие к рыбарям — с наступлением холодов они опять перекочевали в церковь. На море зима с летом сходилась, штормило, да так, что лодки на берег позатаскивали. Рыбари истово шуровали печки, сделанные, как водится, из бочек, и знать не знали забот Максимилиана Михайловича. Похмыкивали:

— Ничего-о, грозен-муж! Пускай Аня поотдыхается.

И уж, само собой, не печалились печалью Павлуши Лесьева — тут еще дружнее покрякивали:

— Зампоюбке! Твое дело теперь стороннее!

Павлуша Лесьев в ответ громы и молнии метал. Ну, в сторону хохмачей — ладно, а в дверь?.. Там Дудочка распоряжалась. Без них без всех, и даже без мужа. Дела у них, как ясно было, чисто женские.

Зря глазел Павлуша Лесьев, осатаневший заместитель, на запертую дверь, которую стойко охраняла рыбацкая врачевательница. Кто прошел через ее врачеванье, кто познал Дудочкины скорые, окопные руки, тот мог бы и задуматься: чего же с бригадиршей-то она деликатничает? Чудилось, с ложечки кормит; мнилось, ведьмиными заговорами ублажает. Слышалось, из-за двери и песнопения неслись. И это Дудочка, ничего, кроме маршей, не знавшая? А тут как молитва покаянная, тягучая. Жуть пробирала мужиков. Голос Айно, когда уж сильно подступал Максимилиан Михайлович, оттолкнув и Павлушу, прорезáлся сквозь окованные плахи: «Ничего, Максимо, оклемаюсь...» Чуть погромче на кулаки Павлуши отзывалась дверь, но все тем же: «Оклемаюсь...» И уж разве что зареванному Кузе — послышнее: «Погоди, сыночек, потерпи...» Он терпел и своим терпением отца взбесившегося поддерживал. Иногда хотелось Максимилиану Михайловичу к самому прожектору забраться и оттуда прямо в море бушующее скувырнуться. Может, и кувырнулся бы, мучительно закашлявшись, через низенькое ограждение, да Кузя всякий раз под рукой оказывался, Кузя тормошил: «Пап, ты чего, пап?..» И приходилось отвечать: ничего, сынок, ничегошеньки! И приходилось вниз спускаться, мимо натащенных сюда икон, пушек, прялок, ружей, сундуков и детских зыбок... Возле них он панически останавливался: да, да, зыбка, ведь она для дитяти? Кузя его вздыханий не понимал, Кузя решительно тащил к рыбарям. А там, под шум холодной бури, в карты резались и успокоительно повторяли:

— Ничего, у баб это бывает. Ничего, бабы — они живучие.

И верно, уже на третий день и ожила Айно. Вначале под руку с Дудочкой вышла, а потом и оттолкнула ее:

— Я сама!

— Сама так сама, смотри, — только и ответила Дудочка, тут же на пороге сворачивая газетный рожок.

Мужикам они ничего больше не объясняли, Максимилиан Михайлович с правого боку подхватил, Павлуша — с левого, а Кузя спереди за юбку тащил. Так и вошла бригадирша в круг рыбарей.

Перед ней расступились, усадили на самое теплое место, к жарко визжащей печке. Айно послушала, послушала этот огненный стон и осталась довольна:

— Никак стихает? Рыбалить пора. План-то, план-то!..

Вот и все, чем утешился Максимилиан Михайлович, три дня не спавший муженек...

Может, и порасспросил бы построже, да на ту пору Дудочка задурила.

— Ты, Анька, живи и ни о чем не думай. Теперь все живое с тобой. Без меня обойдешься. Без меня! Я Иванцова пойду искать... Ну вас всех к лешему. Я найду своего полковника. Не будь я Дудочка полковая!

Ее успокаивали, ее и Айно по бедовой, поседевшей голове гладила, а потом вслед за ней на берег потащилась, а та свое во всю прокуренную глотку дудела:

— Нечего разговаривать, поплыву!

Что-то им доказывал выскочивший следом Павлуша, чем-то даже рассмешил. Остановились было, оглашенно рассмеялись. Вот так, горе и радость, болезнь и смех! Несколько раз еще на пару к причалу таскались, обе как сумасшедшие, а следом сторожил их Павлуша. И все будто во сне, никого не видя. У Кузи и то глазенки вверх от удивления полезли:

— Ка-ак мамка-то, ка-ак бегает-то?..

— Бегает, сын мой, видно уж так — бегает! — с горькой насмешкой подтвердил Максимилиан Михайлович.

Но сын отцовской двусмыслицы не понимал, обрадованно кинулся к оглашенным:

— Ма-амка! А щуку-то все равно поймали. Икря-астую!

Она вроде как и не понимала сына, оглядывалась на лодку, в которой покачивался Павлуша. И заметила только:

— Да, да, икрястая...

Сын сейчас же с радостью добавил:

— И плотичка в брюхе завелась!

Она непроизвольно прихватила руками живот:

— Да, да, плотичка...

— Не стронулась? — подался к ней Максимилиан Михайлович.

— Если и стронулась, так башкой только... — разогнулась поспешно Айно.

Подбежавшая Дудочка ни с того ни с сего размахалась папиросищей:

— Ну ты, Анька, ну ты двужильная!

— А как же, на две жизни... — выхватила Айно у нее самокрутку. — Ома муа! Чортан эта жизнюа!

И с этим карельским проклятием так посмотрела на Максимилиана Михайловича, что у того сердце сжалось. Не замечал он у Айно страсти к табаку, не замечал...

— Пойду, — тряхнула распущенными космами Дудочка. — Иванцов зовет... — и стала собирать в вещмешок свои пожитки. Какая-то смертная бледность покрыла изношенное, истрепанное лицо.

— Может, не надо?.. — попробовал остановить ее Максимилиан Михайлович.

— Много ты понимаешь! Надо.

Уже с вещмешком за плечами и с неизменной санитарной сумкой на боку она в дверях оглянулась и крикнула прежним непримиримым тоном:

— А вы не лайтесь, вы о живом подумайте!

Ободранные полы шинели хлестко стебанули по голенищам таких же ободранных кирзовых сапог. На берег побежала Дудочка, грозя всему бушующему морю:

— Чего расшипелось? И через тебя посуху пройду до Иванцова!

На жену Максимилиан Михайлович боялся и глянуть. А она вдруг тяжело и огрузло прильнула к нему:

— Ой, Максимо, ко дну бы мне головой вместе с Дудочкой!

Он ничего не успел ответить: Дудочка подходила явно с последним прощанием. В шинели нараспашку, в гимнастерке с орденами — в полном походном. Была, как никогда, трезва и серьезна.

— Лодку-то, бригадирша, дашь? Ординарец отвезет, ординарец и привезет.

— Да оставь ты Павлушу-то, оставь, дьяволица! — затопала ногами Айно.

Но Павлуша Лесьев уже снаряжал самую большую лодку, с мотором. Мало мотора, так и парус косой развернул. Туда, на вздыбившиеся волны, и прыгнула Дудочка. Лодку так и швырнуло в море. Бесполезно было говорить о непогоде, но Айно вслед рванулась:

— Павлуша, ты смотри там у меня... ты, милый, посма-атривай!

Павлуша что-то прокричал в ответ, но голос унесло в море. Пронеси в такую погодушку и друга, и недруга!

Максимилиан Михайлович тронул жену за руку, но она озлобленно отмахнулась:

— Отвяжись хоть ты-то!..

Что было делать? И сын, на беду, выскочил, с ревом прямиком к мамке. Но берег ревел еще пуще, и мамка уходить не хотела. Максимилиан Михайлович силой оторвал Кузю от ее намокшего подола и унес к печке. Пропади они все пропадом!

Как оказалось, и запропали...

Весть о страшной, бессмысленной гибели Дудочки и Павлуши Лесьева пришла только на пятый день, да и то к вечеру, когда прибило, наконец, к мяксинскому берегу обломки лодки, командирскую фуражку и военную санитарную сумку. По сумке-то и догадались: одна она такая была, наверно, на все забережье. Командирских фуражек, даже с боевыми неснятыми звездами, трепалось на ветрах еще немало; лодки попадались и того чаще, и чаще разбитые, — бушевало не устоявшееся в берегах Рыбинское море, гоняло дурные волны без всяких морских правил, а люди прибрежные все по прежней Шексне мерили, море не признавали. Не будь этой зеленой, с несмываемым красным крестом сумки, может, позже пришла бы служебная черная лодка. Мало что ни за грош пропали люди, так сейчас же и подозрение: к-как так, па-ачему отпустили?! И связались эти казенные вопросы уже не с ветром, не с морем — с еще раньше запропавшим Иванцовым. Ни больше ни меньше! Дудочка — потому что жена как-никак, подруга походная, Павел Лесьев — потому что какой-то забережный ватажник и преемник предводителя ватаги, смутьяна Иванцова. Вот и выходит: власть законную заватажили, в сторону самозванцы отпихнули. А власть на этом берегу — она, Айно, по всем бумагам законная бригадирша, другой, высшей властью узаконенная. Айно от всего этого онемела и закаменела, как серый причальный валун на берегу. А ее под неутихающим дождиком спрашивали: к-как так, па-ачему?!

Приехали трое, на моторе. Двое в милицейской форме и с ними неизменный Титов в хромовых начищенных сапогах и в защитном, туго застегнутом полувоенном кителе. Милицейские вели себя мирно и покладисто — ну, утонули люди, ну, надо составить протокол, — а Титов все до каких-то тайных причин докапывался. Вот вынь да положь ему — почему Лесьев да Дудочка, Иванцов да сама бригадирша соединились в одну такую компанию?.. А какую — Титов, верно, и не знал. А знать ему хотелось, очень хотелось, и он вроде бы кому-то и что-то уже наобещал. Но что — опять же толком не понимал. И потому вопросы валились на бедную Айно — как град дурной, осенний:

— Па-ачему без спросу?.. Па-ачему лодки без охраны?.. Ка-акое право имел Лесьев?.. Кто-о-о па-азволил распоряжаться государственной лодкой?..

Титов картинно, и явно в подражание кому-то, растягивал слова, думая, видно, что так будет пострашнее. Не только сапоги — и рожа его откормленная блестела от удовольствия.

Серый, промокший насквозь причальный валун молчал. Молчала, ничего, как этот камень, не понимая, и Айно.

— Дудочкина — па-ачему Дудочкой прозывалась?! Она — кто?! Она самовольно работу бросила?!

Извечный здешний камень этого не знал; прежний капитан и прежний учитель Всеборский не знал; хмуро обступившие рыбари тоже ничего такого не знавали. Что могла отвечать в камень обратившаяся бригадирша?

— Ты не первый год в бригадирах — ты сама-то имела право отдавать единственную моторную лодку?.. Казенное это имущество или не казенное?! Глупость или саботаж?!

Под порывом этого словесного града Максимилиан Михайлович непроизвольно вскинул руки, как бы защищая бедную голову Айно:

— Послушай, ты, Титов!..

Титов не хотел слушать. На этом и скрутило Максимилиана Михайловича, пригнуло к хромовым сапогам, невозмутимо попиравшим берег. Титов даже не переступил, будто вкопанный на два столба. Максимилиан Михайлович сделал уже забывшееся было давнее движение — рукой по несуществующей портупее цапнул, холодную рукоятку своего безотказного пистолета искал... но рука ощутила лишь липкий, противный жар. Грудь зашлась таким запаленным кашлем, что даже серый камень что-то почувствовал, шевельнулся. Камень — но не Титов, который не знал, да и знать не мог этого последнего, смертного движения, когда не голова уже — руки решают все. Не найдя ничего в пустых липких пальцах, Максимилиан Михайлович разогнулся от этого унизительного поклона... и сгреб сосунка Титова за ворот чужого, невыношенного кителя:

— Послушай, ты, опричник усатый?!

Трудно сказать, что бы из всего этого вышло, — угрюмая, ничего не боявшаяся иванцовская ватага уже подступила к ним вплотную, — но вдруг неизвестно откуда явившийся Пыхто надвое расколол своим голосочком установившуюся тишину:

— Кто такие?! Почему нарушаете закон? Именем Лаврентия Павловича я арестую вас! Товарищи милиционеры, взять лодку под стражу! — с яростной силой дернул он за рукав пожилого, посмеивающегося милиционера. — Вот мой мандат, — выхватил он из-за отворота брезентухи красную, сверкнувшую гербовым золотом книжицу. — Кто глушил стерлядь, бездельники?! Идите за мной, товарищ милиционер, — сказал он пожилому таким тоном, что ослушаться было невозможно.

И надо же, всего повидавший премудрый милиционер пошел вслед за Пыхто и начал выкидывать из своей же лодки еще бившую хвостом, костяно посверкивающую стерлядочку, а ему на помощь и молодой с готовностью поспешил, и они в одну минуту сделали смешное дело — себя же ограбили. И премудрый страж порядка гаркнул:

— Будет исполнено. Сами найдем нарушителя. Титов! — позвал он. — Помогайте искать браконьера, пока...

Обалдело стоявший все это время Титов не нашел ничего лучше, как спросить, постукивая зубами, Максимилиана Михайловича:

— К-кто, к-то это?..

Максимилиан Михайлович разжал посиневший кулак и толкнул Титова к лодке:

— Не слышал? Уполномоченный... самого Лаврентия Павловича! Вашего брата, видать, проверяет.

Вслед за сумасшедшим Пыхто выпалил он эту ахинею, но, видимо, ахинеи имеют большую силу... У Титова всякая невозмутимость пропала, тем более что с лодки махала ему руками взбудораженная милиция. Уже не мелкой шекснинской стерлядочкой — волжским осетром метнулся он к лодке, чуть не подмяв ее. Суматошно рявкнул мотор, и лодка, обдав всех гарью, косым креном ушла на просторы моря, прежде чем отчихались на причале.

— Ли-хо! — проводил лодку глазами Максимилиан Михайлович. — Чем вы их так напугали, Пыхто?

Пыхто сидел на причальном камне, тоже потирал грудь и заходился каким-то горьким смехом:

— Дипломом, увы, всего лишь красным дипломом... Дураки, они ведь красного боятся.

— Да уж так, — согласился Максимилиан Михайлович. — Даже стерлядки нам наловили. Не будем из-за нее ругаться сегодня?..

— Я уж и не знаю... — потер опять под брезентухой грудь посеревший, как камень, Пыхто. — Жарьте, пейте... Чего уж, помянуть утопленников...

Айно вдруг откликнулась на эти человеческие слова:

— Надо помянуть.

Она подошла к куче еще дергавшей хвостами стерляди и вытащила из кармана самодельный складной нож.

— Аня, может, я?.. — подошел Максимилиан Михайлович.

Она не отвечала, привычно и бездумно вспарывала рыбу, едва ли сознавая, что у нее в руках.

— Аня? Аня? — твердил Максимилиан Михайлович, помогая ей своим ножом.

Он хотел добавить: «Что же это с тобой творится?» — но добавлять не стал. Со всеми что-то творилось, со всеми... Он тем вдруг и успокоился: все ведь ошарашены и по сердце вспороты, как эти стерлядки!

Максимилиан Михайлович сидел у костра и правил, по старшинству, какой-то дикий поминальный обряд, какую-то дикую и торжественную, горькую воинскую тризну. Чаша ходила по кругу, песня над костром плескалась, старое солдатское сказание каким-то вихрем вокруг кострища взметнулось. Загорелись в злости глаза, засверкали слезой. Чаша — пусть чаша, но никто не забывал, что это каска солдатская. Каска ходила по кругу, полным-полна слезы горючей...

Максимилиан Михайлович на коленках, как бы молясь, стоял между Айно и Пыхто и пускал каску по жаркому горькому кругу. Какое-то время этим недетским занятием позабавлялся и Кузя, расхаживая с каской, но потом сморился, прикорнул между коленей. Максимилиан Михайлович шелохнуться теперь боялся — приходилось тянуться через хлипкие руки заповедного Пыхто, через мертвые руки Айно, чтоб передать дальше горячую каску. Пыхто жил и не жил — ну, ладно: укричался, уработался. Что же Айно-то?.. Ее возле этого жаркого костра будто и не существовало. Ни разу не прикоснулись к поминальной чаше ее руки, ее губы. Сжала зубы, пальцы до посинения сцепила и серым холодным камнем торчала возле огнища. Огонь стрелял искрами на всю артель, кидали туда целые медвежьи коряжины, но и они не согревали лицо Айно. Пронеся в очередной раз накалившуюся каску, Максимилиан Михайлович толкнул жену локтем:

— Аня, что же ты?..

Она только улыбалась такими же холодными, как и руки, глазами. Не женская улыбка, не здешняя... Пребывала Айно в каком-то своем, заледенелом мире, плыла под жарким огнем на своей одинокой льдине — может, по просторам родного Ладожского моря, а может, и моря здешнего, близкого... Не поймать ее блуждающую, застекленевшую улыбку — ледышом окатым ускользала.

— Аня, помянуть бы надо?..

Он не ожидал ответа, но Айно разжала губы:

— Память во мне самой.

Максимилиан Михайлович озадаченно присмотрелся. Ничего больше не добавила Айно, но что-то больно кольнуло его в простреленную грудь — какая новая пуля, четвертая, что ли, по счету?.. Она, она пробила насквозь и чокнула о край фронтовой каски. Айно держала чашу-каску осторожными руками, словно все еще не решалась испить что-то кровное, последнее... А как припала губами — и не оторвать, будто в смертном поцелуе, так и зашлась-захлебнулась.

— Аня? Аня?

Он силой оторвал горячую чашу от ее враз раскалившихся губ. Скрытая память в нем опять возмутилась — пустил чашу в обратную сторону, к Пыхто.

Брезентовый дед, затормозив чашу, задумался на минуту, а потом будто древними шекснинскими костями загремел:

— Выходит, должны явиться мертвые, чтобы живые жить научились... Еще вчера вы меня толом рвали... рвали, рвали! — яростно отмахнул ручошкой. — А сегодня — чаша круговая!.. Я кто вам — дед Пыхто? — тоненько, грустно подхихикнул сам себе. — А мне ведь и сорока нету. Нету, милостивые государи мои! — взъерошенно, гордо вскинул из капюшона игрушечную головку. — В другое время да при других обстоятельствах, я с кафедры гремел... я, биолог, изгнанный за крамолу, то бишь за любовь ко всему сущему... А теперь вот греюсь с вами у костра, милостивые государи! — остро, насмешливо глянул на притихших рыбарей из-под очков. — Все, что у меня осталось, спасибо товарищу Сталину... А ведь дом родовой, петербургский, был, кафедра университетская, жена была, наконец... Прокляла меня, отреклась во имя «отца родного»... Все суета сует и томление духа, выходит...

Ах, лагерник бывший, бунтарь и смутьян, сволочной букашник-таракашник! Вытолкали из круга, полетел плевком солдатским заповедный Пыхто в мокрый плавник...

— Сталин, вишь, ему неповадил! Да мы за него грудью, да мы на доты нараспашку ходили, шкура!

Максимилиан Михайлович посчитал за лучшее не вступаться — скорее забудется. Он слишком хорошо знал нрав этого окопного люда: ярости хватает на пять минут — ровно на столько, чтобы добежать до чужого, ненавистного окопа... а там можно и помиловать, и кашей из собственного котелка накормить...

Но он совсем не знал нрава Пыхто. Тот отлежался в мокром плавнике, отпыхтелся и опять вылез на круг. Будто ничего и не бывало — загремел насмешливо:

— Спасибо вам, я греюсь у костра! Чем морду мне бить, подумайте-ка лучше: что нас всех свело на этом диком берегу? Все что угодно, только не вражда. Нет, мои господа хорошие! Во вражде мы погибнем, пожрем друг друга. Я не воевал, какой из меня вояка!.. — презрительно от самого себя отмахнулся. — А вы?! — жестом указующим обвел костер. — Вы Отечество защищали, мир на земле устанавливали. Зачем же эта послевоенная война? Ладно — против людей, таковские... Но ведь и против лося! Против царского лебедя! Против всего сущего! — взмахнул он свалившимися с носа очешками. — Нет, вначале было добро, потом уж зло; вначале живое, потом мертвое. Не наоборот же! А вы — вы из мертвого хотите сотворить живое. Нет, расхорошие вы мои! Воевали, друзей хоронили, а ничего не понимаете, — не чувствуя вновь закипавшего ропота, слал он оплеухи фронтовикам. — Для того ли прошли всю Европу, чтоб собственный берег вытаптывать? Как варвары, как дикое татарье! Сколько можно, сколько? В Переборах топчут, в Череповце бульдозерами давят, в Москве и Питере кавказскими сапожками по профессорским лбам... а вы здесь честными солдатскими сапогами! Не нами сказано: не убий... Что, что это? — вскинулся он, пороховым громом сбитый с толку.

Все знали — что. Обычный ночной выстрел, сильным, смертельным дуплетом. А Пыхто все еще потерянно озирал береговую темноту, где замирал громобой. Зато и вскинулся быстрее других — прямо в упавший гром. Ну, сумасшедший, не иначе! Стрелять по такой темноте могли только лося, в упор, а на лосей под закон ходили не мальчики — мужи звероголовые...

Когда следом за ним, на звук его летящих шагов, поспешили остальные, застали комичную, если со стороны смотреть, картину: при свете брошенного на землю фонарика маленький, слабосильный Пыхто боролся с ружьем, а по ружью и по сцепленным на стволине ручошкам бил кулаком небритый верзила, а другой, с рыбацким тесаком, стоял, раздумывая: то ли лося потрошить... то ли этого неистового брезентового человечка? Недолго бы им смеяться, если бы в круг рыбари не взяли, мертвой хваткой. Максимилиан Михайлович, с яростью вспоминая военный опыт, вышиб из бездумной руки тесак и, как бывало, приказал:

— Хеиде хох! Вязать обоих.

Повторять было не нужно. Бывшие фронтовики с каким-то лихим удовольствием исполнили полузабытый приказ и поволокли непрошеных гостей к костру, удивляясь:

— Чего ж они нахально-то! Не видели нашего огня? Ора не слышали?

В том-то и дело, что и видели, и слышали. По одежде и по угрюмой обреченности было ясно: заключенные. Сам бог велел поживиться возле расщумевшихся, все побросавших в лодках рыбарей. И лосиный стожок, накошенный все тем же Пыхто, еще в сумеречном свете высмотрели, и засидку хорошую сделали, и ружье из лодки стащили, все, казалось бы, предусмотрели, чтоб еще и мясом на дорогу запастись, да и одежкой вольной заодно, и по морю галопом, без всяких следов, пуститься... Как хорошо они все размыслили! Не было секретом, что вдоль по заповедному берегу, а чаще всего по воде и пролегала тайная лагерная дороженька — след собакам не взять, зверья и птицы навалом, а

глупая лодка всегда найдется. Спеши, человек, беги хоть до самой Волги! Если, конечно, на перешейке у Переборов не остановят...

Не повезло. Остановили гораздо раньше. Руки скрутили и к костру бросили. А этот махонький брезентовый человечек, утирая кровь, еще и лягал их сапожком, приговаривая:

— Лося, лося им захотелось... ах, варвары, ах, печенеги!

Максимилиан Михайлович теперь уже посмеивался.

— Ну, что же ты, Пыхто? Где твоя хваленая доброта? Ведь это не уголовники... — Он тоже вытер замазанные звериной кровью руки и протянул тесак: — На, режь веревки! Пускай своих печенегов по ветру...

У костра печенеги предстали интеллигентиками-доходягами; только в лесу, при свете катавшегося под ногами фонарика, и могли показаться страшными. Понятно, почему тщедушный Пыхто, налетевший как вихрь ночной, смог их удержать. Какие уж там уголовники, если при ружье и тесаке руку поднять не могли...

— Валяй, Пыхто, пускай! — с довольным видом посмеивался Максимилиан Михайлович.

Пыхто некоторое время с тупым непониманием, задыхаясь, держал вытертый о траву тесак, а потом, как бы проснувшись, одному и другому отхватил веревки:

— Бегите, пока бежится...

И уж рванули совершенно обалдевшие доходяги, и уж затрещали сучья под их слепыми, воскресшими ногами!

— Да-а... — покачал головой Максимилиан Михайлович. — Жди новых неприятностей... Ах, доброта твоя, доброта!

Ждать долго не пришлось. С череповецкой стороны послышались лай, нарастающий гул, голоса. А вскоре и погоня выскочила к костру. Вопросы и дуплетом, и в одиночку:

— Сколько? Где? Куда побежали? Давно?

Оттиснув в темноту засвирепевшего опять Пыхто, Максимилиан Михайлович на все сразу ответил:

— Были... два часа назад. Двое. Лодку утащили, теперь уж не догнать! — махнул безнадежно рукой в сторону моря.

Но погоня, сверля темноту фонариками и собачьим лаем, все-таки рванулась вниз по берегу.

— Добро-о... о-ох, мать твою, добро! — саданул Максимилиан Михайлович сапогом головешку. — Расходитесь от греха подальше. Спать. Не видели, не слышали! Особенно вы... друг Лаврентия Павловича! — шуганул он взглядом все еще кипевшего Пыхто. — С этими в дурачка не сыграешь!

Костер мигом раскидали и как-то незаметно разбежались. В наступившей темноте он не без труда нашел Айно, сидевшую все в той же неприкаянной позе, и схватил за руку:

— Пойдем и мы, печальница моя...

Айно покорно встала и пошла за ним. Максимилиан Михайлович ни о чем не спрашивал, она ничего не говорила. Только когда за темным мысом поднялся истошный визг и когда Максимилиан Михайлович непроизвольно замедлил шаг, она осмысленно и понятливо, чувствовалось, посмотрела в ту же сторону и сказала:

— Ничего, Максимо, ты тоже добрый, ты поймешь, ты простишь... Сын у нас будет, Максимо... да, еще сынок, наверно.

Вот уж чего он испугался — не дальнего же затихающего крика,— своей всепрощающей покорности. Только и ответил:

— Сынок, говоришь? Еще один? Кузе в товарищи? Вот радость-то!

Как ни странно, злости он и в самом деле не испытывал — он давно это знал. В самом деле, почему бы и не быть еще одному сыну? Да хоть и дочке? Айно нет и тридцати, Айно баба хоть куда!

Он недоговаривал только—чей объявился сын...

В недалеком урочище замирал сдавленный, больной крик. Замирала и его больная, кричащая душа. Спать просилась. Просто спать. Чего же больше?

Перевод рыбацкой бригады на левый берег был предрешен. Хватит, сказали районные власти, нам забережной вольницы. Этак они сегодня, не дай бог, пароход из рогаток расстреляют, а завтра и сами на дно ухнут! Вместе с бесхозным островом, безглавой церковью и безмозглым ее хозяином! То есть смотрителем маяка, то есть все с тем же Максимилианом Михайловичем Всеборским. Довольно, говорили, самостийных полковников, звонарей и плакальщиков, безответственных дураков и беглых зэков... Всего довольнешенько, на целую область, не только что на район! Что верно, то верно: каждый бегущий с севера на юг ищет хлеба насущного и крыши над головой и каждый пялит глаза на рыбные склады — из-за осенних штормов их долго не разгружали, не могли подойти катера. А рыба, как ни странно, ловилась в затишных, чертоломных тонях. Складывалась до лучшей погоды. Вот и пришлось уж в последний набег отстреливаться — не из рогаток и не из музейных пушек, конечно, а из охотничьих дробовиков; замки у склада трещали, словно под оголодавшими зубами. И хуже всего — беглецам удалось прихватить дневной улов, в надежде на холодную ночь оставленный прямо в лодках, отомкнуть единственный мотор и сплыть на нем по течению. Не имело значения, что поймали похитителей, но волюшку забережную топором отрубили. Вместе с якорными канатами, оставшимися лодками, сетями, причалами, складами... вместе с Айно и ее рыбацкой вольницей.

— На тот берег, на наш! — велел насмерть перепуганный рыбацкий начальник.

Выходило, что этот берег — уже и не наш, и не ваш...

— Аня?.. — не стал задерживаться у порушенного причала Максимилиан Михайлович, только посмотрел ей в тихие глаза.

Вопрос и ответ — все вместе. Айно сама рубила засмурыженные, давно не развязывавшиеся чалки поломанных лодок. Все увозили, все тащили за собой, даже ломье. Дабы показать, как дорожат государственным имуществом. Дабы оправдаться за новенький, единственный-разъединственный моторный баркас, уведенный ночными гостями и сожженный где-то под Переборами вместе с голубым, необтертым мотором. Все уносили теперь на лодки: весы, ведомости, тюфяки, парусину, рваные резиновые сапоги, прошлогодней гнили сети — позапрошлогодний снег, который подсыпал им вслед.

За руку утаскивали с острова и Кузю, который на прощанье стал таким взрослым, что пообещал:

— Я-то вернусь, пап! Я-то р-раз — и в карбас, и на твоем берегу!

— А мамка?.. — грустно посмеялся Максимилиан Михайлович.

— На мамкином, где же еще, — вразумил его пятивершковый Кузьма.

Вот и вышло: мамка на мамкином берегу, а папка на папкином...

Неделя прошла уже, прощальный снежок рассеялся, сыростью изошел, а Максимилиан Михайлович все ходил по берегу и смотрел на обрубки канатов, которые болтались на ветру измочаленными хвостами. С отъездом рыбаков вдруг оказалось, что и остров-то — не остров, а грязная наносная лепеха. Всегда так под осень — наносило с моря всякого сору, но никогда этот сор таким противным не казался... Какие-то доски, бревна, консервные банки, мазутные концы, портянки, ошметки тюфяков, заваль разная... Как отстойная лужа, как насмешка над одиночеством! Максимилиан Михайлович пробовал отпихивать багром это добро, но никаких сил не хватало. Течения не было, ветры дули с моря.

Не умом, а сердцем хотел понять Максимилиан Михайлович теперешнюю свою жизнь. Собственно, она теперь ничем не отличалась от

жизни Пыхто. Тоже в ссылке, тоже на другом берегу жизни... Какая разница — широко ли море разделяющее! Что с того, что канул в море незабвенный Павлуша Лесьев... Кануть-то канул, а не утонул. О том говорил и прощальный, покорный взгляд Айно. Не только начальник — какой-то молчальник пролез в ее душу. С жалостью и облегчением восприняла она переезд на левый берег, а вот ему, оставшемуся на правом берегу, облегчения не было. Да и не мог он найти его — в конце концов, не Федор мокромозглый, нет, не Самусеюшко!

Оказывается, не зря все эти дни думал о Самусееве. Явился не запылился, мокренький от души до сапог кирзовых...

Он давненько здесь не бывал. Пенсию по доверенности Айно с того берега привозила, а больше чего? Нечего было делать Самусееву на том берегу.

— А все же надо, — без обиняков поторопил он.

— Мало что надо! У меня вон, Федор, жена на том берегу...

— Жена! Как певал Иванцов: «Наши жены — пушки заряжены...» Что, забрали пушечку?

— Чего ей станется? Лежит поросюха. Когда Иванцова тащили к лодке, не до пушек было — вся его команда грозой на берегу стояла.

— Гроза! С богатым не судись, с сильным не борись, ведь верно?

— Эх, Федор, Федор, — и его, и себя заодно укорил Максимилиан Михайлович. — Разве такими мы с войны возвращались?..

Самусеев, видимо, не хотел этого вспоминать, зачертыхался. Да и сам Максимилиан Михайлович не рад был, что вспомнилось. Боже окопный, что от них от всех осталось?! Трусы несчастные — турусы на колесах только и разводить...

Но Самусеева-то он напрасно в трусости упрекал: тот уже шел к лодке, позыркивая глазами на море.

— Федор! Не пущу. Хватит Павлуши и Дудочки...

— Пустишь, Максим. Ведь пустишь? — хищно прыгнул в лодку Самусеев.

Максимилиан Михайлович видел, что его не удержать.

— Ладно, тонуть — так вместе, — как бывало в былые годы, мигом решил он. — Хоромы только запру.

Хоромы можно запирать, а можно и настежь — забережные люди не позарятся, а беглой вольнице замки нипочем, — но он все-таки сходил к себе, повернул пудовый нутряной ключ и сунул его в расщелину стены, где всегда оставлял, где и Айно ключи оставляла... Не мог изменить привычке. И какой-то надежде: вдруг рыбаки причалят, да, вдруг?..

Значит, скорей, скорее в лодку!

Море, на счастье, было спокойное. Лодочка оставалась у него небольшая, казенная — принадлежность никому сейчас не нужного маяка. Навигация, правда, еще не закончилась, но за все время они видели на горизонте лишь один дымок — катер тянул запоздавшие баржи в запани Череповца. Все остальные суда, пароходы, пароходики и даже буксиры уже поприставали к зимним печкам, в череповецких и рыбинских затонах. Не однажды уже снежок прошибал, ледком прихватывало травяные, лягушечьи мелководья. Нынешнее тепло — возвратное, явно последнее. Какое уж море в октябре?

Но зря он бурчал: море было как море. Солнце светило вовсю, маленько и пригревало в полном безветрии. За веслами Максимилиан Михайлович быстро вспотел — снял дождевик, а потом и фуфайку.

— Ты это брось, — стыдливо пожалел Самусеев, — ты оденься. Както никак и у меня рука...

Парус ставить было бесполезно: тишь. Лодка хоть и небольшая, а четырехвесельная, — на двухвесельной никто в море не выходил, — и

они уселись на разных скамейках, как бы в четыре руки принимаясь за весла.

Самусеев свой бок воротил и одной рукой.

— И ты это брось, вишь, задыхаюсь, — попросил Максимилиан Михайлович, хотя дышал еще ничего, сносно. Пожалел в свою очередь Самусеева.

Федор не заметил поблажки, потише потащил правый борт, ну и Максимилиан Михайлович — соответственно свой, левый. Лодка шла хорошо и в два неполных весла. Разбалованный извозчиками-рыбаками, Максимилиан Михайлович давно не выходил в одиночку, да и какой гребец? Так, дохлая пехота! Посмеиваясь, поглядывал на тот, «Айнин», берег и, как и море, был ничего, спокоен. В конце концов, из-за чего переполох? Бабы их ждали четыре года, а тут всего-то неделя-другая. Ну, не на этой неделе, так на следующей приплыла бы Айно, погостила сколько время позволяло. Тоже не пустые прогулки: даешь план, даешь рыбу! А ни плана, ни рыбы они в прошлом месяце не дали, вдобавок людей потопили и две лодки моторные потеряли... Все одно к одному, все Айно на плечи. «Держись, Аня, держись, милая»,— уговаривал он ее под взмах своего весла, не замечая, что нажимает все сильнее и сильнее.

— Поостынь, Максим, — попросил теперь уже Самусеев, — ты меня в Череповец сворачиваешь.

И в самом деле, невидимая за спиной Мякса совсем на левую руку вывернулась, а дымки Череповца, наоборот, ушли за спину. Пришлось потрафить Федору, чтоб выровняться.

— Ты не лутошись, — понял Федор его нетерпение. — Жена, она никуда не денется.

— И в самом деле! — рассмеялся Максимилиан Михайлович. — Вроде ветерок задувает? Поставим парус да покурим.

Ихний парус штука плевая, к серединной стойке привязан на веревке косой кус брезента — вот и вся оснастка. Дерни за веревку, распусти по ветру парусину, потом доверни под напор ветра, а саму веревку хошь — держи, хошь — за скамейку привязывай. Лучше, конечно, привязать, спокойнее.

Так они курили и помаленьку подвигались к Мяксе. Теперь если кто и проявлял нетерпение, так это Самусеев. Но опять же напрасно: собес не закроется, успеют, а чайная — и подавно, и потемну светится... У фронтовиков святой день, известно.

Пенсионная доверенность, как и получка, была у Максимилиана Михайловича написана на Айно, однако не это развело его на берегу с Самусеевым — то же нетерпение, в котором и Самусеева упрекал. Свое, конечно, семейное...

Федор лосиными прыжками ускакал вверх по берегу, а ему нужно было рыбаков искать.

Рыбацкое пристанище сыскалось тут же, в устье речонки, разжиревшей от даровой подпорной воды; от нее шло и название села. И уже не ручейная Мякса — река, настоящая река с подтопленными берегами. В устье загоняли даже катера и лодки. Там и полузатонувшая баржа сыскалась, которую отдали рыбакам. Время дневное еще, а они толпились на берегу, в воду поплевывали. Гогот, известно.

— Ба, грозен-муж!

— Маяк наш негасимый!

Муж ли, маяк ли — все равно, чего языки чесать? Максимилиан Михайлович прошел мимо, навстречу сбегавшему с горы сыну.

— Кузя! Кузьма! — ловил его на лету, но все не мог поймать — так расшалился вроде бы и подросший за неделю сынище.

Наконец они все-таки сошлись и сплелись руками, прежде чем двинуться дальше. Куда? Максимилиан Михайлович думал — на баржу, но Кузя потащил вверх по тропинке. Они оказались в нагорной Мяксе, возле больницы. Здесь было самое высокое место: отсюда и море, и забережная церковь — как на ладони.

— Кузьма, ты смотришь... на дом-то свой? — ревниво спросил у рвущегося все выше сына.

— Тут он, чего смотреть, — не понял его Кузя, подтаскивая за руку к двукрылечному деревянному дому, из которого на их голоса вышла и Айно.

— Здравствуй, Аня, — скрывая нетерпение, сдержанно поздоровался Максимилиан Михайлович.

— Здравствуй, Максим, — как-то отчужденно откликнулась она.

Максимилиан Михайлович этого не заметил — не хотел замечать...

— Как вы тут поживаете? — спрашивал, как и все спрашивают, возвращаясь с отлучки.

— Да ничего, Максим, живем, — и она отвечала, как все отвечают, сути своей жизни не выдавая.

Максимилиан Михайлович огляделся: устроилась Айно неплохо, можно сказать, даже хорошо. Большой чиновный дом, помнивший еще какого-то дореволюционного управляющего, был разделен на просторные клетушки-квартирки. Неизвестно, как у других, но здесь, в угловой комнате на два окна, была кухонька-прихожая, с плитой и обогревательным щитком; дощатая переборка с дверью-занавеской отделяла ее от остальной части. А там такой же переборкой была и спаленка выделена. Больно кольнуло взгляд: узкая, какая-то девичья кроватка с тумбочкой у изголовья... Голубенькая занавеска была маловата, не скрывала. Видно, ситчик экономили — им же и постель сверху застлана. Что-то девственно-неприкосновенное силилась прикрыть занавеска — как в давних студенческих общежитиях. Казенная складная кровать, казенная тумбочка и половичок у ног — обрезок какой-то списанной красной дорожки. Он туда смотрел, только туда, не замечая, что все еще стоит посреди крохотного зальчика. Странно, что не присел с дороги, странно, что и Айно сразу не усадила, шепнув: «Максимо?..» Нет, она назвала его чужим, выдуманным именем:

— Максим, ты, поди, проголодался?

— Да, да, — ухватился он за домашний отзвук и заметил, наконец, стул — один из двух канцелярских недоделков.

Кутаясь в длинную шаль, Айно ушла на кухню, а у него мысли опять болезненно закружились: почему два, только два?.. На второй стул, заранее облизываясь, вспрыгнул Кузя. Он тоже ничего не говорил, по-мужски присматриваясь к отцу. А ведь две недели только, кажется, и прошло?..

— Кузьма, как ты тут растешь? — опять как-то по-чужому спросил.

— Ничего, расту, — и Кузя, посапывая, не нашел других слов.

Стол был круглый, и мысль вокруг него кружилась... мимо сына, мимо... Сын как бы ускользал от взгляда отца, хотя был тут же, на другой стороне окружности, нетерпеливо елозил локтями по скатерке — домашней камчатой скатерти, вытканной бог знает когда, но все еще кормившей людей. И эта забережная ветхая память вдруг жарко вернула ему все прежнее...

— Аня? — потянулся он руками к входившей жене. — Скатерть-то?..

— Не нашлось пока другой, — отвела она его руки, ставя на дощечку алюминиевую кастрюлю.

Он так и понял: немудрено обжечься! Из кастрюли валил пар, пахло аппетитным пшенным концентратом.

— Может, рюмочку примешь? — гремя кухонной табуреткой, спросила Айно о том, о чем мужа и не спрашивают.

— Если нальешь, — ответил он, что можно было и не отвечать.

Она принесла служебного вида графинчик, какой ставят обычно в президиумах, и церемонно водрузила в центре стола. И рядом стакан, чистый, граненый, — хоть речь под него хлещи!

— А себе-то? — пришлось напомнить.

— Нельзя мне, Максим.

— Нельзя? С каких таких пор?

— Сам знаешь с каких...

Он помолчал, осмысливая такую, понятную им обоим, откровенность.

Выпил в одиночку. Рыбки бы хоть какой на закуску? Не было рыбки, даже поганого хвостика. Вот рыбаки! Пришлось закусывать горячей пшенной кашей. Что говорить, каша была хороша — то-то Кузя облизывался и то-то ворочал ложкой! Позабыл, начисто позабыл Максимилиан Михайлович, с каким трудом эту пшенку, спрессованную в солоноватые, аппетитные пачки, достают, с каким добрым жаром едят за столом... Могло быть, что и пачка-то последняя — все могло быть. Вот как Кузя наворачивал! Видно, не каждый день на столе. Чего же у отца одно на уме: все-таки рыбки-то можно бы, хоть солененькой, хоть вяленькой?..

— Все еще план не вытащили, — то ли извиняясь, то ли отбиваясь от его невысказанной настойчивости, потупилась Айно.

— Да, план, везде план, — поддакнул жене.

— Вся старая бригада разбежалась, босякуют на берегу. С кем рыбалить? Из колхозов больше не отпускают, в Мяксе людей нет, а Череповец сам всех переманивает. Вот и крутись тут!

— Да, с Череповцом не поспоришь. У тебя зарплата не та...

— Не та, прибавилась, — чуть улыбнулась Айно. — Теперь уж не бригада — цех рыболовецкий...

— ...и ты начальница, — понял Максимилиан Михайлович, откуда вся эта казенная мебелишка.

— Вроде того... начальство без людей... Все заново собираем. Череповцу теперь подчиняемся, напрямую стройке. А в Мяксе лишь квартируем.

— Да, вроде того, все теперь квартиранты...

И не вставая из-за стола он видел, как раздобревшая Айно убирает посуду, как приносит из кухни лавку и стелет Кузе постель, как захаживает несколько раз в спальню и стоит там, не решаясь что-то сказать, и как потом пристально оглядывается на него, словно бы уповая на его сообразительность...

А он сообразить ничего не мог, он только понимал, что в казенной этой квартирке вроде как чего-то недостает, вроде как ему-то, мужу, места и нет. Ну вот нет, да и все!

Оттаяв в тепле, он мог уже и пошутить:

— Аня, а мне под лавкой?..

— Да уж и не знаю... — всерьез восприняла его слова. — Кровать-то видишь какая, Максим?..

— Вижу, Аня, вижу, — собственноручно окатившись холодной водой, понял он, чего она так боится.

Айно еще походила, походила взад-вперед, кутаясь в шаль и как-то тяжело и осторожно переваливаясь с боку на бок. Он видел, все видел — чего обманывать себя?

— Знаешь что, Максим? — пришла она наконец к спасительной мысли. — Я матрас с кровати сниму и вам с Кузей на полу постелю?

— Ага, на полу, — с облегчением согласился он.

И даже помог вытащить этот проклятый матрасик из-под семейного одеяла, не интересуясь, что же себе Айно постелет. Им-то с Кузей стало ах как хорошо! Кузю он на руках, как пасхальное яичко, перекатил под бок, обнял и, слушая голый, железный скрип за опущенной занавеской, опять даже пошутил:

— Скрипишь, Аня? Хорошо ли?..

— Хорошо, Максим... уж лучше некуда... — под этот железный, надсадный скрип ответила.

Спал он уже, крепко спал, как самый счастливый отец под боком у самого счастливого сына. Только проснулся от жарких, безудержных

слез. Айно стояла у их убогой постели на коленях и, не соображая, слышит он или нет, шептала — как молилась:

— Я знаю, Максимо, ты-то простишь — но прощу ли я себя? Мне уж к тебе не вернуться. Павлуша утонул, но сын-то не утонет, не дам я ему затонуть, сам понимаешь. Десять лет мы с тобой прожили, самых лучших, а вспомни — что я видела? Только море, только брезентуху, только рыбу! Глупая карелка, пригретая тобой беженка, осчастливленная жена... Ома муа, где ты? Чортан войнуа, чортан жизнюа, чортан акку, чортан укку! Паха жизнь, паха... — заговорила она, как давно уже не говаривала, на родном, полузабытом языке. — Муамо повторяла: телегян ностыд — хебо сордуй, хебон ностыд — бембел сордуй... Туатто повторял: и хебо подохнет, и у сплетника хвост в зубах... Кехно кехиттав, кару куккутав. Питькя ило итукши. Паха, паха!..[1] Не могу, заплетается уж родной язык. Все растеряла, все позабыла! Ради чего тогда жить-то?.. — слышно, разогнулась в тяжком раздумье. — А жить надо, надо, Максимо. Надо почаще вспоминать... Было ведь счастье, Максимо... ах, сколько всего было!.. Да расплескалось, видно, уж все по волнам, не удержишь в рыбацкой лодочке. Может, поумнела. Может, слишком умна? Не знаю, не вернуться мне в твой церковный дом. Жить-то как — как быть? Себя жалко, сына... твоего сына... а жальчее всего — тебя...

Он погладил ее по мягким карельским волосам и по загрубевшим на ветру, но все еще ласковым, родным щекам и облегченно вздохнул:

— А-а, ты меня не жалей, Аня. Я ведь все-таки учитель, я все понимаю. Живи как живется. Я буду к вам приезжать — ведь можно?..

— Максимо, родной... конечно, можно!

— Вот видишь, как все хорошо, — обнял он ее, не ощутив стыда от округлившегося, под рукой уже заметного живота. — Никто тебя не попрекнет, Аня. Никто. Я этого не допущу. Понимаешь ли?..

Она совсем упала ему на грудь:

— Лайттожет келлот кувловат оллах![2] Максимо, родной...

— Ну и славно, что родной, ну и ладно, — не отстранялся он от ее вроде бы и чужого, а вроде бы и прежнего, стыдливо-женского, семейного живота. — Иди спать, Аня, не насилуй себя. Иди, моя глупая акку...

— Пойду, пойду, мой глупый укку, — с облегчением подхватила она их прежнее, карельское обращение. — Был бы бог, молилась бы на тебя...

Бог, видимо, все-таки был. Остаток ночи Максимилиан Михайлович проспал в спокойных объятиях сына. В растопырочку спал Кузя, широко — вроде как вдвое больше стал. И хорошо им было на полу, на убогонькой этой постельке. Сын дышал сном ангельским, ну и отец надышался всласть, в полное свое удовольствие.

Утром Айно чуть свет ушла на работу. Пятью минутами позже, проводив ее затихающие шаги и поцеловав на прощанье сына, он поднялся. Склонив голову, хотя дверь была и не низка, постоял в притворе. И пошел из дому.

Солнце едва прорезало туманные просторы Рыбинского моря. Отсюда, с самой высокой мяксинской горы, море казалось бесконечным. Даже не было видно забережной церкви, этого отшельнического дома. Ну и ладно, ну и слава забережному богу...

Оставалось пойти в чайную и в задней комнатке разбудить блаженно похрапывающего Самусеева. Военная привычка сказывалась все-таки — вскинулся при первом же прикосновении руки:

---

[1] Слова Айно следует так понимать: Родина, где ты? Чертова война, чертова жизнь, чертова жена, чертов муж! Плохая жизнь, плохая... Мать повторяла: телегу поднял — лошадь упала, лошадь поднял — телега упала... Отец повторял: и лошадь подохнет, и у сплетника хвост в зубах... Дьявол угощает, а черт подстрекает. Долгое веселье к слезам Плохо, плохо!..

[2] Дальние колокола громко звонят!

— Что? Где? Опохмелиться?

— Да я и не пил, — отмахнулся Максимилиан Михайлович. — Поехали на свой берег... зимогорить, лейтенант, зимогорить...

Самусеев едва ли понял горькую насмешку. Просто утер лицо ладонью, встряхнул кудлатой головой и, сунув в карман початую чекушку, вышел за ним через служебный вход. Кто-то сейчас же бесшумно закрыл дверь, но не удержался и, чувствовалось, с мягкой женской улыбкой сказал:

— Попутного ветра вам, зимогоры.

Ветер и в самом деле был попутный. Легкий, быстрый ветерок. Доплыли под парусом, без хлопот.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Поначалу их сильно смутило, что направляют в Минск, — с какой такой стати, чему там, на развалинах, учиться? Говорили раньше, в Ленинград; говорили еще увереннее, когда уже за документами всей ватагой шли, что в Москву, непременно в Москву, но вышло — с ветерком по столице, да и дальше! Никто из них в такую даль, наверно, и не забирался. Да и не вязалось это никак с житейскими планами: ну, Вологда, ну, еще какой попутный городишко, хоть и Ярославль, а зачем же запредельный, вроде бы уже и не российский — Минск?.. Будущие мастера роптали, шмыгая носами. Юрий Ряжин даже подумывал: не повернуть ли оглобли тут же, за околицей Череповца? Дымки родные вдруг сквозь окошко поманили, лик Фимушкин сквозь другое просиял. Прямо хоть беги к двери!

Нашлись и знатоки, явились и бывалые люди, которые утверждали: ахти, ребята, и города-то нет, да никогда и не будет, откуда ему быть? Разбит, разрушен и пеплом по ветру пущен. Репу да морковку на улицах сеют, а бульбу — прямо под плуг на главной площади. Гарью напоенная земля, жирная. Ихняя бульба так дуроломом и прет. Чего строить город на таких хороших огородах? И без того оголодал народ, пусть попитается от военной земли. Земля, она все обиды прощает, она людей кормит, а город... Для города железо, как в Череповце, или пусть уж золото, как в Сибири, потребно. Нельзя городу без чего такого, даже хоть и без паршивого серебришка! Нельзя, да и все. Раз уж порушен, так самое милое дело — пусть русская картоха, пусть белорусская бульбёха растет. Знамо дело, ребята! Картоху на кострах попечете, да и домой!

Ехал народ со всего света, на всех языках пророчил. Кто куда и кто откуда; кому где пришлось завербоваться. Какой-то несерьезный, лихой народец шатался по вагонам. Один будущий мастер, не выспавшись на прощанье, надоумился снять штаны, чтобы не помять, и развесил их на крючке, а как через час проснулся от дорожных толчков — ни штанов, ни носков в придачу. То-то смеялись, радуясь забаве! Но смех получался горький: штаны приходилось искать. Юрий запасливо ехал: двое вез; с каким-то безразличием вытряхнул свой мешок. Мысли у него взад-вперед метались, никак не могли улечься на полку. И ехал он по железке впервые и впервые же видел, как штаны на ходу уводят. И это еще не доезжая Москвы! Что-то дальше будет?..

Четыре дня, как по осеннему бездорожью тащились от Череповца к Минску, и все четыре дня то же самое: знамо дело, перепутала ваша канцелярия, не в мастера, а в ссылку везут! — само собой, в каждом деле, а в таком, как сборы-переборы, в особенности, наряду с лихими попутчиками находился и свой Нероба, уныло тер загривок и сулил погибель под дорожную балалаечку.

Маленько усидевшись и успокоившись, Юрий решил ни с кем не водиться. Хватит утащенных штанов, хватит и Фимушкиных подорожников, лихо выхваченных из рук каким-то проходящим дылдой — не успел Юрий с полки верхней слезть, как того и след простыл. Опять смеялись по углам, хрумкая жесткие дорожные сухари под холодный кипяточек. Но чего смешного? Все смешное, все веселое, все сладкое и горькое — уже за череповецкими дымками... Потеряв за этим бесполезным прыганьем верхнюю полку, не попав на среднюю, Юрий сжался в уголке на самой нижней, где народу — как шаитрапы на базаре. Да и был тут настоящий базар: и меняли, и крали, и покупали, и опять что-то на что-то обменивали — и на все голоса орали:

— Бор-перебор, кто в шестерочку?

— Бор-недобор... э-эх, рубаха неразмененная!

— Переберу-перегадаю, перескажу твою судьбу... Сударик мой, красавчик мой! За рупь с походцем?

В карты Юрий не играл, рубаху снимать не собирался, а судьбу свою и так знал: перетерпеть, переждать весь этот кавардак да поскорее мастером возвернуться. Хоть в уголочке, хоть на краешке скамейки — лишь бы доехать, а там... Дальше его мысль не шла, дальше он ничего не знал. В этом скопище людском таким сиротой себя почувствовал — хоть плачь.

В поезде он ехал впервые, но поезд сразу же невзлюбил: для бездельников придумали. Ведь, скажем, телега? В нее надо лошадь честь честью запрячь, надо всю дорогу вожжи в руках держать, да и покрепче, да и кнутиком парку нагонять в случае чего. А здесь пар из-под паровоза сам на дурницу, прямо на обе стороны, хлещет, здесь ни кнутика, ни вожжей. Полка вагонная, неизменный холодный кипяточек до Ярославля, от Ярославля до Москвы, от Москвы до Смоленска, от Смоленска до Орши... и еще до какого-то Борисова... и аж до самого Минска! Именно столько раз и стояли на бесконечных, как и сами разговоры, железнодорожных путях, именно столько и перепрягались-впрягались. Но каждый раз чужими руками, под чужие заоконные крики. В самую распутицу на конном дворе так не кричали, как в какой-то Орше. Не впрягалось или не распрягалось, что ли, у них? Устали, видно, колеса, устали люди, а всего смешнее — и кони дорожные, железные; дергали они, рвали удила, бесполезно пыхтели, трясли железнодорожные телеги так, что головы с полок сыпались и балалаечка криком срывалась: «У-убьют, заразы!» Что за кочки, что за канавы? Тряски-потряски, посадки-пересадки продолжались. Дорога шла вроде бы и до Минска, а вроде и не до Минска, а по железному лесу какому-то. То ли не туда они всей череповецкой гурьбой всякий раз попадали, то ли и сами поезда не туда ехали.

Поздно все же они, такие умные-разумные мастера, догадались, что билеты-то у них вроде как нищенские, прогоночные, с нахальнейшей казенной скидкой, от которой железнодорожникам и гроша медного не перепадало. Потому и совали их в местные разбитые поезда, которые тащились от полустанка к полустанку, по всем послевоенным колдобинам, а часто и застревали, как в Орше или в Борисове. Их гоняли из вагона в вагон, с одного поезда на другой и до того догоняли, что балалаечка прямо-таки взвыла: «Ребята, надо драть обратно!» А тут и соль кончилась, сухари погрызлись, а тут и кипяточку не добьешься, — сиди да сам вместо чайника кипятись. А зубы-то, зубы-то стучат по-волчьи, голодно и нетерпеливо, а колбасой, что кормят мастеров, и не пахнет. Знамо дело, ребята, околеешь на этих дорогах!

Никогда Юрий ничего не менял, да и менять нечего было, а тут пришлось. Дорожный мешок, как прыгали в Орше на поезд, прямо ветром с плеча срезало — снял Юрий рубаху, Фимушкина ясного шелка, и, булавкой поглубже застегнув пиджачок, вышел на станции. Думал, зазывать надо, думал, торговаться. А рубаху еще на ступеньках начали рвать из рук. И вырвали бы, не будь он уже научен горьким опытом. Крепко держал за оба рукава, полы только давал щупать. Но как ни держался за свою последнюю рубаху, через пять минут уже не было ее, а был в руках чугун горячей картошки. Ну, прямо будто ее под ваго-

ном варили! Он и схватил-то этот чугун потому, что женщина, вроде Юркиной белорусской тетки, вся черная, невнятно повторяла: «Бульба, хлопчики, бульба...» Что-то так тронуло его, что рубаха аленькая сама к тетке сползла. Неизвестно, что уж подумала о нем черная женщина, а он от горячего пара повеселел. С тем и в вагон влетел, как и сам с парного чугуна:

— Живем, ребята!

Картошку похватали в десять своих да в десять чужих рук... И остался он в проходе при пустом чугуне и без рубашечки. Его-то голодных глаз никто не заметил. Лишь незадачливая балалаечка проныла:

— Вот и мне-то не досталось, знамо...

Так вот и ныла все четыре дорожных дня.

Юрий своих новых знакомых не знал — привела их в Череповце всех скопом отделкадровская женщина, рассовала по рукам безденежные билеты и улопотала, а они за клунки свои держались, пока и сами-то клунки не порастеряли... Нет, Юрий в товарищи не напрашивался, угрюмо, с Фимушкой на душе, порешив: пускай их балалакают, его это не касается. Все надоело до чертиков.

Полок, само собой, не хватало; кудлатыми валетами валялись, где кому приходилось. Юрий меньше других зарился на лежаки, потому и реже удавалось прикорнуть; помнится, в Смоленске, когда нещадно толкали взад-вперед, прямо на ногах сморился, и тут-то его, тогда еще с мешком, но сонного, и уложил кто-то рядом с собой. Дернулся в очередной раз вагон, Юрий глаза открыл и не удивился: уж если ехать с этим парнем, так ехать. Был попутчик, если приглядеться, взрослее его и еще молчаливее. И не из трусости, а из какого-то скрытого презрения ко всем остальным. Какая трусость! Когда на одном перегоне сорвалась с полки занудная балалаечка и возопила: «Каюк, ребятишки!» — этот молчальник встал неторопливо и встряхнул балалаечку, да так хорошо, что она сразу завела отступного: молчу-молчу... И молчала какое-то время, чуть ли не до Борисова. А за это время, при таких тихоходных поездах, с дядей Ряжиным можно было заново подружиться, не то что с этим добрым попутчиком. О себе он ничего не говорил, а так, все больше улыбочкой. Одно и узнал Юрий — Сёмой Смагиным зовут. Но этого было вполне достаточно. Сёма радушно открыл свой чемодан — у него единственного был настоящий чемодан — и достал пироги:

— Давай пошамаем подорожников.

Он не понимал, чего Юрий с таким испугом отшатнулся от пирога:

— Ведь и у меня такой же был... надо же!..

Сёма посмеивался, складной финкой отваливая ему добрый кус с приметным сметанно-яичным отливом, со знакомыми следами пальцев, словно и этот пирог, прежде чем сунуть в печь, оглаживали Фимины руки.

— Надо же! — повторил Юрий, не решаясь сказать, кто ему укладывал в коробку из-под ботинок тогда еще горячий, прощальный подорожник.

— Знать, из одной квашни, — вроде и не удивился его новый приятель и откусил жирно, смачно.

Жадно, стыдливо откусил и Юрий, стараясь поскорее проглотить это наваждение. С пирогом они покончили почти одновременно.

— Держись при себе, корешок, — как бы проникая в тайные мысли, посоветовал Сёма Смагин.

— Держусь, Сёма, а как же, — зашпиливая пиджачишко, отзывчиво согласился Юрий.

Значит, решено: при себе да при Фимушке, при Фимушке да при себе, что одно и то же. Юрию не терпелось мастером, как голубем почтовым, возвернуться в Череповец, Фимушку взять под ручку. Иной мысли у него под конец пути уже не было. Напрасно где-то ныла досужая балалаечка:

— Чего нас в Минск несет? Там у самих ни кола ни двора. Ребята, возвращайтесь, пока не поздно. Да хоть и вербуйтесь куда. Мужики, эва! Народ-то везде потребен. Чего всем детсадом таскаться? Репей там на улицах да бульба гнилая на месте домов...

С ума можно было сойти...

Но в Минске глаза удивленно раскрылись: репей — какой репей?! Город их встретил, настоящий город. При утреннем свете, при веселых звонках трамваев.

Напрасно Сёма напоминал:

— Дело обычное, строят. Пятый уж год, не разгибая спины. Чего удивляться?

А как не удивляться! Даже балалаечка ошарашенно вздохнула:

— Да-а, а нам говорили...

Тут не говорить — тут глазеть во все глаза приходилось. Морковки нигде, на всем пути от вокзала до общежития, не попалось, репы — и подавно, а бульбой если где и пахло, так только, может, на деревянных окраинах. В центре домá горами вставали, о пяти и шести этажах. Голова уставала дергаться вверх: вот тебе и поле плужное, и огороды на пепелищах! Ехали в мягком автобусе по мягким, частью уже заасфальтированным улицам — от вокзала все вниз, вниз к реке, а потом куда-то по ее берегам, по деревянному, но как улица широкому мосту, вдоль звенящих трамвайных путей, вдоль бесконечных строительных лесов, вдоль нескончаемого строя башенных кранов. Было утро, было начало дня, и краны, просыпаясь, как бы раскланивались с ними, кивали спросонья. «Да-а, ребята...» — только и слышалось теперь в их помятой, но взбодрившейся ватаге, а про Юрия и говорить нечего: к окошку прилип. И встречавшего побратима не замечал, хотя Юрась и толкал локтем:

— Бачышь, Юрко, зноў живем?

Не понял Юрий, что к нему обращается белорус-побратеник. Только тогда, когда тот с силой саданул локтем, вытаращился на карася Юрий:

— Братка, ты?!

— Я вось, хто ж яшчэ.

— Больно чудно говоришь. Давно ли уехал от нас?..

— Мабыць, недавно, а мабыць, и давно, — нахохлился Юрась. — На радзиме и день за год...

— На родине? Какая родина у тебя, несчастный беженец?

Бледное, невыспавшееся лицо Юрася пошло совсем уж мертвыми пятнами. Громким голосом он и раньше не отличался, а сейчас еле проступил его шепоток:

— Бежанец, ды не няшчасны, кали возвернулся на радзиму...

Удивленный и пораженный его внезапным ожесточением, Юрий на этот раз смолчал. Что с ним, его забережным побратимом? Какая муха укусила? Что — родина?.. О ней, о родине, Юрий никогда и не думал. Думал о хлебе, о картошке, о керосине, о том, что надо наловить рыбехи, смазать телегу, наладить плуг, о братанах думал — своих и чужих, об этом сроднившемся приемыше; а теперь вот еще думал и о череповецкой стройке; иногда думал о тускнеющем, уходящем куда-то облике матери и о могиле ее на дне Рыбинского ненавистного моря, о Тоне-Праведнице и о Самусееве, а сейчас все чаще о Фимушке, о ней, об аленькой, думал, если думалось, о Забережье, о его трудной и неприкаянной жизни, о старой деревянной Мяксе и новом каменном Череповце, случалось, и об улочке какой-нибудь, уже намятой его деревенскими сапогами; о многом думал, но о родине... о родине... нет, не думалось ему никогда. Да и некогда было... Да и не его это дело — таким далеким звоном звонить. Дело его — жить как живется, а лучше — получше и посытнее, что одно и то же. Да, что сытно, то и хорошо. Всю свою маленькую жизнь он только тем и занимался, что добывал — наравне со взрослыми, вместе со взрослыми, чаще всего с женщинами-солдатками, а потом уж просто со вдовами — кусок хлеба для себя и для своих мно-

гочисленных братьев и сестер, — и куском этим, если доводилось, самой большой гордостью гордился. Не знал он таких слов, как родина, голову над ними не ломал. Было удивительно поэтому слушать как бы заново родившегося Юрася...

— Ты тольки паслухай, Юрко! — говорил тот с каким-то незнакомым, незабережным придыханием, как бы в простуде, как бы выкашливая слова. — Ты только пабачь! Дома, як грыбы. Так и растуть, так и растуть. Ты не забижайся, Юрко, але и во мне який-то новый дух праснулся. Мабыць, дух матиной радзимы... Мати, мати, не дожила ты да гэтага часу! За тебя и за себя усё знов открываю. Як наварождены, яки тольки што на белый свет зъявился. Як я жил без всяго гэтага? Шырака зямля, а свая и таго шырэй. Харош чужи край, а роды кут милей за всех...

Совсем этой переменой раздосадованный, так не вовремя оторванный от окна, он, забережный Юрий, по-ряжински на полуслове оборвал восторженную, непонятную речь такого, казалось бы, понятного побратима — так и отрезал:

— Послушай и ты — что ты там талдычишь? Быстро же ты наше Забережье позабыл!

В свою очередь сбитый с толку, Юрась примолк, как бы белой яростью изошел и потом, очнувшись, со слезами на глазах, уже на привычном для Ряжина языке отмахнул:

— Не забыл, но попрекать куском хлеба не надо. И не талдычу, а говорю, как мать говорила.

При упоминании о его матери, жившей дольше родной и стоявшей как бы ближе к ним, и Юрий Ряжин примолк, чуть потише спросил:

— Ну ладно, Юрась, что делаешь-то, где пристроился?

Но Юрась, разобиженный побратимом, уже как чужому сказал:

— На заводе, учеником слесаря. А пристроился у тетки Дануты... — Он как-то сразу засуетился. — Вот уже и на смену опоздал!

И не успел Юрий опомниться, как побратим подскочил к автобусной двери и выпрыгнул прямо на ходу, благо разболтанная дверца толком и не закрывалась, а шофер как раз притормаживал на повороте.

— Нехорошо вы с братаном расстались, — заметил ему, подсаживаясь на освободившееся место, Сёма Смагин.

— Сам знаю, что нехорошо, — проговорил Юрий, провожая глазами бегущую, нахохленную фигурку Юрася.

Но долго дуться на себя он не мог: приехали в общежитие, и началось поселение-расселение. Оказывается, их давно ждали. Оказывается, все для них было приготовлено. Даже завтрак в студенческой столовке. Получалось, что жить и учиться они будут в строительном техникуме, который назывался почему-то индустриальным и в котором студентики щеголяли черной, шикарной, как бы железнодорожной формой. Но все эти тонкости пока не доходили до сознания. Уставшие с дороги, изголодавшиеся, они ели все, что им подавали и подавали, не замечая, как высовывается из окошка повариха, как головой качает.

С раздутыми животами, осоловелые, поднялись вслед за кастеляншей на третий этаж. А там уже неслось:

— Кочанов, постель бери и в шестую комнату... пятеро вас будет, давайте поживее.

— Степиков, нехорошо в одежде валиться, разденься, милый...

— Ряжин, Смагин, вы долго будете у дверей топтаться?..

Оказывается, ключ не тот. Да и засыпал Юрий на ходу. Сёма потеснил его плечом, шильцем из складного ножика ковырнул — и дверь сама отворилась.

— Ловко! — похвалил Юрий, осматриваясь, куда бы поскорее завалиться.

— Верно, ловкость рук... но никакого мошенства, — улыбнулся Сёма, первым входя в комнату. — На четыре души? Могли бы и на двоих...

Юрий был иного мнения: только четверо, только-то и всего! По

сравнению с череповецким необозримым общежитием это был рай земной о четырех аккуратно застланных койках. И к каждой койке — тумбочка, и к каждой — стул, и каждому жильцу — крючок на вешалке, и стол, стол настоящий, и цветы, цветы на столе — уж он и не знал какие, видел только, что на ромашки похожи, но покрупнее и поярче, кем-то заботливо поставленные в банку с надписью: «Опята маринованные». За грибы у них на родине опята не считались, да все равно хорошо. Дождавшись, когда уйдет кастелянша, он стеснительно сбросил штаны, а рубашку и сбрасывать не надо — только булавку расстегни на пиджаке...

Через минуту спал уже сном непробудным.

Тихо и незаметно уходила белорусская осень. Она не мчалась шальным, пыльным клубком, как у них в Забережье, не падала с какого-то берегового обрыва в дожди и туманы, а именно скатывалась по мягкой горке к неизбежным холодам. Но до холодов было, видно, далеко. Всю вторую половину сентября еще купались в речушке, которую Юрась горделиво и заносчиво называл рекой — рекой Свислочью, начисто позабыв — не иначе, — какие бывают по России реки, Шексна например. Юрий Ряжин больше в спор с ним не вступал. Река так река. Свислочь так Свислочь. Вода в ней была, что говорить, потеплее шекснинской. Северяне купались, как дикие, уже летевшие на юг утки. Вот тоже новость, утки бултыхались рядом с ними, будто домашние. Их никто не стрелял, хотя голодовали белорусы побольше, чем у них на севере. Засуха, говорят, все палит. Который уж год не могут оправиться. Юрий вспоминал, что и у них в Забережье все эти послевоенные годы на удивление зрели помидоры, но все же настоящей засухи не представлял и утки без ружья не понимал. Раз есть утка и есть ружье — должно быть и мясо; это извечный закон жизни, пришедший к нему из голодного детства. Были бы припасы, порох да капсюли, ну а уж дроби из чего-нибудь, хоть из старых самоваров, накатал бы. Не лось, не медведь — утка всего лишь; чиркни ее хоть гвоздевым крошевом — затрепыхается, кидай в горшок! Но здесь не кидали, посматривали. Он спрашивал Юрася:

— Что вы за люди?

— Крыви у вайну наглядзелись, не жадаюць быць забойцами, — отвечал, сильнее обычного придыхая, побратим.

С трудом, но проникал Юрий Ряжин в смысл побратимовых слов. Ага, крови-кровушки не терпят? Ага, не поднимается рука? А как быть с курицей или с поросенком? Про себя посмеивался — вслух такие вопросы почему-то уже стеснялся задавать. Может, и некогда было: то занятия, то практика, то на стройке, то в классе. Собственно, их гнали по какой-то ускоренной техникумовской программе, не давая передыху. Шесть часов на стройке, а потом еще шесть на занятиях — как на вечернем отделении. Только за малостью времени не забивали им головы литературой да историей — все больше о строительных материалах, башенных кранах и лебедках, о расчетах и зарплате. Юрий Ряжин с удивлением узнавал, что зарплата зависит не от настроения мастера — от выработки рабочего; раньше ему казалось как раз наоборот. Теперь же, проникая в тайну получаемых у кассы денежек, он видел, что нужно, чтобы и самый плохой мастер не обсчитал хорошего каменщика.

— Гляди, — толкал на занятиях Сёму, — честно-то лучше работать!

— Лучше — когда совсем без работы, — посмеивался Сёма.

Ну что за человек? Спали рядом, ели под локоток, бок о бок сидели на занятиях, а ничегошеньки о нем Юрий не знал. И не только потому, что был Сёма молчальником и человеком как бы из другого возраста — пожалуй, и документы как-то подмолодились, — но умел Сёма Смагин и говорить, ничего не открывая. Например, спроси обычное: «Ты где родился-то?» — и он ответит — что воды намутит, вроде того: «Ро-

диться — не помолиться, везде можно». И станет стыдно, что ты кичишься своим Избишином и лезешь в душу с пустыми вопросами. А спроси: «Зовут-то как по отчеству?» — ответит и того хлестче: «Зовут зовуткой, а величают уткой». Видно, и в документах было это несерьезное: Сёма. Преподаватель, ехидничая, так и окликал: «Сёма? Сёма Смагин, да?..» Да, отвечал Сёма и как-то по-детски, блаженненько улыбался. А уж какое там дитя! Брился каждое утро до синевы, выскребая подбородок и даже щеки. А у Юрия и бритвы еще не было. Растет белесый пушок — ну и пусть себе растет, не мешает. Не так думал Сёма, не так к своим щекам относился — с какой-то подозрительной, придирчивой любовью. Вставая раньше всех, скоблил их в тишине умывальника и смазывал разными кремами, о существовании которых Юрий Ряжин и понятия не имел. Застав его однажды за этим ранним занятием, даже наивно удивился:

— Гли-ко, за ночь бородища!

— В том-то и беда, — ответил Сёма со своей обычной загадочной улыбкой и предложил: — Хочешь попробовать? И у тебя борода будет расти. Девки будут лучше любить.

Насчет девок у Юрия не было никакого понятия — зачем девки, если Фимушка его дожидается. Но усики какие-нибудь ему не помешали бы, конечно. То-то Фимушка удивится! Ничего Сёме не ответил, но всем пушистым лицом просиял. И Сёма сам решил:

— Значит, брить тебя будем.

И собственноручно намылил ему щеки и, повострив бритву на брючном ремне, гладенько, неслышно соскреб весь его детский пушок в одну грязную копешку — вроде как первую весеннюю, испорченную дурной косой. Но как смыл под краном и смазал кремом его щеки — Юрий и сам себя не узнал: и старше, и умнее, и красивее даже... Красивше, чего там! В течение дня несколько раз тайком проходил мимо зеркала — были зеркала и в общежитии, и в столовой, и в строительной раздевалке светил осколок. Посматривал на себя и дивился: до чего же взрослым стал! Немудрено, что Сёма старше кажется. Сёма бреется, наверно, с пеленок.

— Нет, с десяти лет... если по паспорту, — поправил Сёма.

Но и в поправке не было ясности. Прожив рядом с Сёмой три месяца, Юрий знал о нем не больше, чем и при первом знакомстве. А знать хотелось почему-то...

— Сёма, ты чей? — спрашивал, когда закашливался преподаватель, израненный, немолодой уже партизан.

— А сёмкин да котомкин, — отвечал Сёма с улыбчивой серьезностью.

Невольно подражая ему, и Юрий перед своими черепанами таился. Когда в углу его настырно прижали — не дядькой ли приходится начальник Ряжин? — на две стороны локтями отмахнулся и туману на все Рыбинское море напустил:

— Верно, верно, кличут дядькой, величают тятькой, а в пупок не заглядывают.

Выбритый Сёминой бритвой, уж так хорошо отбрил, что и сам засмеялся. Но Сёма погодя, когда вдвоем остались, посоветовал:

— Брось ты перед ребятами ломаться.

— А ты?..

— А мне до Фимушки! — И так посмотрел, что не знай что и думать...

— И мне до Фимушки... — вздохнул Юрий.

Сёма, посмеиваясь, и тут поправил:

— Тебе-то лучше бы до фенюшки! А то смотри за тобой...

— Сам знаю, что лучше, что хуже, — огрызнулся Юрий. — Кто тебя в дядьки приставил?

Сёма тут почему-то замешкался и отвел свои глубинные, темные глаза.

— Уж если в дядьки — так в дядьки...

Сёма всегда так отвечал — вроде как утвердительно. Он упорно заскрипел пером, хотя партизанский кашель преподавателя давал им долгую передышку, — делал Сёма вид, что не успел записать, а может, и в самом деле не поспевал. Науки давались Сёме еще труднее, чем Юрию, хотя у Сёмы тоже числилась семилетка. Какая — никто ни у кого не спрашивал; все они здесь были такие, босиком да вечерком учившиеся. Но Сёма не только в алгебре — и в арифметике-то путался и брал все смекалистой хваткой. Учился он упорно и как-то ожесточенно, на сочувственные взгляды коротко отвечал: «Надо, Юра, надо».

Юрий понимал, что надо.

Само собой, никто их, недоучек, отчислять не собирался — преподаватели поистине мученически сносили их тупоумие, — но все же расчеты шли такие, что Юрию в вечерней школе и не снились. А уж Сёме Смагину и подавно. Он с тихим зубовным скрежетом продирался сквозь инженерные премудрости. И его железное упорство покоряло преподавателей. Вначале только головами качали, видя, какую алгебру да геометрию измышляет Смагин, потом в недоумении примолкли, потом и в пример начали ставить: «Так, так, сказано: терпение и труд все перетрут. Видите — Смагин? Тоже с заочной семилетки, а как строительное дело пожирает?» Сёма пожирал все подряд — рулетку, угольник и даже нивелир — поистине с монашеским самоотречением. Все находили время и на реку, и на кино — он не находил; все они при случае не прочь были повалять дурака — он один дураков не признавал. Всегда был спокоен, сосредоточен и тих... хотя за этой тихостью бог знает что скрывалось! Опять нечаянный случай подвернулся: здешний студентик, в черную форму закованный и потому не в меру говорливый, стал задирать череповецких недоучек. Вначале смешком, потом и шажком; ловко так, изворачиваясь, наддавал пяткой склонившимся над книгами неучам — так и хватались за копчики! Связываться с ним не хотели, да и побаивались черных студентов: это были все бывшие фэзэушники, на государственный счет учившиеся в таком особом, фэзэушном же, техникуме. Стоило задеть кого-нибудь из них, как вся «черная гвардия» поднималась с криком: «Наших бьют!» Их и в городе-то за версту обходили. Вроде бы сами они и не задирались, но, отпетые фэзэушники, простофиль учили смертной наукой. Вот и сейчас этакий бывший «фэз», франтовато застегнутый в черное казенное сукно, шел по коридору и садил своей ловкой пяткой по пятым точкам, которые прямо для его удовольствия торчали у подоконников. Повизгивали черепане, но спускали нахальство, опять утыкаясь в книги; только что с практики пришли, поедом ели нежевавшиеся, как и техникумовские котлеты, прогорклые страницы учебников. У стен, у дверей, а всего более у подоконников торчали. Потому так славно и пиналось черному студенту! Но только он занес, только вывернул свою суконную ногу перед Смагиным, как тот мгновенно перехватил колено и так же мгновенно, неуловимо вывернул его. Черный студент, сразу став белым, без слов сел на пол и встать уже не мог. Смагин рывком поднял его за воротник, куда-то в обратную сторону ввернул суконную ногу и наказал:

— Не забывай наших. И потиш-ше, с-сука, понял?!

— Понял, понял — все понял! — закивал бывавший во всяких переделках «фэз» и скорым, покорным шажком скатился по коридору и дальше по лестнице с глаз долой.

А Смагин как ни в чем не бывало опять склонился над непрожеванным техникумовским учебником и на восторженные вопросы — как ты его, Сёма, как?! — попросту не отвечал. Это уже вечером к назойливости Юрия снизошел:

— Иди ты, Юра, тоже знаешь куда?

— До фенюшки или до Фимушки?

— До Фимушки ты не дорос. Валяй до фенюшки.

— А как не захочу до фенюшки-то?!

Сёма уступчиво, как истинный дядька, вздохнул и обезоруживающе признался:

— А мне все равно. Главное — выспаться мастеру...

И спор, какой-то последний спор, назревавший все это время, сам собой чистым сном рассыпался.

•

Спор произошел не с Сёмой — опять со своим неразлучным побратимом. Как бы искупая первую размолвку, Юрась всякую свободную минуту следом таскался. Не терпелось и город показать, и о себе рассказать. Не в пример Смагину, Юрась был открытой душой. Он, Юрий Ряжин, открытость побратеника с благодарностью принимал. Но не до такой же степени!

— Ты слухай, Юрко, ты слухай, — кипятился Юрась, сидя с Ряжиным и теткой Даней за воскресным столом. — Забережье твое? Яно ни вайны, ни гора не бачыло, яго пад бомбами не знишчали. Беларусь страдала за вас, Минск крывёй исходил. Адзин з дзесяци жыхарёв тольки и вазвернулся на папялишча. Мати родная, што ён вынес! Таму и гонар, таму и павага. Пять гадо́в — як пять вяков. Кольки набудавали! Прышпект праз увесь горад. Кожны будавник. А ты приехав здалёка, нос дзярешь — Забере-ежье, мое Забере-ежье! В ножки кланяться оно должно, твое Забережье!

Юрий Ряжин ушам своим не верил. Юрась словно и не жил восемь лет — да каких лет! — в ихнем Забережье! Этот глупый побратим, этот приемыш сыпал попреками на людей, которые его из ладони вскормили. Он, поделивший со старшим побратимом даже имя, в чем-то и его упрекал. Не в том ли, что сух и голоден был забережный вдовий кусок? Но уж какой был, какой доставался... Не в том ли, что холодна и бедна стлалась их общая постель? Но уж какая стелилась — не делилась... Не в том ли обвинял его брат запечный, что тесна становилась от своих и пришлых многотерпеливая печь? Но уж какую поставили, какую оставили им отцовские руки... Не умели таить радость — чужим, беженцам несчастным ее отдавали, а горе — горе по плечам растаскивали. Чего же хочет вдруг ставший таким умником его младший побратим?

И он, Юрась, как бы всей нервной кожей чувствуя этот вопрос, силился на него ответить:

— Я кольки лет, кольки дзён спасибо гаварыл? И не сосчитать, Юрко... И сейчас гавару: дзякуй! Але ж можна ли кланяцца за сваё горе? Прыютили нас, няшчасных бежанцав — дзякуй? Сагрэли и прытулили да сваёй зямли — дзякуй знов? Крыви нам ад сваёй шчырай души дадали — дзякуй, дзякуй? И пасля вайны многих, як мяне вось, за руки на сваём берагу дяржали — наше дзякуй да спасибочко русское? Да, да — кланяюсь в ножки, Юрко! — и в самом деле как-то болезненно переломился в тонкой пояснице, с непонятным, слезным гневом в глазах.— Але ж мы устали кланяцца, устали гаварыць наше вечнае: дзякуй, дзякуй!.. Кольки можна? Мы тыж людцы, и людцы добрыя, як гаво́рыць мая тетя. Мы тыж ваявали и пра́цавали, може, и пабольш яких других... Сирата, але ж не сирая!

Далеко, далеко не все понимал Юрий Ряжин из этой запальчивой, сбивчивой речи, но одно несомненно: его виноватили, его обвиняли за собственное сиротство. И он не сдержался:

— Юрка... или как тебе приятнее — Юрась? У нас разные матери, разные даже отцы, но мы восемь лет жили в моем доме — чего же сейчас-то, когда полегче стало, прошлой бедой считаемся? Чего, несчастная твоя душа?

Юрий понял: говорил побратим явно с чужих слов, а с чьих — понял не сразу. Только позднее уже дошло: ах, тетка, тетка Даня!..

— Слухай, Юрко, — теперь уже совершенно ее голосом заговорил Юрась. — Кожны чатвёрты беларус загинул — памятуй! Мы першыми сустрэли ворага, першыми и у зямлю лягли... Маем права гаварыць аб гэтым. Маем права трэбаваць паваги да сябе. Бо крывёй гэта права купили... Да, нам цяпер уси дапамагаюць, але не кланяцца ж за дапамогу. Мы тыж людцы. Мы тыж агнем гарэли. вось — тетя Даня...

Юрий знал уже причину черной тоски этой женщины. И муж-пианист, и дочка, и другие родственники — все погибли во время последней блокады этого старого, грязного, непролазного района: Немиги. А сын-недоросток, убежавший к партизанам, видно, нашел где-то свою скорую пулю — о нем так и не было никаких вестей. Она его уже мысленно похоронила, оплакала, когда началась новая облава — перед самым освобождением города. Все, что могло гореть и раньше не догорело, вспыхнуло на всем окружии Немиги. Трудно поверить, но тетка Даня вышла к своим освободителям с немецким автоматом в руках, которые и на улицах заалевшего Минска прикипели навечно к мстительному трофею. Заметно было, что и сейчас ее руки, стоило сесть за стол, все чего-то искали, искали...

Юрась заговорил совсем уж непонятное:

— Ты, Юрко, вайны не спазнал, ты ничога не разумеешь! Вось тетя Даня — да, яна разумее. Вось я — разумею тыж, я сирота...

— Погоди, погоди. Так ведь и я вроде бы сирота?..

Это неоспоримое замечание сбило немного с толку Юрася, но он тут же нашелся:

— Твае сироцтво — тыловое, а мае — ваенное...

— Погоди, погоди — разве не на войне погиб мой отец?!

И с этим нельзя было спорить, но Юрась и тут какой-то кровной ненавистью, как и тетка, вдруг зажегся:

— Мабыць, и на вайне... но вайна не катилась праз тваю хату, праз тваю вёску Избишино. Ты жил в сваём даму, ты никому за кусок хлеба не кланялся!

— А ты, Юрась-карась... ты разве нам кланялся?! — от обиды встал Ряжин за столом. Не шел воскресный обед в горло.

А тут тетка Даня горячего маслица подлила:

— Частуйся, частуйся, гостейка даражэнький... разве так мы раньше частавались! Табе, Юрко, слава богу, не понять, што такое вайна...

— Да где уж нам! Да что уж мы! — понесло Юрия Ряжина, как носило в таких случаях и его отца. — Мы за вашими спинами сидели, мы кашу манную всю войну хлебали!

Он, уже сам того не замечая, стоял на самом пороге — хватит с него, нагостился.

Сшибая в закоулках верхнего коридора табуретки и примусы, какие-то корзины и тазы, Ряжин покатился по лестнице...

Долго запоздалое, тревожное сожаление гнало его по улицам Минска. Как ни странно, здесь на каждом шагу кричала правота тетки Дани. Новыми, рассерженными глазами смотрел он на Минск. Раньше пробегал — не больше — из общежития на практику, с практики в техникум, из техникума опять в общежитие — прямиком через реку, через довоенные, деревянные улочки. За пять лет все здесь уже устроилось, уросло зеленью и мало чем напоминало о войне. Война оставалась в центре, где строили все заново. Там еще было немало закопченных дыр, как бы навечно пробитых в каменном теле города. Высоким, серым, диковинным надгробием высился чудом уцелевший Дом правительства — этакое циклопическое нагромождение кубов, прямоугольников, пирамид и, кажется, целых домов. А вокруг него было каменное кладбище. К самому Дому подступали какие-то полуразрушенные и наспех заделанные купеческие особняки, голо возвышался весь снизу обглоданный пожарами католический костел, прямо железными рваными балками выпирал на площадь разваленный бок пединститута, во дворах еще виднелись воронки от бомб, которые стали помойными ямами, глыбы бетона валялись там, куда их забросило взрывами. Никто ничего почему-то не убирал. Говорили, в напоминание потомкам. Жилые дома строили

чуть поодаль, на спуске к Свислочи, а по ее притоку Немиге, средь развалин и грязи, текли мутные ручьи. Немигу, ставшую сточной канавой, застлали досками, и окрестная вода, стекая в ложбину сквозь щели, булькала и бурлила под уличным полом. Кое-где виднелись незаделанные проломы, и там, если пригнуться, жутко, вонюче неслась подземная река, в нее все и стекало, со всех дворов. Как ни плотно подгоняли доски, они не могли сдержать поднимавшиеся испарения.

Юрия несло, как ливневые ручьи, вниз по Немиге. Дома становились все мрачнее и мрачнее — старые, разбитые. Новый город был выше, вдоль строившегося центрального проспекта, а сюда строители не поспевали.

Испытывая какой-то немыслимый стыд — все же строитель, каменщик, — Юрий Ряжин поспешно поднялся в верхний город. Недалеко, но перемена разительная: все строилось и подчищалось, все поднималось заново. Строителям и ломать не приходилось: просто пускали по развалинам бульдозеры, пробивали улицы и котлованы для фундаментов. Рухнувший кирпич давно уже растаскали по первым поспешным стройкам, и сейчас стены клали из хорошего, нового кирпича. Но не это привлекло внимание — эка невидаль, кирпич! — народ куда-то валом валил, все в сторону Свислочи. И день воскресный, нерабочий — чего? Людской поток увлек Юрия по новому проспекту, который широченной лавиной пробивался через весь город. И там, где проспект сужался до ширины деревянного — каменный еще не построили — моста, крутился людской водоворот. Мост не успевал пропускать людей и спешащие, перегруженные машины и автобусы. Юрий догадался: вот оно что, площадь!

Слухи о том давно ходили. Собственно, не сама площадь привлекала — мало ли планируется, как бы заново, площадей в разрушенном городе; памятник на ней — вот что будоражило. Памятник какой-то небывалый, со всех сторон приметный. Юрий Ряжин, занятый по горло своими делами, мало вникал в эти тонкости — кому памятник. Солдатам или партизанам? Минчанам или всему народу белорусскому? Белорусам или бесчисленным русичам, освобождавшим город? Но горожане, верно, знали кому, если потоком сюда стекались. Стройка стройкой, но это был и народный праздник. Бульдозеры и экскаваторы уже растолкали на стороны землю и обломки прежних зданий; полукругом от реки выстроились еще не законченные, но внушительные остовы шестиэтажных домов. Уже и сам проспект, разделившись у подножия округлого памятника на два рукава, заметно пробивался через руины и навалы земли. А по всему окружию этой взбаламученной площади, и особенно на центральном пятачке, гудела праздничная толпа. Работа была грязная, земляная, но люди пришли — по-воскресному в чистом. Тачки с землей пролетали в руках мужчин, одетых в выходные костюмы, даже при галстуках; носилки терлись о подолы разряженных женщин. На будущей площади, как на сковородке, копился горячий человеческий дух. Свежему человеку, казалось, и приткнуться негде.

У Юрия Ряжина, пришельца из других краев, поначалу и желания такого не было — в свой свободный час браться за носилки, но его нетерпеливо подтолкнули:

— Чаго, хлопча, лынды бьешь?

Он знать не знал про эти «лынды», а уж тем более бить их не собирался, однако замечание задело — выхватил носилки, не глядя, кто сзади повис. Как он понимал, самая тяжелая работа была в центре: туда, в котлован с двухэтажный дом, уже бузовали бетон. И носилками, и тачками, и ведрами, и военными котелками... и шляпами, и шляпками, и просто пригоршнями. Посмеяться он не успел: на носилки навалили такую лепеху, что впору подавиться. Пошатываясь, он пробивался сквозь толпу, несшую в горстях и шляпах тот же самый бетон. Как можно было догадаться, не просто закладка памятника — выстраданный, памятный обряд. У котлована, обнесенного дощатой опалубкой, разноязычно неслось:

— А-а, Иванке маему хай буде жменька вдовья!

— Як кажуть хохлы, не журысь! От Черниговщины...

— От Смоленщины...

— От Гомельщины... расступитесь, лайдаки и небараки!

— Ад вёски маей, ад Хатыньки зпалёнай...

— От вологжан, черти вас дери! Дайте пройти комдиву!

Юрий ушам своим не верил: какие в Вологде партизаны!

Но к котловану уже пробивался с красной кубанкой в руках юркий, невысокий человек, чем-то похожий на покойного отца, — поистине ихней забережной породы... С орденами во всю ширину беспогонного кителя. С резкими ранними морщинами на молодом еще лице. С закаменелыми глазами. Невзрачный, если не считать орденов... Но орденов и в толпе было так много, что уже и в глаза не бросались. А вот его бросились, приковали внимание. Все узнавали этого человека, все пропускали вперед, вторили:

— Бачыте, сам комбриг?

— Со своим неизменным замполитом!

— Да, да, людцы добрыя! Хай застанетесь без чарки... дайте дорогу им!..

Об этом комбриге даже Юрий Ряжин, далекий от местных слухов, успел наслушаться. Но ведь понятия не имел, что земляк. А тут, у обрыва котлована, столкнулись носами: тот — с красной кубанкой, Юрий — с носилками. Вывалили каменистый, глухо скатившийся бетон.

— Неуж, дядька, вы с Вологды? — не удержался Юрий. — Я-то из-под Череповца....

— Так и я из-под Череповца, паря! — неожиданно сунул ему перепачканную бетоном руку знаменитый комбриг. — Как там наши зимогорят?..

Молодой, с изборожденным морщинами лицом, комбриг, принесший в партизанской кубанке горсть заветного бетона, приобнял неожиданно объявившегося земляка. Но поговорить им не дали.

— Вот ты где, батька Роман! — протиснулся к ним тоже при орденах, над которыми горела золотая звездочка, худощавый, с улыбающимся вытянутым лицом, и тоже совсем еще не старый мужчина.— Хлопцы тебя ждут...

— Земляка, комиссар, встретил, — похлопал батька Роман по плечу Юрия. И, улыбнувшись, задержал на нем радостный взгляд. — Видишь, паря, в плен к бывшим партизанам попал, извини, теперь уж не вырваться... Пошли, Петр Мироныч...[3]

И уже из толпы махнул Юрию красной партизанской кубанкой.

Не один час, наверно, бузовал Юрий Ряжин бетон к подножию будущего памятника, не вникая, кто сзади висит на носилках, — часто сменялись. Раз-другой ходила с ним какая-то девушка, разок проволокся хромоногий инвалид, какие-то ребятишки в четыре руки сообща повисели, какой-то парень походил, какая-то тетка на смену пристроилась, — но все быстро уставали, отставали, а желающих было много, то и дело менялись руки. Сырой бетон — не земля, гнет к ногам. Так и осыпались люди с задних рукоятей. Один Юрий Ряжин из какого-то стыдливого упорства таскал и таскал передом, не разгибая спины. Машины с бетоном подходили беспрерывно, котлован быстро наполнялся, но все же много времени прошло, прежде чем решился Юрий распрямить задубелую спину. Глядь — на другом конце носилок висит, тоже пошатываясь, настырный побратим! Да-а, Юрась-карась...

---

[3] Юрий Ряжин, конечно, не мог знать, что земляк этот — Александр Васильевич Романов. Личность легендарная. Комбриг, замполитом у которого был другой легендарный человек — Петр Миронович Машеров. Наградной лист Героя Советского Союза подписан Машерову как раз «батькой Романом»; немудрено, что Романов и Машеров были почетными гостями при закладке партизанского памятника.

Они посмотрели друг на друга, ничего не сказали, опять взялись за носилки. Много еще требовалось бетона в фундамент этого слезного памятника. Ой, много!..

Видно, много и памяти скопилось в душах людских. До самой ночи, до ярких прожекторов, окруживших площадь, гудел человеческий дух. Многих, говорили, и утро там же застало.

Но они с Юрасем ушли около полуночи. Больше сил не было...

Может, под впечатлением всего этого и резануло своей дикостью техникумовское общежитие. Там шла игра, как уже не раз. Куча денег на столе едва виднелась. За дымом и люди расплывались. Спины — как от носилок закаменелые. Слова — как комья спекшегося бетона:

— Перебор, моя со смыком!

— Недобо-ор, твоя легла!

Окна были наглухо закрыты, двери само собой — и дым висел, как в курной баньке, к полу прижимал. Юрий так и присел на пороге, подумал: «Опять!» Жильцов Сёма Смагин как-то незаметно всех переменял, и теперь некого было опасаться, а чтоб в дверь зазря не стучали, он всем четверым ключиков понаделал и вручил под песенку: «Имел ключи, имел отмычки, имел в кармане финский нож...» До ножей, слава богу, дело не доходило — все оборачивалось дымной вечерней шуткой. Играют — ну и пусть себе играют, ему-то, Юрию Ряжину, какое дело? Он за дипломом приехал, чтоб поскорее Фимушку под ручку взять да по главной улице Череповца провести; она так и наказала: «Без дипломушка, мой ряженький, не возвращайся, страсть люблю мастеров... всякого своего дела!» Нет, картишками пробавляться ему некогда. Он еще думал почитать на завтра, да какая тут читка...

Отхлебывая из стакана, Сёма Смагин банк держал, Сёма ничего не видел и не слышал. Только это: недобор-перебор! Юрий прошел было к кровати, но она была занята сидящими картежниками, и он от усталости уткнулся локтями в тумбочку... Перед глазами оказалось письмо из Череповца и... фотокарточка улыбающейся аленькой Фимушки... Он понять ничего не мог — откуда?! Думал, из письма нахально распечатанного-разорванного, но его письмо оказалось нетронутым. Фимушка вспрыгнула на тумбочку явно не из него... Будто из звонкого минского трамвая...

Тут он только и увидел тугой Сёмин бумажник, распахнутый на две стороны, Юрий и этому удивиться не успел, как из дыма протянулась Сёмина рука и слепо, уверенно выхватила несколько купюр.

— Недо-брал... ах, смык до Фимы!

— Пере... Фимушка моя!

Уставший смертельно и окончательно добитый Фимушкиной карточкой в табачном дыму, Юрий с изумлением вскочил в этот плотный, орущий дым:

— Да заткнись ты, кретин несчастный!

Но его кто-то невзначай саданул локтем и восторженно возвестил:

— Гоп-са, Фима, гоп-са с Фимой, гоп-са, Фимушка моя!..

И под это застольное, дымно-сумасшедшее «гоп-са» ему вдруг совершенно отчетливо подумалось: «А ведь нам с Сёмой добром не кончить».

Заснул с успокоительной ясностью в голове на чужой, прокуренной кровати.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

У Дмитрия Окатова, уже хватившего власти председателя, новая страсть объявилась: детдом. Полгода назад он и представить не мог, что будет еще и этим заниматься, а сейчас вот занимался, и с каким-то

особенным удовольствием. Будто своих не хватало! Будто Веруњка и не была опять на сносях...

Видя его привязанность к чужим деткам, Барбушата в один голос возвестили:

— Знамо дело! Состарел Митька. Знамо, и Верка-то никудышная, последыша доживает.

Марьяша пробовала защитить сына:

— Устает он в председателях-то.

Дмитрий Окатов шутки не стеснял. Думалось, только шуткой и можно оборотъ смешное деревенское недоверие. Дет-дом! Дело настолько необычное, что не знали избишинцы, что и думать. Злословили — хотелось позлословить, потому как непонятно. Это же надо: колхозу, и без того еле стоящему на ногах, навязать еще двести чужих сирот!

По правде говоря, им ничего и не навязывали. Детдом — заведение государственное, и кормился из государственного котла. Просто послевоенная Мякса не вмещала всех застрявших беженцев, инвалидов и несчастных, потерявшихся сирот; давно хотели рассовать эти дома по деревням, чтоб легче было кормиться. Но какой председатель добровольно возьмет на себя обузу? Отбивались, как могли, пока самый молодой, да ранний Окатов не сказал: «Давайте, ежели». Еще не веря в счастливое слово, его как на крючок и посадили: бери! Перевезли на барже две сотни детишек, уже почти по ледоставу... и только тогда стали думать: где разместить? В оставленной рыбаками церкви? Но ее еще надо было, пока совсем не захолодало, под детское жилье приспособить. Одно дело — рыбаки-фронтовики, которых и драная шинель распрекрасно баюкала, и совсем другое — детишки, шинелей еще не знавшие... Выгружались они, правда, тоже по-походному, с мешками-сундучками и складными железными кроватями, но спать в общей куче не умели, а двое плотников-инвалидов, присланных из района, могли и до белой зимы прокопаться. Пришлось все Избишино на ноги поднимать, чтобы загаженную рыбацкую церковь в жилой дом обратить. И то, побросав картофельное поле, целую неделю проваландались, прежде чем над головами появились деревянные потолки и встали тесовые переборки, разделившие церковь на клетухи. Максимилиан Михайлович отдал, конечно, и свое, теперь уже ненужное, семейное жилье, да и боковые зимние приделы были под потолками, но пришлось ставить кровати и под главным куполом, там, где Христос возносился на облака. Но председатель-то — не Христос безгрешный! Было время, когда Дмитрий Окатов горько пожалел о своем сорвавшемся слове... С этим детдомом чуть картошку под снег не пустили. Правда, детишки-муравьишки помогли, выцарапали из ледяной земли все до картошины. Не имел Дмитрий Окатов права на испольщину, но молчаливо и сумрачно отдал детдомовцам каждую десятую корзину — сами же ребятишки по-честному и отсчитывали. Теперь, два месяца спустя, можно бы и не качать головой — все помаленьку устроилось: и картошка, и потолки, и отношения с детдомом. Но Дмитрий Окатов, направляясь на побережье, все-таки озабоченно клонился: что-то дальше будет?..

Это полузатопленное забережье за колхозом не числилось — так, задичалые пустоши бывшего старого Избишина. Но ведь на капустные и прочие огороды, разведенные тайком и позапроданные с чьего-то болтливого языка, район все равно глаз положил, так что приходилось и колхозный глаз держать. А кому охота за семь верст киселя хлебать? Детдом приходился вроде бы кстати, можно было хоть огороды сбагрить: все равно им полагалась земля, да и помощь колхозная. Значит, и все остальное, что на этих землях, к колхозу же отходило. В том числе и громадная каменная церковь, и развалины ближнего монастыря. А детдом... детдом уже оказывался в роли арендатора. А колхоз — в ро-

ли благодетеля, как уж там ни верти словами... Очень гордился Дмитрий Окатов этим открытием! Не иначе как с помощью зазимовавшего островитянина до того и дошел умишком — Максимилиана Михайловича сам бог подсунул в директора. Какой другой дурак поедет за море?

Дмитрий Окатов знал, что сирот не обидит, но власть над ними, и особенно над самим директором, была приятна. Он уже несколько дней как собирался съездить туда, да дела не пускали. Кажется, приспел срок и от дел отказаться.

Река Оклятая, текущая через Новое Избишино, когда-то и коренное Избишино на две части разваливала, но сейчас, с затоплением побережья, откатилась со своим устьем на добрый километр от церкви. Много хороших забережий ушло под воду, но много и осталось. Что пропало — то пропало, а дальше вода не шла: суходол ей путь закрыл. А за ним, по бывшей старице, земли огородные; там уже море не властно, там сама река землей правит — с весны ненадолго заливает, а потом уходит. Земли древние, тучные: до тридцатых годов монастырю принадлежали. От монастырских строений, расположенных выше по реке Оклятой, осталось всего несколько кирпичных коробок, без крыш, конечно, и потолков, но зато стены, стены какие! Выходит, теперь они тоже колхозу принадлежали. Вместе с береговыми теплицами видел здесь Дмитрий Окатов даровую ферму, которая и детишек подкормит, и план колхозный своими стенами подопрет. Как ни считай, нет худа без добра. При мысли о навязавшемся ему на шею детдоме не стоило бы качать головой. По этим пойменным землям и протекала когда-то монастырская молочная река, да еще с кисельными берегами. И Дмитрий Окатов мыслил — ни больше ни меньше! — возделывать берега Оклятой ручонками ребятишек. Чего им баклуши бить! Колхоз вспашет, заборонует, гряды нарежет — пусть ребятишки на здоровье копаются. Будущим летом можно и скотину сюда пригнать. Глядишь, при молоке да при овоще и сами не пропадут. Все равно положено же им для подкормки подсобное хозяйство.

Прикатив по первому снежку прямо на огороды, Дмитрий в приливе радостного чувства даже обнял встретившегося Прима Ивановича:

— Видишь — дети? Через пять лет это уже мужички. Колхознички!

Прим Иванович с сомнением оглядел своих помощников, но главное подтвердил:

— Верно, без них мне не управиться. Но ты уж Барбушат моих не отбирай.

— Может, одной тебе хватит? Дел-то сколько в деревне! — попробовал вразумить его Дмитрий.

— Нельзя с одной, вторая обидится, — возразил Прим Иванович.

Дмитрию оставалось только чертыхаться. Поселил-то он сюда этого примака с принявшими его Барбушатами вроде бы временно, на первых порах детдому помочь, а выходило — завхоза завел. В отрыве от деревни могли жить только нестарые и своими детьми не обремененные люди. А кто — нестарые-то? Добро бы Капа-Белиха с Павлушей Лесьевым... Но Павлуша дно морское пашет, а Капа уже не работница; шатается с вилами промеж других женщин — и то хорошо. Вот и приходилось держать при монастыре святую троицу...

— Ну ладно, — согласился он, — я не сельсовет и не милиция. Живите как хотите.

И хоть разговор этот начинался уже не раз, но так и не закончился. Все трое накрепко застряли при детдоме, дело у них больно шло хорошо. Жаль было нарушать. Огороды выгодны еще и тем, что рядом с пристанью — на семь километров путь к Череповцу сокращался. А после того как пожег и раскидал к дьяволу болотному и без того гнилые мосты — чтоб не было череповецкого соблазна! — все дороги именно на пристань и сошлись. Под замок председательский, как и обещал! Конечно, зима мосты поставит, да кому теперь бежать? Все уселись и угрелись по печам. Так-то, умники-разумники!

По всему выходило, сюда надо было и перемещать колхозные парники, еще по снегу начинать будущую посевную. Вот этим и занимался Прим Иванович вместе со своими невенчанными женами.

Приезжая сюда, Дмитрий Окатов всякий раз удивлялся: надо же, не лодырничают! Хотя Прим Иванович и не был сельским жителем — как выяснилось, в Череповце и родился, — но предстал мастеровым мужиком, а Ия со Светланой — огородницами завзятыми. Да и муравьишки-детишки помогали с охотой. Вдруг оказалось, что работа под стеклянной крышей хороша и в холодную погоду. Прим Иванович, излечивший и чахотку, и язву, ворочал на славу. И все по-своему, и все по разумению. Поначалу Дмитрий было возражал — зачем да почему такие крутые скаты? Теперь видел, прав Прим Иванович. Строил не времянки — настоящие теплицы, используя каменные монастырские опоры. Столбы стояли как солдаты, рядками, серые, приземистые — из полевого валунья. Монастырь не одно столетие кормился с прибрежных теплиц, да и в Череповец овощ лодками бузовал. Сам того не подозревая, председатель мыслил как преподобный игумен — для череповецкого жирку завести настоящие теплицы, чтоб не маяться со своими горькими парниками. Еще с лета глазом все примерил и под свою председательскую руку мысленно прибрал. Значит, быть колхозному монастырю! Городи огород по монастырской мерочке! Но Приму Ивановичу старая мера показалась тесноватой. Крыша низковатой. Нет, сказал он, средние опоры надо нарастить, чтоб не бить поклоны перед каждой балкой. Не монашки, мол, мои Барбушатки! Под их забережный рост и возводил крышу. Наращивал опоры сосновыми столбушками, чтоб и скат заодно покруче задрать. С такой окатистой крыши любые снега сойдут. Как терема вставали.

— Но стекла-то, стекла где я наберу? — ужаснулся Дмитрий.

— А это уж твое дело, председатель, — не входил в подробности самодовольный строитель.

Он торопился, пока землю еще не проморозило, столбы поставить, а все остальное можно и по холодку. В одном из первых тепличных отсеков, уцелевшей монастырской кладки, поставили несколько железных печей — из бочек, брошенных рыбарями. Стекла и двери уже позимнему наглухо закрыты. Теплынь настоящая, хоть и дымновато. В сизом тумане плавали два ряда невысоких верстаков — как раз под росток гудевших там столяров. Дмитрий не замышлял такое широкое дело — еще и мастерскую для детдома. Но у Прима Ивановича свой резон: рамы-то надо вязать? Надо, ничего не скажешь. Так вот сами собой и вышли мастерские. Тут уже и Максимилиан Михайлович, новоиспеченный директор, настороже стоял. Он вроде бы и не вмешивался в распоряжения Прима Ивановича, но за всем чувствовалась его рука.

— Рассчитываться-то чем будем? — нахмурился Дмитрий, наблюдая за столярной возней.

— Чем! Картошкой, лучком, морковкой да теми же огурчиками, — потайно подмигнув директору, навязался с советами Прим Иванович.— Они вон все рамы и двери, считай, сами сделают. Я только показываю. Не сто же у меня рук. А рамы — простенькие решетки. Знай городи.

Рамы были упрощенные, тепличные, но все-таки рамы, связанные по всем правилам, шипами. Кое-чему ребятишки уже научились.

Это имел в виду и сумрачный Максимилиан Михайлович, без слов подсовывая договорный лист. Как ушла на тот берег Айно, он будто зарок молчания дал. А новость не из приятных, чтоб отмалчиваться. С рыбаками ли, с другими ли помощниками — обходились раньше и без бумаг.

— Чего так, Максимилиан Михайлович?

— А того, Дмитрий Климович: двести сирот у меня.

— Будто я раздеть их собираюсь!

— Раздеть, может, и не разденешь, а за штаны потрясешь... как самого-то прижмет. Подписывай, Димитрий Климович.

— Ну ладно, я почитаю... — взял он из рук в руки красиво писанную бумагу.

Читать приходилось с оглядкой. Дотошнейший договор детдома с колхозом. Сколько сделать и сколько получить. Сколько дать и сколько взять в случае чего... От каждой-то репки, от каждой морковки! С ума можно сойти.

— Ты со мной, как с разбойником... — не скрыл своего председательского удивления. — Неужели на словах не договоримся?

— Если бы это касалось лично меня, договорились бы. Но за моей спиной двести сирот, — настойчиво повторил Максимилиан Михайлович.

Спорить с ним — не переспорить. Вот навязал на свою голову! Покряхтев по-стариковски, договорок Дмитрий подписал. Да и не мог не подписать, видя, как стараются четырнадцати-тринадцатилетние столяры и как еще меньшая малышня лопатами и лопаточками впрок, на весну, заготавливает торф. Прямо на прелый снег. Волокут — кто на саночках, кто в корзинках... Торфяные пласты, спускавшиеся к самой реке, лишь сверху спекло, вглубь же не проморозило, а санный путь облегчал доставку. Весной, если даже и будут свободные лошади, в торфяное месиво не залезешь. Сейчас — вроде забавы. Вытянул саночки на горку, кувырнул с них торф — и обратно с визгом лети. Э-эх, вороные!..

Спорил с ним новоиспеченный директор, а тон задавал Прим Иванович, это уж ясно. Дмитрий начинал его даже побаиваться. Смешно, да что делать?

Без лишних слов Дмитрий принялся помогать. Дело как раз жаркое, мужское. Монастырские парники были хоть и на крепких каменных столбах, но они частью уже повалились, частью пришлось их наращивать. Значит, кряжи сосновые ставь, сырые и осклизлые. Не для детских рук, конечно. Прим Иванович с директором да Барбушата — вот и вся подъемная сила. Председателя сам бог послал. Поглядывая, как под столбами кашляет исхудавший Максимилиан Михайлович, Дмитрий и за него ворочал. Стояки не очень тяжелы, но все-таки стояки, по три метра, где целиком восстанавливались. Прим Иванович убедил, чтоб в землю шло не меньше метра, иначе мерзлота будет выпирать и валить их, кособочить обрешетку, а там, глядишь, и стекла в рамах затрещат... Ах, стекла-стеклышки! Пусть уж лучше косточки...

— Достану я немного в Череповце, но все твое небушко не перекрыть.

— Не перекрыть, — задумался и Прим Иванович. — Кое-что директор выпросит у своего начальства, как бы под мастерские. Но и ты, председатель, не зевай. Недалеко до весны.

— Недалеко, ты прав...

С тем он и собирался в Череповец. Ноябрь уже пошумливал на дворе. Самое время о весне подумать. Для быстроты в сани запрягал. Дороги не было, но, может, забереги встали?..

— Нет, и не надейся, — предостерег его Прим Иванович. — Валяй верхóм.

Э-эх, вороные! Дорогу сгоряча порушил, плыви вот на воздусях... Легкие болотины и протоки уже прихватило, а тяжелые дай бог в обход. Напрямую и не суйся. Сжигая череповецкие мосты, и свои пожег...

В дороге из головы трудодни не выходили — прямо скажем, по нынешним временам неплохие: четыреста пятьдесят граммов на денек! Если не проворонить, не соблазниться похвалами — зимой, как все уляжется с хлебозаготовками, можно будет еще из потайных запасов добавить. Попридержал он ржи и жита в глухих амбарах — только он с Самусеевым и знали о том. Больше никого Дмитрий в тайну не посвящал. Чтоб не проболтались. Самусеева с его оравой досыта не накормить, конечно, и Праведнице его не жировать, но Барбушатам, живущим без всяких нахлебников, можно животы пирогами наесть. Можно! Он по-мужски гоготнул, зная, что там за пироги такие. Даже жеребчик прянул ушами: чего ты, хозяин? А того, друг дорожный, того... Пускай от пирогов, пускай хоть от картохи — но ведь разносит животы? Оно вроде бы председателя и не касалось... но попробуй-ка откосись! Еще полмесяца назад приезжал из района Титов, какие-то сплетни проверял. У Прима Ивановича документы были в порядке, а душу ведь не открывал. Потолкал, потолкал Титов в бока Барбушат, но и тут придраться ни к чему не мог: мать умерла, дом большущий, чего не пустить квартиранта? Не лыком шиты, и словечком череповецким отмахнулись! С квартирантами Титов не воевал. Указание было: по всей череповецкой округе их числить на законных основаниях. Но председатель-то знал, что у него в колхозе не квартирант!

Дважды вынес его напролом жеребчик, а на третий раз и сам еле выбрался — Дмитрий за ним, как крокодил, на берег выполз. У костра маленько погрелся и почистился, но лик председательский утерял. Хорошо, что потемну въезжал в Череповец, никто не видел.

Привязывая усталого жеребчика возле нарядной городской ограды Демьяна Ряжина, о себе уже не думал — глаза жгучей завистью слепило. Эк его, стекла! Море остекленное! Череповец открыто и нахально светился за бесчисленными рамами, которые на парники не положишь и даже взаймы детдомовцам не отдашь. Сотни, тысячи гектаров электрического света! Город, особенно если вечером, прямо выпирал из земли, как на тучном черноземе всходил. Жил и пользовался даровым солнышком, гнал из глубины своего чернозема светлый, живой сок... Но ни единой луковки не всходило под его парниками, зряшными стеклами! Прямо жуткая ненависть брала. Столько добра пропадало, столько тепла... Дмитрий Окатов смотрел, конечно, на Череповец глазами разобиженного председателя. Не то чтобы он не знал назначения этого железного города, не то чтобы не понимал власти выращиваемого в этих теплицах железа... а просто ни знать, ни понимать ничего не хотел. Из раскрытых форточек — видите ли, жарко им! — неслась веселая вечерняя музыка, и это в то время, когда Прим Иванович вместе с детишками долбит тепличные ямы под вой предзимнего ветра; все вокруг ярко светилось и ликовало, и это в те же часы, когда не в таких уж и далеких окрестностях втихомолку, в подушки плачут детдомовские сироты...

Дмитрий вошел в дом в сильном раздражении. А тут, как назло, и женщина на пороге.

— Аленькая, — лукаво потупилась она, подавая надушенную руку.

— Мне не аленькую, мне зелененькую! Да хотя бы и луковочку паршивую! — отвел он, как щеколду, в бархат затянутую ручку.

— Сам ты паршивец. Да и хам в придачу, — как по щекам съездила она, выпуская накрашенные коготки.

Но поцапаться они не успели — Демьян Иванович сверху сбежал.

— Узнаю, узнаю землячков! Чего, вместе со штанами купался?..

Дмитрию и эта городская снисходительность не понравилась.

— Купался!.. — сбил он с коленей ошлепки грязи. — Ты мне, Демьян Иванович, зубы не заговаривай. Стекло есть? Шефы у детдомовцев будут?

Он даже шапки не снял, всем своим видом выражая: вынь да положь! И Демьян Иванович сразу как бы свечу на своем лице задул — хмуро с разбегу остановился, пропуская в глубь квартиры разобиженную женщину.

— Чего ты бочку арестантов череповецких обещал? Где твои обещаньица, Демьян Иванович?

Демьян Ряжин, уже и не пытаясь улыбаться, смерил его откровенно отчужденным, непонимающим взглядом.

— Я спрашиваю! Я сорок верст киселя хлебал.

— Ну и зря в таком случае, — как-то болезненно сморщился Демьян Ряжин. — Я не господь бог.

— Ага, не господь? Просто прости господи?

Дмитрия Окатова уже понесло по коврам этой теплой, прокуренной, совершенно чуждой ему квартиры. На женщину с папиросой в зубах, назойливо усевшуюся в кресло перед раскрытой дверью, он не смотрел, хотя ее-то присутствие больше всего и раздражало.

— Я тебя выгоню сейчас, землячок несчастный, — под взглядом этой женщины обернувшись, заступил Демьян путь, будто Дмитрий в самом деле собирался шлепать по их коврам. — Вот хамло избишинское...

— Хамло, — ничего другого и женщина не прибавила.

Дмитрий плюнул им под ноги, прямо на ковры, и вышел вон. В коридорах и каких-то полутемных предбанниках он в раздражении заплутал, и Демьяну Ряжину удалось догнать его.

— Погоди, Димитрий, — взял его за рукав. — Выгонят меня, видимо, скоро — какое уж там стекло!

— За что? — при виде переменившегося Ряжина остановился Дмитрий.

— Э-э, землячок наивненький... Тут в двух словах не выскажешь. За жизнь, наверное, за жизнь треклятую...

Перед Дмитрием стоял уже не хват-земляк всесильный, не всевластный строг-начальник — просто избалованный жизнью и жизнью же потрепанный немолодой человек, и роста-то средненького, и средненького, невыразительного лица. За что его только всякие аленькие любят?

Но сочувствие мигом прошло, как только из дверей выглянула та самая, в ярком вишневом халате, и недовольно фыркнула:

— Демьяша, я озябла! И ты хамством заражаешься?..

Дмитрий не захотел больше приглядываться к их отношениям и прощально, непримиримо сказал:

— За жизнь, конечно. Извини, Демьян Иванович, у меня дела колхозные.

Выйдя на улицу, он покормил из горсти и приласкал измученного жеребчика и повел его в поводу. Надо было разыскивать Матвея Макаровича. На складах его, конечно, в такую пору не было — домой пришлось в шесть ног тащиться. Бывать у него на дому он раньше не бывал, знал только: дом, перевезенный с Забережья, поставлен где-то в устье Ягорбы.

Дом этот Дмитрий узнал даже при слабом свете, падавшем из окошек, — знакомый, забережный облик. К тому же и печь топилась, от трубы заносило вкусный, домашний запах блинов. Дмитрий почувствовал: проголодался — прямо-таки кулаком застучал в дверь. Даже уставший жеребчик недовольно запрядал ушами: да поимей же ты, председатель, гордость человеческую!

Открыли быстро. Сам Матвей Макарович. Какое недовольство — радость на лице! Прямо с порога все решил:

— Димитрий Климович? Как раз на блины. Сейчас Макаровна лошадь в тепло заведет, а ты давай-ка пока переобувайся.

Макаровна изнутри уже задние ворота открывала — жеребчик сам на скрип потащился. И Дмитрий без стеснения шагнул сапожищами в сени. Лавочка как для него и стояла. Мокрущие сапоги с удовольствием скинул, сунул ноги в теплые, обрезанные валяные коты. Позади него грязная лужа расплылась.

— Неужели такие ошлепы и на коврах оставил?

— У Демьяна-то Ивановича? — с полуслова понял Матвей Макарович. — Беречь его ковры, беречь надо... Ведь государственный человек. Ведь все уже описано.

— Как это... описано?.. — помедлив, переспросил Дмитрий, хотя понял смысл этих слов.

— Самым законным образом. Судебным следователем, — с каким-то тайным удовольствием добавил Матвей Макарович.

Дмитрий недовольно передернул озябшими плечами, и Матвей Макарович догадался о его недовольстве — ничего больше объяснять не стал. Он провел гостя без лишних слов в хозяйкину горницу; здесь пахло блинами и деревенским уютом. Все, как бывало и в забережном доме. Но уже замечались и городские перестройки, шкафчики-полочки, буфет, даже гнутые стулья вокруг кухонного стола. Вместо завешенной ситчиком переборки, отделявшей чистую половину от кухонной, врублена филенчатая дверь. Крашеная, наглухо закрытая. Дмитрий хотел было осуждающе похмыкать осипшим горлом, но слева увидел привычную печь: стало быть, было и запечье. Он — прямиком туда.

— Надо же! Целиком перевезли?

— Печь-то?.. Да нет, конечно. Заново ставили.

— А будто с места не трогали!

— Без показа живем, без показухи Демьяновой...

Матвей Макарович осекся, опять заметив недовольное подергивание плечами. Но это так — Дмитрий силился стянуть с плеч дождевик. Матвей Макарович помог снять брезент, потом и кожушок, развесил все мокрое тут же, в теплом и просторном запечье. Рукой на умывальник указал. Хороший такой умывальник. Вроде крашеной тумбочки; такая же крашеная раковина — не видно вонючей лохани. Но рукомойник-то — рукомойник еще деревенский, на толстой медной цепи, с медными захватанными горлышками. Руки так сами и потянулись.

— Погоди, я теплой воды налью, — догадливо побежал к самовару хозяин.

Он с полотенцем наготове постоял, кажется, и сам умываясь вместе с гостем — такое уж свойство имела теплая домашняя вода.

А тем временем и Макаровна с лошадью управилась.

— Как хорошо-то, Митя! Вот к слову-то! Вспоминали мы тебя, вспоминали, мой голодненький... Да после, после об этом, — принялась она усаживать его за стол. — Какие разговоры на пустое брюхо? Мы блинов как раз напекли. Хочешь, верь, хочешь, не верь — тебя ждали. Тебя, Митенька! А ты уж тут как тут... Господи, до рубахи мокрешенький... Матвеюшка? Ты чего не переодел? Тащи, тащи свою рубаху. Да к блинам-то, к блинам-то чего нибудь! Вот недотепа, — ласково поругала она гремевшего у буфета мужа. — У меня-то все горяченькое, а у тебя, Матвеюшка?..

— И у меня горяченькое, — неторопливо, но проворно обернулся от буфета Матвей Макарович. — По такому золкому вечеру уж как не погреться за блинами?..

Блины так на душу и ложились. Душевными вышли и разговоры. Где с рукой на плече, а где и с кулаком по столу. Но без обид и нареканий. Не Демьян Ряжин — понимающий человек. Дмитрий охотно спускал ему лукавство. Как не полукавить с председателем? Помочь с шефами Матвей Макарович, конечно, не мог, а во всем остальном договорились. Странно, но перед этим хитроживущим человеком никакой опаски Дмитрий не чувствовал.

— Ты нас, Митя, не опасайся, — и Макаровна по другому плечу поглаживала. — В наши хитрости не вникай. Твое дело председательское. Мы твой авторитет побережем.

— Побережем, — не оставлял сомнений и Матвей Макарович.

Назавтра, прощаясь, он даже совет дельный дал:

— Вот видишь, Демьян-то Иванович? Возьми на зубок его урок и всю нашу закупочную документацию береги покрепче, чем женушку. Хоть и Макаровну даже...

Его Макаровна слышала, но не сердилась...

Убогонький дедок Ермила — из той самой из Красной Сельги — отъелся на внучкиных трудоднях и вдруг сам показал прыть: корзинки начал плести. Ни греха, ни смеха в том еще не было: все имеющие руки могли на досуге согнуть прут, эка невидаль! Смех начался, когда Ермила объявил, что деньгами колхоз завалит. Дмитрий вдоволь потешился: если бы да кабы, да на старом языке росли грибы, на носу варилися, да прямо в рот валилися!.. Дед Ермила присказку, оказывается, и без него знал. Ты, говорит, не скалься, ты, говорит, послушай. Денежки ведь! И Дмитрий, терпеливый такой на зимнем досуге, выслушал приблудного дедка. Отъелся, старый хрыч, ну ладно, давай! Авось и вместе посмеемся. Авось чего такое и загнем, хоть дуги, хоть прутья!

На дуги у Ермилы силенок не хватило — по прутья покатил. Лошади были свободные, дал Дмитрий, а в пойме реки Оклятой, особенно по низам, прут этот под косилку вместо сена вали. Дмитрий даже Самосеевых ребятишек для забавы к дедку пустил; и то еще имел в виду: не заснул бы в дороге слишком шустрый дедок, не загубил бы вместе со своей и лошадиную душу. Не загубился ведь, вот что интересно! После такого ползанья по зимним ивнякам денек, правда, отлеживался на печке, а потом баню начал топить. Дело привычное, если с простуды; так думал Дмитрий. Только Ермила не кости свои парить надумал— осмурыженный ивовый прут. Корзинки ему привиделись отнюдь не картофельные — ладные такие грибные и ягодные побирушечки. И хоть сезон грибов и ягод давно прошел, вездесущий Матвей Макарович пронюхал про эту затею и сейчас же договор предложил: мы, мол, эти корзиночки отправим туда, где ягода виноград произрастает, но где ивовый прут не растет. Плети, Ермила, плети на здоровье, родной! Уже привыкнув к расторопности своего кооператора, Дмитрий посмеялся: как же, держи карман шире! А посмеявшись, опять кармашек, хоть и махонький, все же приготовил и плетеную Ермилину поделку с первой же оказией в Череповец, на пробу, отправил, а смекалистый Матвей Макарович, тоже на пробу, переправил избишинские корзиночки куда-то на юг, откуда и прилетела ласточкой телеграмма: никому другому не давайте, всю продукцию сами забираем! Дмитрий поменял смех на дело. Старые глаза деда Ермилы телеграммой поласкал и тут же решил:

— Кончай в бане париться, будем ригу палить.

В одной из пустых по зимнему времени риг поставили большущий чан, в котором раньше лен бучили, и стал дед Ермила бучить тем же порядком ивовый прут. Когда к нему однажды заглянул Дмитрий, не увидел деда — пар в потолок шибал. Известно, в чан кидали раскаленные камни. Тут же Самосеевы и другие ребятишки крутились, словно им школьного дела не было.

— Не сваришь чертенят-то? — опасливо походил вокруг шипящего чана председатель.

— Чего им станется!.. — весело ответствовал устроитель этого ада.

Глядел на него Дмитрий и думал: надо беречь золотого дедка, деньги сулил немалые... если не помрет под зимним кустом, конечно. Потому и запретил ему Дмитрий по кустам шастать. Прута и палок черемуховых и бабы нарежут, а дед пусть в тепле сидит. Да и не в одиночку, а хоть с теми же ребятишками. Чего им дурака по зимнему времени крутить? Авось и прутья покрутят.

Самосеянная орда за дело взялась охотно, но ведь известно: мал мала меньше. Разве что Венька. Этот сразу же в дело вошел и обещал заменить деда Ермилу, если тому вздумается помереть.

— Подменишь ведь, Веня? — при деде всерьез допрашивал Дмитрий.

— Подменю, Димитрий Климович, может без сомнения помирать,— столь же серьезно и новоявленный мастер отвечал.

Дед Ермила в горячем пару ласково посверкивал глазенками и только советовал:

— Еще сыщи ребятишек-то вроде Веньюшки. Больше-то года мне не поскрипеть. Слышь?..

Как было не слышать! При каждом шаге коленки у деда Ермилы, хоть и распаренные вместе с прутом, производили такой скрипоток, что ясно было: отслужили свое.

— Вот то-то, Димитрий Климович. Ты уж не обессудь.

— Какая обессудица! Золотой ты мой дедок... — обнимал Дмитрий невесомые плечи и крепко задумывался, видя, как внучка кормит его с ложечки.

С внучкой тоже творилось что-то такое непонятное. За прошедшее лето она года на три сразу подросла. Вместе с телом нагулянным и глаза женские разгулялись — постреливала в председателя. Сидя, бывало, в конторе за столом, он грозил в ее угол:

— Ты, Лизунька, смотри! Вера-то моя знаешь какая?..

Воскресшая, жизнью обиженная Лизунька, наверно, знала, если при каждом появлении Веры затаивалась как мышь. Что делать, некому поулыбаться — разве что председателю... Дмитрий и так уж ее жалел:

— Вот Юрка-то Ряжин! Зря, стервец, в Череповец укатил...

Да, не выехать золотому дедку на одном Веньке. Надо поискать еще помощников. Опять в подопечный детдом привела председателя забота.

— А что? — согласился сразу Максимилиан Михайлович. — Тоже дело. Только я ребятишек в деревню не пущу. Они государственные.

— А дедок? — напомнил Дмитрий. — Без него-то никак не обойтись... хоть он и не государственный, как ты говоришь...

— Да не говорю я этого! Вот прицепился.

— Прицепился не прицепился, а понимаешь ты что-нибудь в корзинах?

— Не более вороны, — указал Максимилиан Михайлович на зимнюю попрошайку, копавшуюся в мусорном ящике.

— И я не более воробья, — сказал Дмитрий, запуская снежным катышом в другого, крутившегося возле ящика попрошайку.

Воробей и ворона с неудовольствием отскочили от ящика, возле которого привыкли подбирать детдомовские крохи. Как, уже и возбраняется?

— Знаешь что, прижимистый ты председатель: вези сюда дедка!

— Знай и ты, зажимистый директор: не рассыпался бы в дороге!

— Ничего, дедки — они живучие. А в случае чего, и попридержим. С ложки по крошке — ему и хватит. Вези.

И подошедший Прим Иванович подтвердил:

— Ничего, присмотрим. Самое место ему здесь. Я по пруту не спец, но подрубить где да подстрогать — это могу. Отведем в столярке угол, а рядом парильню устроим.

Так вот с пустого вроде бы разговора и родилась при детдоме еще и корзиночная мастерская. Дмитрий с огорчением видел, что парники отходят куда-то на задний план, а все теперь вертится вокруг корзинок да плетушков. Матвей Макарович самолично сюда прискакал и потребовал прута — покажу, мол, что делать надо. Показывал он так, что вороны да воробьи с крыш покатились, — деревянные руки гнули-ломали деревянные прутья! — но задумку его нетрудно было понять. Где уж он углядел, но углядел красиво: этакая городская сумочка, вроде пестерька, с крышечкой на березовых петельках и с березовым же замочком-вертушком, да и не голая, а лаком крытая. Лучше, повздыхал Матвей Макарович, даже разноцветным. Баско будет, баско! Но при таких больших фантазиях и дед Ермила почесал затылок:

— Пестерюшку такую сплету, хоть и самую дамскую, а уж разукрасить — не разукрашу. Чего не могу, того не могу.

Опечалился, наткнувшись на препятствие, Матвей Макарович, забеспокоился и Дмитрий Окатов. В самом деле, денежки, они красоту любят. Хоть сам садись да расписывай!

И тут при общем ворчливом сопении подал голосок мастер Венька:
— Были бы краски. Чего не покрасить?
— Да будут, будут! — с готовностью согласился Матвей Макарович. — Мажь, Венюшка, мажь поярче!
Но поначалу сильно перестарался Венька: череповецкие модницы не захотели брать его мазню, и пришлось кооператору отправлять ее куда-то с глаз долой. Но потом, видно, понял Венька, что не сметана же краска, не ложкой ее черпать! И научился тонюсенько натирать прутки — ветошкой, мяконькой. Уж так тонко, что они как живые переливались. А когда для контрасту вел каймой какой-нибудь темный пруток — он так гербовыми десятками и ложился. Начали, начали раскупать дамские пестерюшки! Прямо сиял отчетными счетами оборотистый кооператор.
— Ведь что человеку надо? — размышлял он. — Человеку после такой войны жить захотелось. А на череповецкую стройку деньги сугробами намело. Значит, подметай сугробики, не ленись. И горожанам удовольствие, и нам прибыток. Ничего! Я там позыркаю, может, еще что угляжу.
И углядел-таки, торгаш глазастый! Некоторое время спустя опять весь в пене, как и его лошадь, на берега Оклятой прискакал.
— Что самое главное сейчас в Череповце? — с какой-то даже торжественностью спросил он, зная, что не ответят.
Максимилиан Михайлович было — завод, Дмитрий было — еда, Прим Иванович с ухмылочкой — кровать двужильная, хоть железная, хоть деревянная! И вышло, все в небо пальцем тыкали, хотя Прим-то Иванович поближе всего...
— Не кровать, а уж кроватное... — не стал томить Матвей Макарович. — Дети, как зимние грибки, растут в Череповце. А деткам что зимой надо?
Тут и без его подсказки сообразили: саночки, что же еще! А дальше пошло-поехало: саночки, да ладненькие, да крытые плетушком... Тут уж не десяточкой пахло, побольше. Вспомнили, что в хорошие времена и по деревням такие плелись да ставились на детские полозки. Э-эх, вороные, да на родительской постромочке!
При таком повороте дела первое слово встало за Примом Ивановичем:
— Да-а... — с какой-то печальной обреченностью подтвердил он.— Легонький-то полозок не из березы гнуть — из можжевелы. Наползаешься в снегу!
Однако и возражал он — как за дело уже брался. Так вот к корзинам и дамским пестерькам и саночки по морозцу подкатились. Вначале тоже были тяжеловаты и грубоваты, а потом все лишнее с них сошло — явились невесомые полозочки, прикрытые сверху тончайшим и разукрашенным плетушком. Как паутинку ткали, из самого детского хлыстика. А как пошла на них мода — тут уж Максимилиан Михайлович заохал:
— Да у меня не детдом, у меня детская выжималовка!
Его не убеждало, что детишки-то охотно возились в мастерской: дело с бездельем играючи сплеталось.
— Мне их учить надо, — стоял на своем заупрямившийся директор. — Учить, Димитрий Климович!
Пришлось поумерить пыл. Но жаловаться не приходилось: новоявленная счетоводиха, Лизунька Авдулова, не оставалась без работы. Как и Ермила Авдулов, воскресла в Избишине и вдруг, такая повадливая, всю власть над деньгами взяла. Костяшки на счетах под ее окрепшими руками так и повизгивали от радости.
— Дмитрий Климович, — сказала она сегодня, — как бы нас не раскулачили?..
Вот с таким уж понятием в восемнадцать лет! Дмитрий Окатов, ко всему настороженный председатель, заново просмотрел счета. Да, понабралось, понаскреблось родимых! Да... Но могли с района, а то и с области подкулачить за милую душу... Могли! Доходы-то от этих мастерских складывались в хорошие нули, и хоть немало перепадало детдому, основное, конечно, на колхозный счет поступало. Надо было срочно растрясти завистливые нулики. Молотилку с веялкой, болотный плуг с молочным сепаратором, лодку с мотором — он в мыслях своих давно присмотрел, а оставалось еще и на разживу. Все кровные денежки под плуг, даже под болотный, не запашешь...
— Денежка моя! — шутливо приобнял он повзрослевшую счетоводиху. — Видно, как у сороки-вороны: надо кашку варить, надо деток кормить...
— Надо, Димитрий Климович, и деток, — посмотрела на него Лизунька засоловевшими глазищами.
— Боюсь я тебя, денежка моя, — признался Дмитрий. — Замуж бы тебя, да за кого?..
— Да, за кого, Димитрий Климович? — так опять посмотрела, что он опрометью выскочил из конторы.

Вот ведь как, думал по дороге Дмитрий, если нет худа без добра, так нет и добра без худа. Поприбавилось денежек, понабралось в кошель, который теперь уж для красного словца, деньги-то в банке лежат. Считай, колхозник, считай, председатель... Но и начальство смотрит-пересчитывает. А начальство, оно от районной Мяксы — аж до самой столичной Москвы. И если на каждом увале-перевале эти малые колхозные денежки, добытые потом, слезой и запроданной председательской совестью... да, запроданной, чего уж там... если крохи эти даже жалеючи пощиплют — все равно от них ничего не останется. Детишкам-детдомовцам вместе со своим стражем-директором, Приму Ивановичу со своим семейством и дедку Ермиле с Лизунькой, всем этим Самосеевым Венькам да Санькам — против казенной руки не устоять, нет. Ради добра общего укажет эта рука, укажет верное направление и кровные денежки подгребет. Куда с ними деваться? На трудодни не раздашь, вот беда, ведь посадят в таком случае председателя, да и банк не выдаст наличными. В глухие амбары, как подгнивший ячменек, про черный день не спрячешь. Деньги не гниют и не прячутся, а если и начинают в прятки играть, так выходит, как у Демьяна Ряжина, — слышно, заигрался мужик, десяток годков, уж не меньше, пай-мальчиком поживет. А ему, Дмитрию Окатову, чего в пайчики играть? Ему и так хорошо жить да Веруньку обнимать, чтоб до самой геройской медали...

Но и столь хорошая мысль о Веруньке ничего из головы не вышибла. Деньги! С деньгами, такими желанными, куда сунуться?!

Видно, от душевной сутолоки и сунулся он вниз по реке Оклятой. Казалось бы, и весь путь ее — из забережных заруделых мшар в новое Избишино и от него — к Избишину старому, теперь уже бывшему, теперь уже морем замытому. Но все равно этот семикилометровый путь она умудрилась вчетверо размотать — уж такая река клятущая. Носит ее, как бабу непотребную, из стороны в сторону, шатает, крутит по диким уремам и по немереным заливным лугам. Вся пойма колхозу принадлежала, но даже у председателя не хватало времени пройти ее целиком. Подкашивали в верховьях у Избишина, вытаптывали маленько в низовьях, а середины уж никто и не помнил. Говорили, деревеньки там, как бусы рябиновые, по бережку краснели — не одна же только эта Красная Сельга, — но кому о том знать? Бывалые знатоки-охотники закончили свою последнюю охоту на Волхове или на Неве, а новые не успели подрасти. Подкашивал колхоз вблизи своих дымков, и только. Дорога туда была как бы и заказана, но дорога вполне проезжая, тем более по мвлоснежной зиме. Испокон веку вдоль рек дороги мяли — не могли же они, даже и со времен коллективизации, непролазно затянуться. Жеребчик легко находил по-зимнему оголившуюся просеку, подми-

нал копытами березовую и ольховую поросль — трава для него, не более. Пошевенки на железном полозу, ходкие. Как и летняя таратайка, сработаны легкой рукой Прима Ивановича. Н-но, вороные, н-но, председательские!

«Сенов-то, сенов остается под снегом...» — озабоченно думал Дмитрий, оглядывая расширяющуюся пойму. Здесь, судя по всему, до тридцатых годов крепкая деревня была; разбросало на стороны уже ветрами раскулачивания. Но два несокрушимых пятистенка и сейчас стояли под тесовыми крышами, значит, приют в сенокосную пору есть. «Э-эх, хоть с десяток бы лишних рук!» — помечтал Дмитрий о том, о чем попусту мечтать не приходилось. Пока не подрастут все эти Веньки да Андрюшки, Надюшки да Аксюшки, здешние сенокосы не достать. Малоснежье только осыпало уснувшие луга — всей толщи травы не задавило. Две-три лосиных бороды поднялись от заспанного сенокоса и недовольно посунулись в кусты; лоси эти давно уже людей не видели, лишь из уважения к председателю, хозяину этой земли, и уступали дорогу. Кажется, даже бурчали: самое время поесть подснежной травки, а тут всякие-разные шатаются! Даже жеребчик на ходу прихватывал выпиравшую из-под снега траву; Дмитрий ему не мешал, присматривался. Река Оклятая в этом месте и не думала замерзать, шумно катилась на каменистом переборе. Дмитрий распознал остатки свай, развалины амбара и понял, что тут была мельница. Воду сжало в поднявшихся крепких берегах, с шумом несло к морю.

И дальше все повторялось: лес, лесок, а потом опять луговая пойма с коренными глинистыми увалами, сквозь которые и приходилось прорываться Оклятой. Берега были не настолько крепки, чтобы сдержать бег воды, но и не настолько слабы, чтобы размыться под ее вековой силой. Узкий проток, бешеный. К тому же поднятый донным, каменистым перебором. Дмитрий уже не сомневался, что и здесь стояла мельница. Так оно и вышло: сваи, каменья, черные бревна по сторонам. Изб от деревеньки, правда, не осталось, но очертания ее угадывались по заросшим домам-могильникам. По сторонам их несокрушимо высились столетние березы. Люди ушли, а куда уходить березам? Домам? Видно, были не новы — не стоили того, чтобы перевозить. Лес в округе, считай, даровой, а уж если в Череповец, в Вологду, в Карелию или на шахты людей понесло — тем более лихим, подкулачным ветром — тогда и вовсе какие дома? Щеколду без замка, одной прощальной слезой прикрыли — да и с крыльца долой! Дома стояли без призору, сколько стоялось, а потом с обиды рухнули на колени, а потом и ничком легли, увлекая за собой и печи. За неимением кирпича били их по большей части из местной глины, с увалов, через которые прорывалась Оклятая, а глина есть глина, размылась дождями, оплыла на развалины могильными холмами и пустила шустрые березки. Так это все теперь белыми волнами и катилось обочь реки Оклятой: вековые березы, березки, холмы, домовые холмики... Не знай, что жили здесь люди, не грусти о прошедшей жизни — прямо залюбуешься! Красивые места, привольные.

Но у председателя и красота — особенная. Любовался он вроде бы березками, а посматривал на реку. Была она с норовом. Как луговое раздолье — притихала, уходила под лед и закрывалась снежком: все, нетуньки! А как очередной перебор вставал на пути — просыпалась, бурчала спросонья и, сбросив снежное одеяло, слепо шаталась в теснине. Ревела в таких местах река, ярилась. Уважительно поглядывал на нее Дмитрий, соображал. Дурная сила! Но — сила ведь? Попусту, зазря неслась она по его, председательской земле...

Напрасно было обижать Дмитрия Окатова замечанием, что земля эта, пойма эта, вроде бы и не его собственная — колхозная. Разницы особенной он не видел, различия никакого не делал и выгоды хоть малюсенькой от своей слепоты не имел. Целое поколение послевоенных горемык изойдет, прежде чем на смену им явятся новые люди, в хороших городских костюмах и галстуках; эти люди и почувствуют — остро и щемяще — свою выгоду и, ничуть вроде бы не кривя душой, погребут колхозные волны к своему собственному берегу, как вот эта река Оклятая. Такая многовековая, независимая река упилась властью — как не упиться человеку, которому и единого века на пути не дано... Нет, чего уж там, слаб человек; не крепче — и властью облеченный. Придет время, придет на эти берега новый, городской выправки хозяин и, не отводя от реки глаз, — выгоду ее, как свою собственную, и оценит, и примет. И будет считать, что не река, а он облагодетельствовал род людской, а потому и благо будет считать из собственного кармана розданным. Он, может, и не вспомнит своего послевоенного предшественника, своего затоптанного временем горемыку, но все равно, даже в годину полнейшего благополучия, будет чувствовать проклятую качку совести — челнок на волнах Оклятой, не более. Пусть и в полном упоении, при полной власти у руля, при полном знании и предвиденье фарватера и всех береговых, охранительных знаков, вдруг как бы подводная волна шибанет: вдруг зашатается и уйдет из-под ног земля... То — знак прошлого, ни от чего и ни от кого не охраняющий: знак неминучей беды. Прошлое заобижалось, прошлое взныло. Не кичись, гордый правитель, наивный временщик! Жизнь на этих оклятых берегах будет после тебя, но была ведь, была и до тебя — вглядись-ка, всмотрись-ка в волны времени? Что с того, что они заклятые?! Не исходи гордыней, ты не река вековая, ты просто человек, временем истекший по этой земле. Река — она может течь и через века, ты — только от поколения к поколению, как от одной деревни к другой, все вниз и вниз по течению... От одного речного колена до другого. От поворота до поворота. И часто сослепу, и часто сдуру, как вот эта река, да еще и похуже, попрешь по чертомыжнику, по гибельной топи, вывертывая и изловчая свое жалкое тело. Отсюда и твои переборы, отсюда — такие перепады, что здравому уму непостижимо. Ты хозяин нового времени, ты вышел на равнину, ты спокойно и планомерно катишь свои воды? Как знать, как знать... Не забывай прошлые изгибы-перегибы, ни один житейский перебор из памяти не упусти. Для науки они, для твоего же блага, осчастливленный потомок! Не наступи самодовольной ногой на прошлый прах. Слышишь, тебя из глуби толкает? Это волна реки Оклятой, реки времени; это тени с ее берегов, изработанные, измолотые жерновами твои предшественники — увы — не такие и далекие... Не кичись поэтому Тимирязевкой, не круши старые, изгнившие сваи на своих берегах, как не сокрушил их и твой предшественник. Он думу думал, глядя на сгнившие зубья времени...

«Свая! — кричал он сам себе. — Значит, было и колесо? Значит, была и плотина-переборина? Была жизнь на этих берегах?!»

Сломанное колесо не крутилось — забухло от бешеной воды, замокли мысли Дмитрия Окатова. Он вроде бы знал, что надо теперь делать, но вроде и не догадывался. Догадка была слишком тяжела, неповоротлива, как и валявшееся в бешеной воде колесо.

Дмитрий соскочил с саней, забрел в воду и хотел приподнять колесо. Напрасный труд! Ясно было, одному такую тяжесть не выворотить. А он силился, все силился оборот встречный поток. Не оборол и только вымок до ушей от брызг, от бешеной пены. Но с хохотом, с гиком, пугая лосей, покатил вниз по Оклятой, к запахам детдомовских дымков. Ну прямо бешеный, как река Оклятая.

— Электростанцию надо строить, вот что! — обдал он своим зимним вихрем встретившегося у теплиц Прима Ивановича. — Тогда все будет. Свет будет, огурцы будут. Солнышко будет. Солнышко, голова садовая! — нахлобучил он шапку подвернувшемуся Веньке.

Венька позыркал на небо, но солнышка не увидел. А белесый от стружек Прим Иванович увидел и вовсе простое:

— Переодевать тебя надо, Димитрий Климович! Иди к деду Ермиле в парилку.

Вот так и закончилась бешеная скачка по реке Оклятой. Вот так и пóтом изошла, казалось бы, хорошая, на реке же родившаяся мысль...

Дмитрий уснул под горячим тулупом, мрачно затих. Но все равно ему и сквозь черную ночь солнышко воссияло. Так и разлилось над всей рекой Оклятой, как радуга-дуга; один конец у старого Избишина, другой у нового, а сама она — над лесами. Солнышко жаркое, но ручное, как керосиновая лампа. Поверни фитиль в одну сторону — и загорается ярким пламенем; поверни в другую — и катится к темной, холодной ночи. Уж такое, домашнее солнышко. Нарадоваться не мог Дмитрий, крутя послушное колесико фитиля.

Как ни странно, его начинаниям мешал сумасшедший дед Пыхто: земля колхозная вплотную подходила к окраинам все расширявшегося заповедника. В мире, видно, любили сумасшедших — маленькому, тщедушному Пыхто удавалось то там, то здесь прикусить солидный кус. Благо, что глубь Забережья лесная, а на берегу все еще Рыбинское море куролесило: то наступало, то отступало, внося межевую неразбериху. Границы трех сходящихся земель — вологодской, ярославской и тверской, — подпорченные еще и затопленной рекой Мологой, настолько стерлись, что грозили межобластной войной. В зимнее время да на санях Пыхто мог свободно за один день в трех областях побывать, за малолюдностью этих мест нигде не встречая отпора своим непомерным претензиям. На развалинах бывшей новгородской вотчины он создавал птичью да звериную. Раздолье! Бери что хочешь. Ни в ярославской, ни в тверской стороне не увидят и не услышат. А уж вологодский угол этого Забережья и вовсе запустел. Пыхто и сюда помаленьку подвигался. Пойма реки Оклятой, напрямую связанная с морем, явно манила его.

Дмитрий Окатов не раз уже встречал следы быстрых кованых пошевеночек. Кому иному тут шастать? Кажется, придавил бы этого ученого таракана, встреться он на глухой дороге! Но неуловимый Пыхто не встречался — знай втихомолку ставил свои грозные пограничные столбы с красной надписью: «Заповедник». В гневе Дмитрий забывал, что медведи, волки, лоси и все прочее зверье давно уже стало охранной дружиной никем не охраняемого Пыхто. Видно, чувствовали твари господни, что он их единственный хозяин и благодетель — если не считать, конечно, куда-то запропавшего бога-творца. Иначе как понимать? В округе то одного, то другого, даже с ружьем, насмерть до лохмотьев задирали, а Пыхто разъезжал лишь с посверкивавшим биноклем. Интересно, как стал бы этим биноклем отстреливаться, заступи ему дорогу волк или медведь! Не заступали косматые, берегли своего охранителя. Кажется, и сговор такой имели: этого брезентового человечка — ни-ни, ни зубком, ни коготком! Пользуясь малоснежьем, он пролетал на быстрых пошевеночках, помечая в своих тетрадях следы и мерзлые катыши. Ближе других к нему Максимилиан Михайлович — грустно похмыкивал, но председательской злостью не заражался. Зато Дмитрий за последние дни совсем изошел. Нашествие заповедного Пыхто могло начисто сорвать его планы.

Минувший зимний месяц не прошел для него даром: начатая тайком электростанция уже вовсю сияла в его воображении. Свет разливанный растекался по всему Забережью, а Пыхто собирался этот свет погасить. Дмитрий все пороги в Череповце обил, выпрашивая то самое железо, что накручивает электричество, а дед Пыхто весь окрестный осинник извел на столбы, что это же электричество смертным кругом столбили. Он, председатель, по легкой зимней дороге возил на берег Оклятой, на самый крутой, любовно выбранный перебор, лес и камень, песок и береговую гальку. Зима слабая, пожалуй, самое время валить плотину и копать боковой водосток — главное, что может задержать. Вместе с Примом Ивановичем они обували болотные сапоги и тыкали

ломами прибрежные склоны — вода и пар, поднимавшийся на переборе, не давали промерзать откосам, значит, без особого труда, по холодку да при свободных руках, можно прокопать водосброс, а если и не успеют до конца, так весенняя вода остальное дороет. Вот устоит ли сама плотина, наваленная в зимнее время? Прим Иванович говорит, что устоит, особенно когда снимут мерзлую землю до тепляка, да камни в основание покрупнее набузуют, да жирной глиной пазы забьют. Веря и не веря колхозному строителю, Дмитрий Окатов положил себе: хоть на денек, да привезти из города инженера. Да кого и привозить, коли не Демьяна Ряжина? Теперь уже не гордый, приедет. Жизнь прищемила закрутной хвост.

Думая про все это, он подводами таскал с моря валуны. Зима еще тем хороша, что не на телегу — на дровни грузить. Низко. Здесь даже женщины управляются. Капа-Белиха, ставшая опять Черной Капой, да Антонина — несокрушимая Праведница. Им помогали на берегу Прим Иванович да Самусеев — камни по осклизлым доскам, да на дровёшки, которые по полозья в снегу увязали. А уж кувырнуть их на Оклятой — просто забава. Можно бы и ребятишек, вроде Веньки, послать, если бы не боязнь, что расшалятся да ноги себе отдавят.

Капа и Тоня как раз навстречу попались: сидели обе на первых дровнях, а вторая лошадь сама собой шла.

— Чего Рыжуху насилите? — недовольно заметил им Дмитрий, сворачивая в объезд.

— Другой раз Ворсна повезет, не переработается, — ответила Тоня.

Капа промолчала по обыкновению. Давно уже ее голоса не слышали. Голова поверх шерстяной шали каким-то вдовьим платком затянута, поистине черная...

— Капа, — прямо уже ей сказал, — ты на меня не обижайся, если чего кричу.

— Не обижаюсь, Димитрий Климович, — подала она на этот раз из шали голос.

Он постоял, посмотрел на нее, не находя больше слов. Совсем головой о камень ударилась баба!

— Тоня, ты присматривай, — ухватив вожжи, с другого конца зашел он.

— Присмотрю, Димитрий Климович, не беспокойся, — ответила.

А ведь было беспокойство незряшным: говорили женщины, из петли вытаскивали. Да надолго ли?! Этого ни председатель, ни сам господь бог не знал. Никому не желал смерти Дмитрий, даже деду Пыхто.

По свежему следу, проложенному приметными пошевенками деда Пыхто, Дмитрий нашел его живого и невредимого — сам себя отпевал, стоя у ручья на валуне, который мог бы половину плотины заменить.

— Умирать-то погодите, — осадил Дмитрий жеребчика. — Поговорить надо. Ишь камнище! Два-три таких своротить — и плотина готовая.

Дед Пыхто недовольно слез с камня и опустил бинокль.

— Вам бы, председатель, только все ворочать!

— Да не осилить этот камнище, нет, не свернуть...

— Вот-вот. То и утешает.

А чего удивительного? Разговор загорался совсем не так, как зажигал его Дмитрий. Не с дурной же спички начинать!

— Костерок-то не возбраняется? — подавив свою окаянную душу, схитрил он.

— Чего бранить, если по-доброму.

— По-доброму, по-доброму, — заторопился Дмитрий, обминая снег на сухом берегу ручья.

Он и за хворостом сам сбегал, и валежин самолично приволок, и сенца на растопку подсунул. Спичек только не успел найти — Пыхто зажигалкой-кресалом щелкнул, выбил сухое, быстрое пламя.

— Лихо! — похвалил Дмитрий.

— Воистину лихо. Такой вот искрой можно весь мой заповедник спалить, — поморщился Пыхто.

— Ну, если без головы... Я-то любому из своих шкуру спущу, если с огнем безобразить начнет.

— Лихо... — на этот раз улыбнулся Пыхто. — Сие и мне по душе.

— Вот-вот. В лесу живем — лесом и живы. А потому — береги. Хоть бережок, хоть дерево, хоть и камень такой вот... — прислонился Дмитрий спиной к еще холодному валуну. — Кто-то же поставил его... Лучше бы прямо на переборе!

— Лучше? Хотите... я вам его и переставлю?

Брезентовый дед тоже прислонился спиной к камню, уже поднагревшемуся. Оседая на охапку предусмотрительно брошенного сена, даже неизменный брезентовый плащ распахнул — под ним открылся легкий и жаркий лисий кожушок. Бахвальство столь очевидно, что Дмитрий не утерпел:

— Зверье защищаете, а сколько лисок на плечах?

— Полдюжинки. Но, заметьте, все они добыты по строгим охотничьим правилам. В пределах здравого смысла.

— Будто лисе легче, если ее по здравому смыслу кокнут!

— Ехидный вы человек, председатель, ехидный...

— Как не поехидничать? Вон камешек-то уже поехал!

— А что, и поедет. Хотите пари?

— Да я хоть весь колхоз заложу под это пари!

— Весь-то и не надо, а только пойму реки Оклятой. Сможете?

— Мо-ожно... — напрягся Дмитрий. — Только без луговой части. Сами знаете, косить нам надо. Скота больше заводим, на будущее лето доберемся и сюда — как без здешней травы обойтись? Вы, если что, отрезайте лесок, — широко, по-княжески повел рукавицей, — оставьте нам только луговину. Зверю-то, поди, и в лесу хватит места?

Пыхто был тоже озабочен, но чем-то и обрадован.

— Пожалуй, что и хватит... Если при хороших соседях.

— При хороших, при хороших! — понял свою выгоду Дмитрий.— Электростанция, да такая-то махонькая, какой от нее шум? Корова, да если за засекой, уж это ли не соседство лосю?

— Ловлю на слове, Димитрий Климович! — скинув рукавицы, обрадованно потер ручошки Пыхто. — Весной сразу и поставите засеку?

— Не весной, а лучше даже по насту. Легче ставить, голова! — потрепал председатель по такому же лисьему, как и кожушок, малахаю забавного зверозащитника.

— Ну, так и я камешек, — потолкался он плечом, — еще до весны в речку столкну. Лучше под самые крепкие морозы. По рукам, Окатов?

— По рукам... хоть и не верю, такой-то вы Пыхто!..

— Ну-ну, пыхтите, я не обижаюсь. Только чур — помогать! Невелика помощь, — остановил готовое сорваться возражение. — Пяток ребятишек на забаву.

— И всего-то?..

— Ничего больше не потребую, недоверчивый председатель... — Пыхто вдруг нахмурился, встрепенулся: — Слышите? Выстрел... второй... третий... Так лося добивают. Лося! Ох, люди, люди...

Недоговорив, вскочил на свои узенькие, везде пролетавшие саночки и умчался по просеке на отзвучавшие выстрелы.

А Дмитрию не оставалось ничего другого, как по проторенной, местами до земли истертой дороге ехать на берег. Так вроде бы и по кругу, а все равно до Избишина ближе, чем верховьями Оклятой тащиться. Да и на берег заглянуть не грех. Целую неделю не бывал.

И все же к морю он выскочил не сразу: о бережок Оклятой спотыкался. Можно было наобещать что угодно деду Пыхто — но можно ли так быстро сделать? К весне! Легко молоть председательскому языку — какова-то мучка будет... Лошади вон камень да лес для электростанции бузуют, сено с лугов занесенных возят, а скоро и навоз на поля по-

везут. Бабы частью за вожжами, частью на скотных, а там и со льном управляйся, если опять высшим сортом, на денежку, в Череповце сдавать. Засеку ставить — это целой оравой на целый день уходи; так всегда и делают — тяжкий общий праздник, вроде сенокоса В два-три бабьих топора ничего не нагородишь — какая огорожа! Значит?.. «Значит, опять к Айно на поклон», — безысходно решил он, зная, что по зимнему времени, на подледном лове, у рыбаков поменьше работы. Если поплакаться, да если того-сего пообещать, можно и мужиков на денек-другой залучить. Кланяйся, председатель, кланяйся! Дмитрий Окатов, уже научившийся бить поклоны, заранее почувствовал, как протестующе взныла спина. И не от стыдобушки — от проснувшейся скупости. Два десятка мужиков — это же накормить-напоить!.. Тут кухню ставь, тут бочки с горы катай — народ гулевой, веселый. К денежной зарплате привычный. Чего бы лучше — расплатиться-разлучиться, и с глаз долой. Но колхозная денежка, даже если и есть, особенная: ее по карманам не рассеешь. Иначе тюрьма взойдет, зарешеченной, непаханой полосой. Никто не давал ему права рассевать колхозную денежку, пусть и самую праведную. Никто... А почему?!

И задав себе этот простой вопрос, Дмитрий понял, что не сможет на него ответить. Такие вопросы были не для него.

Но когда он, измаявшись душой и пропотевшим телом, — по дороге не раз вылезал из саней, шастал по снегу, примериваясь к черте будущей засеки, — когда он лбом председательским наглухо в какую-то встречную березищу уткнулся, тогда и прозрел: эва, не ходи за море, ходи по своему бережку!

Быстрее поднявшегося ветра помчался он по намятому следу в детдом.

Максимилиан Михайлович встретил настороженно:

— Опять, вижу, по детскую душу? Не дам.

— Дашь, Максимилиан Михайлович, ты только послушай... — поторопился Дмитрий усадить его на подвернувшееся бревешко. — Не малышей, конечно, грешно малышей в лес! Но помнишь, ты от старшей группы отказывался?..

— Помню, — покашлял он под тяжелой председательской рукой.— Но что с того? Со старшей группой мне не совладать. Чего им в вашей дыре делать?

— А вот и не дыра! — широкой рукавицей отмахнулся Дмитрий.— А вот и свет недалеко. А как будет свет — и лесопилку наладим, и бондарку-столярку получше этого... — презрительно попыркал в сторону парниковых нагромождений Прима Ивановича. — Чем не работа? Пока пухом обрастают, мы уж и заводик свой, вполне по взрослым усам. Ты думай, думай, директор. Ты наперед смотри. С одной-то малышней и собственное хозяйство не удержать.

Задав такую задачу, Дмитрий поскорее в сторону отвалил. Когда директор один на один со своей выгодой останется, возражать-то и некому будет. Сам до праведной мысли дозреет, до Избишина то есть. Ведь для чего, для каких таких пирогов Окатов детдом затевал? Да все для того же: для забережного будущего. Из двух-то сотен хоть два десятка да останутся?.. Э-э, избишинские девки! Э-эх, мокроносые парнишки! Он прихлестнул жеребчика, направляясь в каменоломню Прима Ивановича. А сам все о том же, о молодой поросли. Если будет электрушка — будет при ней и крупорушка, и лесопилушка, и стукоток железный да деревянный. На этот стукоток-то, как на самый расхороший пляс, и прибегут уже в усы пошедшие детдомовские отроки, а за ними — и отроковицы. Да чего, и поплясать им даст — лучшие половицы в клубе под ноги расстелет! Значит, свет, свет поскорее давай!

В каменоломне он так принялся ворочать, что даже Прим Иванович подивился:

— Не сдуру ли, председатель?

— Не сдуру, а с радости, голова.

Но особой тут радости Прим Иванович не видел: камни ворочать — не пироги. И хоть была маленькая хитрость и сноровка — на этом прибрежном угоре дровни ставили пониже камней и камни брали накатом, — все же в ход пришлось пускать и ваги, и ломы. Зады у многих камней всосало в землю, вморозило. Тут крути-вертн ломиком. А мужиков-то, если не считать нагрянувшего председателя?.. Вдруг и единая самусеевская рука вспомнилась. Где она, эта гулящая?..

Лучше бы на тот час и не видеть ее, сиротливо засунутую в карман обтерханной шинели. Под ружьем гнали Самусеева, вместе с единственной его рукой. Махонький брезентовый Пыхто подгонял на своей быстрой лошадке. А Самусеев передом на дровнях, на которых лежала еще парящая лосиная туша, лесом рогов прикрытая...

— Все! — вскричал, соскакивая на снег, разгневанный Пыхто. — Больше невтерпеж. Бьете-то сообща. В круговой поруке. Бабы не знали, куда Самусеева отпускали? Вы, Днмитрий Климович?..

Прав был вскипевший чирьяком Пыхто. Знали все, какое мясцо оказывается в постных щах. Похмыкивал Дмитрий, поглядывал, бывало, на свою Веруньку, а ел. На пустой картошке да на таком-сяком обсевном хлебе зимой ноги не потащишь. Мясо — другое дело, оно жар к ногам гонит. У кого свинушка-телушка — у того и праздник в теле. Но свинушки и телушки, барашки и даже петушки, считай, подчистую на домовой налог ушли. Он, Дмитрий Окатов, н то из трех овечек две сдал, а сколько может сдать Самусеев, со своей-то самосеянной ребячьей оравой?.. Налоговый аркан йздали, из района и области, а может, и от самой Москвы, захлестывал каждую животину и стаскивал ее в невидимую общую кучу, превращая в какую-то недосягаемую, сверхобжорную колбасу. Но где она, в каких таких харчевнях? Правда, попадая в Череповец, Дмитрий находил ошметки своих бывших барашков, своих налоговых телочек и маленько отходил душой: вот же и недорого, и опять же масляными глазка́ми плавают во щах! Щи эти за последний год пожирнели, что говорить. Можно было и круг от общей колбасы отрезать и обычными денежкамн расплатиться, чего грешить против истины. Но то — горожанам, то — людям, убежавшим из деревни на зарплату... вроде Юрки Ряжина, нн дна ему ни покрышки! А какая зарплата у его названого отца Самусеева? У того же Прима Ивановича и Барбушат? Вот то-то и оно. Недосягаемой для всех их, взрастивших мясо, была эта государева колбаса, жарким свонм колесом катилась по другим, городским дорогам, по стройкам и заводам, по начальственным столам. Ихняя стройка — самотужная, бесколбасная, слава богу, хоть лосиным духом живет. Чего распыхтелся этот ссыльный защитничек?

— Вы не бьете лося — вы по лицензии в суп кладете! — кипятился Дмитрий. — Охо-хо, какие вы хорошие! А мы? Мы без всяких лицензиек, потому что камня на мякине не поднимешь. Вам бы только.., вместе с каким-нибудь Титовым-то!.. стращать да запрещать, а нам-то здесь жить да жить, на своей-то земле. Мало своих дураков, вроде Титова, так еще из Москвы да из Ленинграда нанесло. Говорите, оклеветанный, невинно пострадавший? Нет, если вы и там, в своих-то столицах, были таким же поганым защитничком, так совершенно справедливо вас вытурили... только надо бы подальше, хоть бы на льды северные. Здесь-то вам полдела, при мясе да при ружейной власти! — Дмитрий зло и непримиримо вырвал из рук Пыхто знакомое, щербатое ружьецо. — Только знать должны: Самусеева я вам не отдам. Фнгушки вместо лицензии! — хорошую такую дулю поднес под острый носик Пыхто.

Он, защитничек лосиный, ничего, стерпел. Закрыл очки ручошками и, кажется, заплакал — так показалось. Но когда открыл озолоченные стеклышки — сухо и тоже непримиримо выпалил:

— Помолчите... дубоголовый вы председатель! И никогда, слышите — ни-ког-да! — не трогайте моего ленинградского жития. — Он даже

ладошками, как малый ребенок, растер какую-то гадкую муху и прах ее отряхнул. — А что касается наваристых мясных лицензий... Разве я вам не давал? Разве забыл... тоже чурбак дубоголовый?

Дмитрий, все сразу простив, каким-то чутьем угадал его пристыженное самооправдание.

— Забыли, как есть запамятовали... А ведь обещали нашему колхозу эту проклятую лицензию! Мы скот свой в Мяксу да в Череповец гоним, а нам за то — лицензийку... Вспомните-ка, святой человек?! — Дмитрий понес эту околесицу с отчаянья, с угрюмого упрямства — не отдать пьяненького Самусеева на расправу, — а вынесло его на тот же бережок, что и устыдившегося лосиного защитника. Дальше уж слово на слово, как березовье на осинник, и полезло, и полезло: — Чего уж таиться, я велел Самусееву забрать причитающегося нам по лицензии лося. Не успели, что ли, бумагн выправить? А нам некогда, отощали без мясца... — любовно пощупал он еще теплого лося. — Мяса-то и я, сам председатель, целый месяц не едал. С картошки да капусты эти чертовы каменья ворочать?

Что толку пинать их! Камни были не меньше лосиной туши: маленькие повыбрали, приходилось большие брать. Они как раз катилн такой, да не удержали: камнище сломал отвод дровней и бухнулся вниз, чуть ноги перепуганной лошади не отдавив, — она отскочила прямо с обломанными санями и теперь настороженно косила глаз в сторону раскричавшихся людей.

Но, по правде, не сильно кричал Дмитрий Окатов; по правде, не столь заполошно, как прежде, похлопывал ручошками и крикливый Пыхто, словно и ему ноги камнем отдавило.

— Постойте, постойте — лицензия?.. — болезненно морщил он и без того морщинистый лобик. — Я вам вроде бы даже выписывал. А если не выписывал, так приезжайте в контору заповедника да заберите. На этого-то лося зачем? Этого волки загрызли. Не видите, все горло в клочьях?..

Дмитрий и в самом деле увидел тупо растерзанное, окровавленное горло лося и подумал, что Самусеев, видно, одноруко бился с живым еще зверем, — вон и шинель забрызгана, и шапка даже... Но подумав так, он и волка со скрытой радостью принял. Волки! Они, проклятые, конечно, они!

— В начале зимы в коровник даже забрались, — прятал улыбку Дмнтрий, — телку одну загрызли, пришлось заактировать...

— Вот и я говорю, — притопнул ножонкой Пыхто. — Акт составляйте.

У Дмитрия всегда была при себе полевая сумка, подаренная когда-то Самусеевым. А там и тетрадка, и карандаши химические, и печать колхозная. Усевшись на теплого лося, он под копирку быстро намахал акт — не зря же четыре с половиной года в школу ходил. Пыхто не читая поставил подпись и тоже свою печать пришлепнул. Получился грозный, неумолимый документ, который хоть до самой Москвы шли. Все равно получалось: бывший лейтенант Самусеев встретил стаю волков, напавших на лося, и храбро, прямо-таки бесстрашно разогнал их, но спасти самого лося не смог, потому и пришлось его зарезать в присутствии представителя заповедника...

Дмитрий хотел еще что-то сказать, может быть, даже и хорошее, деду Пыхто, но тот стегнул свою лошадку и умчался по гладкому бережку. Тупо и обреченно молчавшая Тоня, кусавшая руки Праведница, уже вдогонку простонала:

— Спаси тебя бог за наших детишек...

Да сам Самусеев, пьяненько покачивая натертой солдатскими ладонями фляжкой, запоздало посетовал:

— Выпить надо было бы с таким хорошнм мужиком...

Это председателя уже не касалось. Дмитрий тоже стеганул своего

жеребчика, желая поскорее убраться с глаз долой. С мясом разделаются и без него. Н-но, воровские-вороные!

Но и сотни метров не проехал, как с занесенной дороги, по которой в Череповец уже не ездили, вытащились усталые сани, а на них... на них сидели белорусский Юрась и та накрашенная ряжинская приживалка... да в тулупе лежнем лежал племянник ряжинский, Юрка.

Дмитрий кинулся к ним, но Юрась, даже не поздоровавшись, словно вчера только расстались, из последней усталости прохрипел:

— З самаго Минска небараку везу... пабили занадта... вось гэта Аленькая дапамагае... — кивнул на сидящую в изголовье женщину.

Пока Дмитрий, не дожидаясь помощи, перетаскивал несподручного в тулупах Ряжина на свои сани, Юрась и головой на передок свалился. Тоже чуть ли не на руках пришлось пересаживать.

Тем временем избишинцы набежали, заохали:

— Ой, да кто ж его, сердешного? Ой, да и глазки-то не глядят! Ой, да и не дышит ведь!..

Сопутница ряжинская от этого оханья подхватилась:

— Рано отпевать! И дышит, и видит... меня-то по крайней мере... Н-но, быстрые!

Она так рванула вожжи, что Дмитрий еле успел вскочить на запятки своих пошевенок. И уже оттуда перевалился в сани.

— Ну-у, сильна-а... ухажерочка аленькая!

— Помалкивай, председатель, — отрезала она. — Сама буду лечить, косточки ряженькому парить... Баня-то хоть есть?

— Есть, не дери глотку,— пришел в себя Дмитрий.— Кто такая все-таки будешь? Как зовешься-то по-настоящему?

— Зовусь зовуткой, величаюсь уткой... Тоже помалкивай! Сам гони лошадь. Я в изголовье посижу.

Она перебралась на сено и болтавшуюся голову Юрки Ряжина положила себе на колени. Знать, почувствовал несчастный, перестал елозить и затих до самого Избишина.

И то сказать: быстро, зло гнал Дмитрий. К дому Ряжиных-Самусеевых подкатили в пене — и жеребчик, и сам, с обмылком кнута в руке. Жеребчик, впервые так обиженный, косился: разве нельзя было по-доброму?! Э-эх, хозяин, хозяин!..

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Трудно и долго выбирался Юрий Ряжин из небытия. То ему казалось, что он носит и носит с побратимом Юрасем непроворотный бетон под какое-то сверхчеловеческое надгробие, то висит на какой-то ниточке тонюсенькой под крышей ледяного дома... Мог зависнуть рядышком и Сёма Смагин и ребром ладони его ниточку потюкивать, грозя в любую минуту оборвать; могла и Фима Аленькая, как закатное наваждение, всей ярью губ в усмешке раскрыться. Тогда Юрий беспокойно ворочал головой и просил: «Ты догорай поскорее, Фимушка». И она мгновенно сгорала. Как и не бывало ее.

Сегодня, после тяжелого закатного жара, Юрий то же самое:

— Ты гори побыстрее, мне спать хочется.

Но как ни тянуло ко сну, Фимушка на этот раз не исчезала. Фимушка явно живой голос подала:

— А быстрее-то некуда, я и так вся обуглилась, погляди.

Она верно говорила: головешечкой лицо взялось.

И когда Юрий понял, сказал жалеючи:

— Вот и хорошо, и ревновать не из чего.

— Смеешься, ряженький?.. Давай, давай — таковская!

Юрий что-то важное хотел спросить, а она не понимала, с испугом глядя на него, лишь повторяла:

— Таковская-каковская!

От этой бессмыслицы он опять закрыл глаза. Видеть никого не хотелось. Но вместо Фимы заявился нафраеренный Сёма Смагин и принялся рубить ребром ладони по шее — Юрий остро эти удары ощущал посверкивая золотым зубом, пофыркивая «Казбеком», Сёма как дрова рубил и приговаривал: «Поня́л, теленочек, поня́л?» А чего тут понимать? Больно.

— Ты его гони, Сёму-то фиксатого, — хлопнув глазами, велел он.— Клешами весь мусор с улицы заметет. Уборки больно много после него. Знамо, гони.

— Его уже на десять лет загнали, куда больше? — своим паленым ликом проступила Фимушка. — Ты его теперь не бойся, ряженький...

— Скажешь! Я и раньше не боялся...

Если долго лежать с закрытыми глазами, прошлое время истуканчиками на чисто подметенной земле выстраивается: тут и Сёма Смагин с поднятой топорообразно ладонью, тут и он сам, без всякого ножа захлебнувшийся кровью, тут и набежавшие техникумовские ребята, тут и откуда-то взявшийся, может, уже день спустя, сердитый такой милиционер... все ошарашенно застывали перед ним. Только Фимушке места не находилось. И вовсе не потому, что она в Череповце оставалась, — места ей на этой, клешами выметенной земле не было. Вот не было, да и все тут. Фимушка и явилась-то зареванная тогда лишь, когда и для нее размели земной круг...

Сегодня Юрий даже с сожалением уразумел, что Сёма больше не явится. Как же так? И не знать уж никогда, за что он поднял свою железом налившуюся ладонь? И как ладонь-то, еще накануне пожимавшая его руку, в топор рубящий обратилась? Это и торопило открыть глаза: скорей, скорей! Но Юрий знал, что стоит их разлепить — все исчезнет, все как в яму из памяти провалится. А ему не хотелось, чтобы провалилось. Хотелось дотерпеть до конца, до полной ясности. Ладно — его ударили, но он-то что — кулаком ли, словом ли ударил перед этим? Не ветром же пустым подняло Сёмину руку! Сёму Смагина нельзя было вывести из себя, Сёма по пустякам не ругался. А тут и ругань была — была, была, это уж как хошь понимай. Сёма и руку-то не сразу поднял, Сёма именно поначалу ругался, долго и грязно ругался...

Ах ты, сволочь забубенная, Сёма Смагин! Теперь-то уже вспомнилось, всплыло неостановимо, явственно предстало перед глазами. Слышь, Сёма, слышь, душа из тебя вон? Что сказано — то сказано, на весь земной мир. Принимай же напоследок:

— Не я ворюга — ты ворюга, Сёмушка! Ты сам пожар утюгом сотворил. Я не лез в твои поганые карманы, я только вещи твои вытаскивал да чемодан обгорелый, уже дымящийся, как картошина. Как было не выбросить, не спасти то, что через дымные дыры вывалилось? Всякий бы от изумления рот пораскрыл... Из-под вывалившегося замка, кроваво дымясь, сыпались ведь целые пачки денег, Сёма, сыпались золотые жаркие кольца и браслеты... паспорта еще, три, кажется, Сёма, на три разных фамилии, но все с твоими рожами, а главное... главное, Сёма, во всех была за обложкой одна и та же похабная фотография: ты да Фимушка, Фимушка да ты с голым задом... Гад ты, Сёма, поэтому. И я гад. Чего в дружбу твою верил?! Выходит, гаденыши мы оба. Слышь, Сёма Смагин, слышь?!

— Слышу, Юра, слышу, мой ряженький... И все понимаю: кончилось мое время. Кончилось, сладенький. По моей же глупости, по моей испорченности. Не могу тебя больше обманывать... люблю тебя, ряженький, мой потерянный, за тем и в Минск по первому твоему крику на крыльях прилетела... как ворона подзаборная, побитая...

Фима Аленькая уезжала. Юрий ее не удерживал. Он был уже в мужском уме...

— Прощай, Юра, — поклонилась она низко, по-старушечьи, — Не

поминай лихом. Что хошь думай, а такой любви у тебя уже не будет. Прости... и прощай, мой милый!

Он, не поворачивая головы, пустил следом:

— Прощай, сука подколодная... и спасибо за науку!

Она хотела еще что-то сказать, но закрыла лицо руками и выскочила за дверь. Иссохшая за все эти дни, легкая. Без всяких вещичек, сама по себе. Тенью согбенной мелькнула за окном и пропала.

Но Юрию и этого было мало. Раз встал на ноги, так уж встал. Напряженным взглядом оглядел подпорожье. Веник! Тяжелыми ногами решительно двинулся к порогу. Мести... все подчистую вымести вослед!

Из кухни Праведница смотрела на него, но ничего не говорила. И Юрась у стены столбом стоял. Самусеев с печки немигающе посматривал. И братаны, и сестрицы примолкли. Никто в его дела не вмешивался. Хозяин Ряжин, сам Ряжин, старшой сейчас Ряжин дом подметал. Он старательно прошелся до порога, расшвырял, расшоркал невидимые следы и в сенях, и на крыльце, и на ступеньках даже, и только уже после того, ощутив вдруг силу в руках, перекрутил-переломал веник и ошмотья его далеко в сугроб забросил. Все!

Домой, в тепло избы, он вернулся успокоенный.

— Всёшечки, никаких больше Череповцев, — сказал облегченно и равнодушно.

От таких простых слов его весь дом пришел в движение. Ребятишки завозились, Юрась засмеялся, Самусеев за кисетом полез, а Праведница забегала по кухне, то и дело всплескивая руками:

— И-и, не злись, Юра! И-и, поезжай, сынок, следом. Фима-то вся за тебя исстрадалась, да и Череповец — чем он виноват? Кормилец твой, да и наш-то. Езжай за старым хлебом, надёжа ты наша...

— Надёжа моя здесь, — упрямо, истинно по-ряжински ответил Юрий, оглаживая липнущие к нему головенки.

Он еще отвечал Саньке, потом Домнушке, потом Веньке, а потом сбился с языка и опять почувствовал, как красными кругами идет голова.

На кровать убирался вроде бы тихо, но Самусеев что-то заметил и полез с печки, таща за собой ружье и патронташ.

— Нет, надо парня мясной кровцой кормить! — услышал Юрий сквозь красную дрему и провалился во внезапный, как обморок, сон.

Через час, наверно, глаза открыл и расслабленно, но вполне внятно спросил:

— Батька-то наш вроде с ружьем уходил?..

— Мабыць, з ружжом. Мабыць, тятеруху для тябе прынясе, — ответил ему белорусский голосок.

— Было маленько у батьки мясца, подкармливались, да уж вышло, — стыдливо повинилась Праведница. — Авось еще чего привезет...

И привез... пустые окровавленные дровушки председатель на прицепе за своими санками! Притащил и грохнул о ступеньки крыльца, ничего не говоря — мол, сами смотрите. Праведница, как увидела в окно, босиком, в чем была на крыльцо выскочила и сама грохнулась не тише промерзлых дровушек, тоже бессловесно. Но председатель ее образумил:

— Чего пала-то? Лосиная кровь. Живой он и невредимый, под ручку с Титовым в Мяксу сейчас катит. Э-эх, я-то не успел!..

Тоня зачем-то дровушки на дыбки подняла, придирчиво обнюхала, а потом со всей выскочившей оравой в избу прянула, крича:

— Бежать надо, ежели! Оборонять отца-то! Мужики, а мужики?..

— Какие мужики? Успокойся, дура, — входя следом, грубо оборвал ее председатель. Он, кажется, только сейчас и заметил вставшего на ноги Юрия. — Вот видишь? Мясцо-то?.. — с явным упреком сказал, позирался, потоптался и, ничего больше не придумав, вышел вон, к поджидавшей его лошади.

Сани взвизгнули так зло, что двойные рамы прошибло.

— Я поеду в Мяксу, — стал одеваться Юрий.

Тоня было опять в голос, но Юрась не стал задерживать — помог одеться. Юрий понял, нелегкое это дело — с отвычки залезть в ватные штаны. А в простых делать нечего: мороз. Весной только поманило и опять завьюжило. На твердый осевший снег свежего набросало. Для езды хорошо, и то ладно.

Но ехать-то было не на чем. Так, на авось, провожаемые всей голоногой малышней, выбрались за калитку: Юрий, а с ним Юрась — как тогда за первым бескарточным череповецким хлебом. Сквозь зимние намерзшие рамы носы приплюснутые за ними следили. Юрий приободрился, но почувствовал: пот сразу прошиб, ноги стали ватными. Понял, не только за море — и до моря ему не дойти, а голоса не подавал. Молчал и Юрась, тащил побратеника на своем плече.

Так они, на счастье, и пошевенки председательские встретили. Все так же зло катил Дмитрий, вроде как и без цели.

— Собрались-таки? — неулыбчиво встретил их. — Ну-ну...

А что — ну? Постояли и дальше двинулись. Председатель уже за сотню шагов, наверно, нагнал.

— Пустая ругня! — и сам выругался. — Однако не пешком же! — выпрыгнул из пошевенок на снег. — Сена за околицей из стога надергайте. Из початого, из початого! — учил, чему и учить не надо.

Не новый же стог портить, — сами знаем, — к старому подвернули, до стожара почти обтерханному. Нахвостали сенца и поехали, не гоня поначалу, давая разойтись лошади. Считай, шагом до моря тащились. И без задержки бы дальше, но от церкви выскочил Максимилиан Михайлович. Странно, с теми же словами:

— Пустое дело, да все равно я с вами. Ох, Пыхто, Пыхто!..

Юрий Ряжин уже знал, что это за Пыхто. Оберегая пóтом уходящие силы, завалился под ворох сена. Злость надо поберечь, надо подсолить за дорогу.

Море по крепкому снегу они перелетели быстро. И как-то уж все так складывалось, что влетели в самый пожар: Самусеев там свои старые пограничные приемчики показывал. Там — это, значит, в милиции, на истоптанном и потерявшем всякий цвет казенном полу. Двое помощников Титова, желторотые, как цыплята, уже лежали, самусеевским ветром отброшенные, по пыльным углам, а на однорукого Самусеева наступал сам Титов, здоровущий и красный от нетерпения. Было очевидно, что на этот раз Самусееву несдобровать, — напрасно он единой рукой шарил дымный и спертый воздух. Титов обстоятельно примеривался, как бы это без лишних хлопот перехватить строптивого, давно уже потерявшего всякую форму лейтенанта и бросить в свободный угол, лучше всего под ноги суетливому Пыхто, который попрыгивал на месте и к пустым стенам взывал:

— Да перестаньте вы!.. Это уже не лось, это черт знает что!

Юрий Ряжин как вошел — сразу и ринулся на круг. Откуда и силы взялись! Но не добрался еще до Титова, как его сзади ухватил Максимилиан Михайлович:

— Юрка, Юрка... не смей!

Юрий рвался на бой с красным, разъяренным быком, а его теперь и Юрась в обнимку держал. Не было у него мочи сбросить своих охранителей и прорваться к Титову. Напрасно взмокшим лбом тыкался вперед, понапрасну кричал:

— Они же инвалида мордуют... они же шкуры нестреляные!

Максимилиан Михайлович в этом побольше его понимал, успокаивал:

— Я-то имею право говорить о шкурах нестреляных, но видишь — молчу! Молчи и ты, Юра, молчи.

Вторжение троих освободителей не сулило, видно, ничего доброго и Титову, потому как он уступчиво, спрятав кулаки в карманы, поддакнул:

— Помолчать оно самое время.

Как разошелся перед глазами красный туман, стало видно, что в этой большущей комнате и стулья есть, штук десять. Так что когда Титов отдыхающим боксером посреди уселся, и остальные стульями задвигали. Даже помощники его, потряхивая от удивления головами, поползли из своих уютных углов; судя по всему, они не слишком-то и спешили вылезать оттуда, благоразумно полеживали, пока их начальник качал кулаки. Сейчас напускали на себя даже излишнюю дурость — на каком-то фронте контуженные! Но были они того голодного возраста, который на фронт, пожалуй, и не мог попасть, даже на последние-то гиблые денечки, так что зря их Юрка Ряжин шкурниками обзывал. Титов — другое дело; Титов наверняка мог окопы брюхом зацепить, если бы хотел. Перед бывшим капитаном его что-то сразу остановило. А что? Юрий Ряжин по глупости своей не знал, а Титов помнил: все начальство районное из бывших фронтовиков. Сегодня они ссорятся, а завтра фронтовую-мировую пьют и его же, Титова, мордой в мокрый стол тычут... Нет, неглупый он был, если самолично пачку «Беломора» вытащил и Максимилиану Михайловичу первому протянул:

— Покурим, прежде чем драку-то продолжать?

— Покурим, — без лишних разговоров согласился Максимилиан Михайлович. — Вы тут погодите махать руками, я кое к кому сбегаю, хоть и к военкому для начала.

Вот-вот, вдвойне умным человеком оказался Титов, и нечего было сосунку Ряжину отталкивать миролюбивую папиросу. Даже Самусеев, все еще настороженно стоявший на кругу, как бы в глухой обороне, подошел и выдернул из пачки папиросину. А уж помощнички Титова — те задымили вовсю, а уж Пыхто — без роздыха засмаливал вторую, говоря:

— Я только про лосей, а не про тюрьму...

Титов ему насмешливо объяснил:

— Мы лезли в ваши дела, пока не было заявлений? Нет, не лезли. А раз уж поступила официальная бумага от официального лица — значит, меры принимать надо. Лося без тюрьмы не бывает.

Ясненько высказался Титов, и все сразу поникли головами. Даже Самусеев дымом поперхнулся. Шутка ли!

К счастью, вернулся Максимилиан Михайлович и что-то на ухо Титову шепнул, а следом и телефон загремел. Титов долго трубку на ухе баюкал да кому-то поддакивал.

— Видишь, Пыхто? — положил он трубку на рычаг. — Ты добрый, я злой, а мне же от тебя и приходится защищать Самусеева. За лося-то пять лет полагается. Но... можно, по снисхождению, — начальственно выпрямился он, — можно и штрафом обойтись. Только корову ведь тогда придется зарезать — так, Самусеев?

— Нет! Ребятишки малые... — швырнул папиросу Самусеев и снова на круг вылез.

А тут и у Юрия Ряжина словно бы ума прибавилось — он тоже на ноги:

— Тятька... не отвергай! Мы-то проживем. И без коровы-то.

На что Максимилиан Михайлович заметил:

— Взрослеет парень, взрослеет...

Он еще куда-то сбегал и, возвратясь, метнул колючий взгляд в сторону прикрывшегося глухим брезентом Пыхто:

— Защитничек лосиный! Протащился со своим поганым лосем по всей Мяксе... Теперь никакой бог и воинский начальник вчистую Самусеева не оправдает. Все видели, все слышали! Надо, Федор, — повернулся спиной к Пыхто, — надо маленько посидеть...

— Надо, так надо, — без прежней ярости поднял Самусеев руку.— Вяжи, Титов.

— Да как тебя вязать?.. — встал в тупик Титов. — Рука-то единая...

— А ты ее с пустым рукавом свяжи! — попробовал подсказать Самусеев, но понял всю бесполезность и руку безвольно опустил...

Титов и его помощники ушли, не мешая прощаться. Невеселое выходило прощание... Максимилиан Михайлович защитил от чего-то еще более страшного, чем сама жизнь, но от судьбы защитить не мог. По всему выходило, и коровой поплатятся, и посидеть, хотя бы в назидание истинным браконьерам, все равно придется. Уж это как ни маши пустым рукавом!

Сам-то Самусеев в конце концов успокоился — Юрий успокоиться не мог. Пот со лба бледнущего катился.

— Тятька? Как же так? Тебя, инвалида?!

На свой лад и младший побратим твердил:

— Тата? Як жа быць цяпер?..

Самусеев ответил:

— От сумы и от тюрьмы не отказываются, говорят. С сумой я еще в голодных председателях находился — схожу и в тюрьму, если надо. Поезжайте домой, защитнички забережные... В жизни что недобор, что перебор — едино Ну что с того, если сейчас-то перебрали? Когда-нибудь да отдастся...

Чтобы не затягивать больше прощание, он поднял сбитую в пылу сражения шапку и ушел разыскивать Титова.

В двое саней потащились за море. Впереди Пыхто на своих легких саночках, позади они на санях просевших. Пыхто норовил поговорить и в чем-то, видно, оправдаться — придерживал свою неусталую лошадь. Снег был плотный, на льду хорошо продутый, — можно было рядком да ладком ехать; но когда Пыхто таким стыдливым заходом выровнял свои санки, Юрий Ряжин выхватил вожжи из рук побратима и встал у передка во весь рост. Н-но, конек бедовой!

Председательский жеребчик понятливым оказался — хоть и усталыми ногами, но рванул так, что санки Пыхто злыми ледышками закидало. Поделом ему — говорила даже вздыбленная конская грива. Нет прощания, как нет и прощеньица...

Без слез, лишь на одной ярости, несло их в Избишино.

Председатель только неделю и дал отдохнуть, а потом заявился со словами:

— Лежать-то, однако, нечего. Раз оклемался, так уж оклемался. Собирай бригаду да начинай электрушку. Не навоз же тебе возить!

Об этом с ним вроде бы и не заговаривали, но как бы само в воздухе носилось: электроста-анция! Юрий Кузьми-ич! Строи-итель, знамо!

— Что ж, без дела не сидеть...

— Да и с делом-то некогда, — тут же засобирался обратно председатель. — Пошли на правление.

Но говорить там, как всем собравшимся стало ясно, надо было поначалу не об электростанции — о корове. О той самой, что еще стояла на дворе у Ряжиных-Самусеевых, но уже ждала своего законного ножа. Штраф-то приходилось платить. Если не заплатить, Самусеев и дальше по тюрьмам пойдет. Но штраф выпал не мясной, чтоб килограмм на килограмм вернуть, а денежный. В денежки следовало обратить корову, да еще и овечку-другую добавить: не поскупились районные защитнички, не поскупились... А если корову, уже отелившуюся, да еще и с овечками, в Череповец свести — самусеевскую малышню, как мышат ненужных, можно на снег выбрасывать. Пускай околевают! Старшему брату, едва ставшему на ноги, их не прокормить. Праведница без Самусеева, кажется, и умом тронулась, знай ревет. Вот какое дело...

— Значит, так, — высказал Дмитрий Окатов то, что в душе его, видно, давно высказалось, — значит, колхоз оплатит штраф. Хоть и незаконно. Кто за это?

Руки подняли, председатель тут же на свежего коня — и в Череповец покатил, чтоб деньги с колхозного счета на счет штрафной перевести, а

сомнение не улеглось: ведь деньги-то колхозные брать вроде бы не полагалось?..

Чтоб муку совести хоть чем-то задавить, Юрий сейчас же с Примом Ивановичем собрался. Начинать — так начинать!

Лошадь свободная была, лыжи нашлись — не заезжая ни к церкви, ни к детдому, свернули прямо на Оклятую.

Застали они на берегу странную картину: из-под лесного увала по ледяной высветлившейся дороге ехал огромный валунище, а следом шел в брезент закутанный Пыхто и хворостинкой подгонял.

— Мне что, с болезни все блазнится? — засомневался Юрий.

— Да нет, — успокоил его Прим Иванович. — Пыхто грех свой искупает.

Сорвавшийся с угора камень все набирал и набирал скорость, малые ложбинки проскакивал, не застревая, кочки-кусточки подминал, а пологий бережок, поросший густым ивняком, где и уклона-то не было, с налету проломил и прямо на каменистый перебор бухнулся. Брызги выше ив поднялись.

— Лихо! — подивился Юрий.

— Мне то же самое и председатель говорил, — как-то равнодушно ответил Пыхто, считая и дело, и разговор законченными, и сел в свои разъездные санки.

Укатил — как его и не бывало!

Юрий недолго смотрел ему вслед. Соображал. Пожалуй, не зря он в Минск головушку возил: хоть и чокнутая Сёмой Смагиным, а кашу варила. Бережок ему понравился.

Полез через успокоившийся валун на шумящий перебор. Следом — Прим Иванович.

От большого перепада и нанесенного еще раньше валунника река, вдобавок и с боков зажатая, прямо банным паром курилась. Юрий тоже успел разогреться: на пробу садил ломом в береговой стык. Под водой, как водится, земля теплая, но и здесь, на стыке с зимой, липкий пар ее прикрывал. После десятого, не больше, удара лом пошел мягче, а там и глыбища глинистая в воду отвалилась. Юрий спустил еще несколько полусмерзшихся глыб, а остальное бешеная вода доделывала, в грязь растирала вековую глину. Но стоило саданутъ правее, в глубь берега, как лом звенел в руках. Юрий размахался, сбивая с пальцев колючую дрожь.

— Пожалуй, без клиньев не обойтись...

— И без кострищ, — подсказал Прим Иванович.

Он тоже сполз в воду и напеременку рубил ломом. Десяти минут хватило, чтобы вывалить язык и отпихнуть лом напарнику. Юрию — так и пяти за глаза. Быстро по́том изошел.

— Ты, парень, не горячись, — огляделся Прим Иванович. — Может, детдомовцы помогут. Да вон и директор...

На их лыжню со стороны детдома выходил Максимилиан Михайлович. За ним еще десяток помощничков тянулось, поменьше росточком. Максимилиан Михайлович на лыжах с угора скатился, а ребятня при виде ледяной дороги сразу же на горе лыжи с ног побросала. Кто ничком на лыжных досках, кто на брюхе — с визгом ринулись на умятую камнем дорогу. Не удержи, так вслед за камнем послетали бы в реку и гоготом своим перекат завалили! Одного такого Максимилиан Михайлович прямо из-под берега выдернул и бросил трепыхаться на снегу, а другому Юрий на излете ногу подставил, чтоб он лучше уж здесь перекувырнулся. Но тот с кулаками полез. Ну и Юрий навстречу свои исхудалые кулаки выкинул. Повалтузились бы, не разними их Максимилиан Михайлович.

— Ай-ай-ай, Юрка! — насел на него. — Мастер мне называется... Лучше бы помозговал, как мерзлоту взять. — Смотрел на их работу насмешливо. — На Ладожском берегу траншеи мы динамитом рвали... Ну, да какой тут динамит! Добро бы костерок...

Ребята поняли его с полуслова — на гору бегом, а оттуда с охапками сушняка — прямо по ледяной дороге. Гогот опять, визг. Но и не без пользы: споро дело пошло. Под забавушку. Берег запылал, как на масленицу. Сиди у огонька да покуривай.

Но Юрию не курилось — задумал по перебору на тот берег перейти. Неглубоко для рыбацких, под самый пах; сапожищ, да и валунье со дна торчало — до середины дошел, не замочившись. А там слетел-таки на глубокое и начерпал в голенища. Вот теперь уж, разувшись, покуривай у костра!

Глядя на его голоногую пляску, смекалистый Прим Иванович присоветовал:

— Надо лаву поверх переката класть.

Вот и хорошо, что пока дело нашлось. С саней притащили пилу и топор, из осинника накроили толстых рогулин, скрепили их еще на берегу попарно вицами и так, не забивая в дно, но погуще, выстроили чередой от берега до берега, а поверх несколько деревин завалили. Прим Иванович даже горбы притесал, чтобы не скользить в воду. Получился мосток что надо. Теперь и на том берегу костер пали! Но там до леса далеко, с этого берега дрова таскать пришлось. Снова гогот на ледяной дороге, снова пляски на излете. Один лиходей, тот самый, что к Юрию цеплялся, неостановимо пронесся через прибрежник и в воду спикировал, как раз у подножья валуна. Неглубоко, но сушить пришлось. Этого уже напрочь раздевали. То-то Юрий посмеялся!

Так уж получилось: на новом берегу ребятишки, здесь взрослые. Юрий долго с одной стороны на другую таскался, но окончательно засел у мужиков. Максимилиан Михайлович проговорил:

— Видишь? С нами. А я ведь его тонконогим журавликом помню.... А он, гляди, как курлыкает! Время-то, время как идет...

Несмотря на добродушный тон, разговор Юрию не понравился. Он буркнул себе под ноги:

— Пришли помогать, так помогайте. Нечего лясы точить.

Как ни тихо бурчал, Максимилиан Михайлович услышал.

— Видишь? — все тем же учительским тоном повторил он. — Даже Ряжин нас только помощничками считает. А ну как ошибется председатель Окатов?..

— Может и ошибиться, — подтвердил его сомнения Прим Иванович.

Ясно, неубитую медвежью шкуру делили! Юрий непримиримо встал им наперекор:

— Ошибется не ошибется, а вам-то какое дело? Вы чужеродики! Пришляки!

Голову Прима Ивановича так и вздернуло от обиды. Максимилиан Михайлович удушливо закашлялся. А на том берегу тревожно запереглядывались. Река неширока — и видели, и слышали все. Максимилиан Михайлович поспешил к ребятам.

— Озверел ты по городам, Юрка, — невидимый из-за огня, бросил Прим Иванович.

— Озверел — как не озвереть?.. — подбросил Юрий в костерок уже ненужные полешки.

Пока ярилось новое пламя, он, отгороженный огнем и от того берега, и от Прима Ивановича, думал: «Когда бьют по-зверски — в ладушки не хлопают!» И выходило, что он все еще ведет нескончаемый перекор с запропавшим где-то Сёмой Смагиным. Он, Ряжин, отличник Ряжин, двух недель до диплома не дотянул — диплом ему сюда уже, как бы из милости, почтой переслали. А Сёма, зверь-Сёма, мастером все-таки в Череповец возвернулся. Нача-альником! В Минске-то он, видно, выкрутился. Это его уже в Череповце, как говорила Фима Аленькая, неожиданно приструнили, да и то за прошлое; не споткнись на Ряжине, так бы и начали Сёма Смагин, на работяг покрикивал... Чего там, мастер на такой великой стройке! Не на оклятой речушке... Сидя вот здесь,

возле будущей колхозной плотинки, Юрий Ряжин ничего, кроме насмешки, к себе не испытывал. Диплом через череповецкие конторы нашел его и в этой глуши, а самого к себе не притянул. Словно вместе с памятью Сёма Смагин отбил и охоту к череповецкой стройке. В самом деле, как бы они теперь втроем возле Фимы Аленькой плясали... ни дна ей ни покрышки над головой! Юрий чувствовал, что уже по-настоящему поправляется, если без снисходительности звереет. Плохо, а ничего с этим поделать не мог. Более того, ненавидел все свое прошлое телячество. Дядька Демьян, Сёма Смагин, потаскушка Фимушка — все огнем ясным гори! Мести он никакой не желал, а желал только забвения. Но и забывая, знал, что, сойдись на узкой дорожке — сам теперь на кого угодно первым кинется! Уж ждать не станет, пока рубанут по шее. Поплевывая у взрослого огня, Ряжин и с жизнью расплевывался по-взрослому. Вот он — одним махом отверг Фимушку-потаскушку, а жена у Максимилиана Михайловича — чем лучше? Он не сплетничал, нет — только взрослое слово ловил, которое у всех было на языке. Максимилиана Михайловича жалели, как блаженненького, а он, Юрий Ряжин, не даст повода для жалости. Пусть слизняки жалость на какой-нибудь гнилой капусте точат — он зубами пройдет и по самой крепкой лиственке. Скрежетал уже у потухшего костра; не имело смысла больше подкидывать, надо было домой убираться. Именно это и говорил Максимилиан Михайлович, возвращаясь во главе ребячьей оравы на свой берег:

— Юрка? Прим Иванович? Чего зря торчать? Завтра пораньше и начнем.

Мороз уже поджимал, можно было и без лыж. Юрий бросил их в сани, куда уселись Прим Иванович с детдомовским директором, а сам при ясной, обманчивой луне пошел за санным скрипом. И ребята детдомовские следом — единым, тревожным существом, тенью многоголовой. Чтобы успокоить их, крикнул, раздвигая голосом укромный ельник:

— Ну, молодцы-огольцы! Чего вызверились? Да люблю я вашего директора, люблю, стервецы!..

Ночевать здесь они не собирались, но сани как бы сами собой подвернули к церкви. Каменно, затененно встали ее усеченные, в какой-то нелепой битве порубанные головы — тоже какая-то сирая тень, ищущая людского покаянья. Но тут уж Юрий Ряжин и не знал, в чем каяться. Разве что в людской принадлежности?

Это было выше его понимания — как выше, намного выше была и сама обезглавленная церковь. Кто-то строил ее, кто-то поднимал на своих руках к этому лунному небу? «Значит, и ему голову сняли», — пожалел Юрий неведомого строителя и постоял, прежде чем взойти под древнюю крышу.

Своя голова была, кажется, на месте. Минские кошмары уже не мучили.

Дневного времени становилось больше. Солнце светило свежо и долго. Сосульки проблескивали. Работай от зари до зари — не наработаешься. А можно и лежать под южными сугревными окнами: председателя-то нету...

Дмитрий Окатов вернулся из Череповца только на третий день, на трех санях, не считая своих передних пошевеночек. Сани завалены были деревянными ящиками, большими и малыми, а один вроде огромного гроба, длиннющий, еще и на подсанках позади всех тащился. Ничего иного и в мыслях не возникало, одно только: росточек-то, росточек у заднего упокойника! Но уныния на лицах возчиков не было, наоборот, посверкивали от мартовского солнца и какого-то нетерпеливого ожидания. Не успели сани к берегу подвернуть, как запело-загремело:

— И-и, раз-два, взяли!

Все, кто был, бросились помогать. В ящиках железно и настороженно погромыхивало. И еще громче гремел голос председателя:

— Да не на снег, не на снег же!.. Подклады тащите.

Юрий еще раньше смекнул, что надо: лёжки-бревёшки. Снег протает, в грязи эти струганые ящики окажутся. Во главе детдомовской оравы бросился в лес. Свалили несколько нетолстых осин, муравьиной пробежкой поволокли вниз, а там и по ледяной дороге спустили, чуть ящики комлями не пробив. То-то повод покричать председателю! Но Юрий не слушал, да и Прим Иванович мало внимания обращал — слежавшийся снег целыми глыбами вырубали до земли. По оголившейся белесой травке набросали подкладами коротышей, а по ним осиновые должаки уложили. Вот теперь ставь ящики, чего кричать? Юрий распоряжался без криков, просто указывал, что куда класть. Это и на курсах мастеров проходили: складирование. Вдобавок еще и зимнее. Не сделай по-человечески, так в половодицу все кувырнется. Сурово посматривал Юрий, истинно по-мастерски. Он не спрашивал, что в ящиках, но видел: заводские. С черными клеймами на больших и малых боках. А на гробище — так и вовсе черным-черно от трафаретов. Некогда читать, и уж по делу — так вниз класть надо. Не на хлипкие ящички! Простуженным голосом в суету ворвался: вынимай, вынимай мелочевку! Под бурчание и председательское «раз-два» неподъемный сосновый гроб уложили на самый низ, а уж мелкие ящички на него. Юрий придирчиво осмотрел пирамиду: ничего, теперь не развалится, когда и земля подтает. Дело за малым: прикрыть. Но не полой ведь брезентухи тут же крутившегося Пыхто — что-нибудь побольше надо... Парусина рыбацкая? Но Максимилиан Михайлович охладил пыл: все забрали, ничего не оставили. Ни клочочка!

Вот тут один из возчиков и подсказал:

— Когда мы плотину в Переборах начинали... считай, с одними лагерниками, кулаками, комдивами да профессорами, вроде вашего Пыхто... мы и тогда заграничные машины укрывали корьем еловым...

Юрий обернулся: голос знакомый, да и в облике этого зачуханного возчика он давно уже признал неистребимо-ряжинское... Дядька...

— С землянок да елового корья в Переборах начинал — тем и тут кончу... на этом вот оклятом переборе... Так-то, племяш...

Юрий ничего ему не отвечал, желая, раз уж так, засветло укрыть драгоценный штабель. Детдомовцам только мигни — любую елку в топоры возьмут! Но тут брезентовый Пыхто подскочил:

— Не пущу, не дам. Лося забыли?..

Юрий всадил бы топор в него, вместо елки, но председатель упредил:

— Лес ведь выписали? Так в счет лесосеки. Эти же ободранные деревины мы и возьмем. Слово мое!

Лесному защитнику нечем крыть, кроме одного:

— Слово! Что ваши слова? Пустая засека. Во-он, — указал он на густые следы, — лоси прямо к вашей проклятой плотине идут. Любопы-ытно!

— За излишнее-то любопытство бьют по морде... — вспомнив свое, опять некстати вмешался Юрий.

И опять, как нельзя кстати, встал меж ними Дмитрий Окатов:

— Верно, засека... Но не пустая! Завтра же по насту и начнем. Завтра — и никаких разговоров!

Не у одного Юрия мелькнуло удивление: крутенько, крутенько берет председатель! Пыхто он отбрил, как ту елочку; с весенней старушки детдомовцы-верхолазы кору ободрали прямо единым полотнищем и без всякой жалости волокли по снегу — и Пыхто ободранной брезентухой как-то жалко и затравленно потащился к своей лошади. Глядя ему вслед, даже Максимилиан Михайлович заступился:

— И тебе, Димитрий, не надо бы перебирать-то... Сегодня перебе-

решь — завтра недоберешь. Это уж как водится. Лучше уж мирком с этими охранниками лесными...

— И со всякими другими? — набычился председатель. — Самусеев-то сидит! И Самусеев еще посиди-ит, посиди-ит ради порядка!

Занятые суетной, возбуждающей работой, все только сейчас и поняли состояние председателя. Не ангелом прилетел он из Череповца — каким-то черным, потревоженным вороном. Сам на кого хошь кинется. Как и дядька Демьян. Что они, с побоища?

— Побитые мы насмерть, а электростанцию привезли, — как бы отвечая племяннику, пригнул голову Демьян Ряжин.

Но слова об электростанции пока что не доходили. Ехал ведь председатель не за этим — ехал Самусеева выручать. Что же он молчит, зачерневшая голова?! Понять его было мудрено. Он вдруг радушным хозяином обернулся и, не имея на то права, тоном старшего велел Максимилиану Михайловичу:

— Возчиков накорми по высшему классу. Понял? Это не просто возчики — это разбойнички с большой дороги. Уважь, Максимилиан Михайлович, как истинных разбойничков. Уважь!

Возчики-разбойнички, числом как раз трое, с великой охотой поспешили за детдомовским директором к церкви, где были и стол, и дом. А за директором и детдомовская ватага потянулась — работать без него они не хотели. Да и какая работа? День уже разбили и дотоптали, как старый валенок. Чего зря говорить.

— Вот так-то, племянничек, принимай под свое начало, — бросил Демьян Ряжин.

Юрий издали, похаживая вдоль берега, наблюдал. Плотина не плотина, а начало положено. Мерзлые береговые откосы они сбили и, не давая опять промерзнуть, забутили камнем и глиной. Камень на дровушках возили, прямо по лаве, которую приходилось на ночь поливать водой. По наледи срывались ребятишки в воду, но что делать... К большому валуну, свалившемуся с легкой руки Пыхто, с боков наросла уже порядочная запруда. Вода еще сильнее бурлила на переборе и заметно подпруживала. Демьян Ряжин смотрел на все это строительство с какой-то горькой усмешкой.

— Нечего смеяться-то, — не вытерпел Юрий. — Вот сваи бить по холодку начнем, вот до половодья и сруб машинный поставим. В ящиках-то — механизма?

— Механизма, племянник, механизма! — трескуче и неестественно рассмеялся Демьян. — Моя великая стройка! Мои последние Переборы! Не прогонишь?

— Куда тебя, дядька, гнать... — отмахнулся Юрий, мало что понимая.

В порыве какого-то самоуничижения дядька опять горько усмехнулся:

— Вот именно — некуда! Прав ты, племяш, всей своей жизнью прав...

Это уже и вовсе не понять было. Юрий ушел от дядьки к костру. Но там и при ясном огне ясности не прибавилось. Дмитрий Окатов как цепом молотил — сжатым кулаком перед носом Прима Ивановича.

— Деньги колхозные, а со счета снять не дают. Вынь да положь разрешение районного начальства! Кто мне даст такое разрешение? — День дотлевал, по самым верхушкам елей тащился. А тут опять: — Колхозные денежки, а на колхозника тратить не моги! Кто Самусеев? Частное лицо. К тому же подсудное! Вот то-то.

Юрий думал, что председатель одному Приму Ивановичу это говорит, а он, оказывается, и на него обугленным черным взглядом смотрел — взглядом странным... все тем же цепом-кулаком молотил, все по одному кругу:

— Значит, денежки, которые мы всем колхозом по крохам собирали, на колхозника не трогай? А если тогда на колхоз? Я ведь так

это и понял: облапошат, оберут... в фонд какой-нибудь великой стройки! Хоть той же череповецкой... Шиш им с вдовьим маслицем! Вот и решился хватать что пока хватается. Договоренность была — механизму под ссуду, но ходи-проси ее... Счетец колхозный тем временем по бревнышку разберут-раскатают и перебросят на какие-нибудь другие Переборы. Плети тогда опять корзины! Гни саночки! Бузуй на базар капусту да огурцы!.. И с этим-то нас, кажется, подожмут... Да, подожмут, — убежденно сказал он.

Круг получался странный. Если уж молотить по кругу, так от окружья к центру, чтоб зерно не раскидывалось. Чего же он от центра-то, от ясной мысли, все на стороны воротит?

— Я механизму-то захватил на колхозные денежки. Единая и была на пять районов, лежала — пока поделить не могли. Чую: и денежки уплывут, и механизму первым же половодьем унесет. Братьям-разбойничкам с базы — в ноги! Выписывайте в единый миг накладные, а я в тот же миг денежки перевожу... да и без перевода не поскуплюсь. Давайте, братцы! А они тоже в панике, потому как главного-то разбойничка забрали и под белы ручки свели в воронок. Не поверил бы, да самолично рукой ему помахал. Прощай, Матвей Макарович, прощай, дорогой, искренне жаль твоей расторопной судьбы!.. Ну, думаю, завтра и тут прогорит. Прямо так в ноги и кидаюсь, открыто: спасайте, братцы-разбойнички. Сегодня, мол, все еще по закону, а завтра уже беззаконие начнется. Базу закроют, ревизия уж как пить дать. Родные, не позволим нас пограбить?! Так по ихнему самолюбию маслицем и прошелся. «Не позволим!» — и они вскричали. Во, под настроеньице и накатали на сани гробов! — сверкнул он таким бесовским взглядом, что Юрия холодок прошиб. Дмитрий продолжал: — Мы взяли свое? Мы лишились главного разбойничка? Лишились незабвенного Матвея Макаровича, нашего колхозного обдиралу... да нет, благодетеля и кормильца, чего уж скрывать! Потеряли, и, наверно, безвозвратно... Но мы и Демьяна Ивановича взамен приобрели... той же разбойной шайки атамана...

Удивительно, но Демьян Ряжин и не возражал, хотя председатель нес явную напраслину. Не ходил же, в самом деле, дядька с кистенем по череповецким улицам!

Под эти заунывные раздумья опять какие-то посиделки начинались. Таким уж притягательным местом стала река Оклятая. Шумела она на переборе яростно, напористо: плотина была не по душе. И это зимняя река, мелководная! Что-то будет весной?.. Начав городить плотину, они оставили, конечно, водосток — с левого, дальнего берега, но ведь так, по наитию делали, по примеру старых мельниц. Дядька Демьян туда и смотрел, словно бы и не слушая заумные рассуждения председателя, — слушал шум воды. А когда вдоволь наслушался, поманил племянника пальцем:

— Пойдем-ка посмотрим... Видишь? — уже на лаве ткнул он палкой в шипящий водоворот. — Если бы ваш доморощенный Пыхто и на этот берег свой камнище бухнул... Да ведь не бухнет, вот беда! Надо сваи с торца забить, иначе размоет ваши камешки и унесет. Мелковаты.

— Так ведь и народ-то детдомовский невелик, — ревниво встал на защиту Юрий.

— Вот я и говорю, подкрепить надо. Торец сваями огородить, да сваи скобами сшить. Скобами хотя бы! Хотя бы и так!

Демьян углубился в какие-то свои расчеты и про племянника позабыл. Видел это Юрий, не слепой.

Но и расчеты расчетам рознь — дядька обернул небритое, осунувшееся лицо и заговорил совсем уж непохоже на него, как-то заискивающе:

— Строил я большие Переборы под Рыбинском — почему бы и малые не построить? В бригаду-то, надеюсь, возьмешь? Возьми, племянник, возьми, авось и пригожусь. Мне-то лучше затеряться в этой жизни, как мухе, на зимнюю спячку залечь. До лучшего солнышка, как гово-

рят. Я ведь живучий, племянник, я ведь чувствовал и, кажется, вовремя сбежал. Кому охота теперь меня искать? Уволенный... Новые переборы буду строить, без всяких дураков, племянничек. Ты главный и единственный здесь мастер, а я главный и незаменимейший помощник. Я ведь хоть и битый, а инженер. Инжене-ер, Юра!

Глаза не верили, но дядька плакал, сидя на лаве и свесив ноги до самой воды. Река терла шипящими хребтинами по самым галошам его валенок. Река Оклятая не хотела принимать Демьяна Ряжина. Если уж по совести, не хотелось того и Юрию. Ничего хорошего от дядькиного вмешательства он не предвидел. Насчет укрепления водоспуска — так он и сам уже думал, руки просто не дошли, а насчет чего другого — так в свой черед и подумается. Кое-чему и он научился, а кое-что и мужики подскажут. Эка невидаль! Только название, что электростанция, а по сути-то мельница. Плотину, водоспуск, сваи и бревенчатую сараюшку на сваях — все сами сделают, а для установки машины все равно механика придется приглашать. Так что дядькины поучения вроде бы и ни к чему. Но как откажешь, как прогонишь человека, дошедшего до какой-то крайней точки?..

Юрий даже и того не спросил: турнул ли потаскушку-то несчастную? Все это уже было в прошлом, все никчемное. Дядька Демьян, точно уж, конченый человек: но как бы не кончился затянутый Самусеевым в водоворот реки Оклятой и сам председатель... Юрий впервые почувствовал, какая это тяжкая ноша — председательство. Оставив дядьку допевать свою гиблую песню, он опять вернулся к витавшим вокруг заботам.

— Чего сидеть-то? — пошел прямо на председателя. — Надо собирать деньги. У кого сколько есть. Мне из Череповца маленько выслали по расчету, может, у дядьки сколько ощипанных найдется, оторвет и Максимилиан Михайлович от своей пенсии. Если уж всё нам назло, так с шапкой по дворам идти! Я и пойду, если хотите.

Председатель и Прим Иванович переглянулись.

— Нету другого выхода, — кивнул Прим Иванович.

— Не-ету... черт дери мое председательство! — рявкнул и Дмитрий Окатов. — Не вести же Праведнице со двора последнюю коровёшку. Не допущу! Не бывать тому!

Страшен был во гневе Дмитрий Окатов, избишинский председатель. Юрий даже вздрогнул от его неукротимого голоса. Сколько же он наработает так вот? На сколько лет его, мужика все же не семижильного, достанется-останется?

Как бы почувствовав какой-то сорвавшейся жилой этот немой вопрос, Дмитрий Окатов кулаком его отрубил:

— Но — жалеть меня нечего. Но — рано меня жалеть. Я еще не изработался. А как изработаюсь — ты, Юрка, к тому времени подрастешь! Ты, чего смотришь?

Юрий смотрел на председателя испуганно и озадаченно.

— Вижу, что подрастешь. А потому — и подрастай поскорее! Мало ли что...

Но это уже было ни к чему. В самом деле, рано председателю клонить свою буйную голову. Если уж заигрались в казачков-разбойничков — так держись!

Юрий встал и пошел по натоптанной дороге к церкви. К жилью. Он теперь здесь и дневал, и ночевал. Нашли и ему уголок в этой суровой поднебесной хоромине. Поистине пристанище для страждущих...

За ним и председатель с Примом Ивановичем потянулись. Разговоры стали тихие — ветром потеплевшим вдоль реки разносило и беззвучно рассеивало. Хоть бы наст до времени не рухнул...

— По насту-то легко-о прибежала! — кормилица колхозная вынула из заплечного пестеря укутанный в меховину чугунок.

Кормилица — это счетоводиха Лизунька! И ввечеру пылала, как ее раскутанная каша. Жарко дышала ложка, когда ко рту подносил: не

поднимая глаз за общим столом, Юрий дул и дул на нее, кормилицы не видя. А она — тут же, прислуживала едокам. Так майским ветром и носилась вокруг стола. Даже председатель похмыкивал. А чего хмыкать? Каша такая, хорошая. Есть надо да чугунок обратно возвращать. Лизуньке еще вон куда по ночи тащиться. Семь верст лесных, немереных.

Лизунька как бы поняла ненужную в таком деле торопливость:

— Да вы не спешите, я и здесь где-нибудь до утра прикорну. Много ли мне места надо?

Юрий с каким-то проснувшимся удивлением отметил: знамо, немного! Вот так вот взял да и поднял глаза от миски. Не опускались они к каше, глазели неотвязчиво. Подбористая была счетоводиха, ладненькая такая. На две табуретки положи — так и выспится, пожалуй.

— Чего тащиться? — поскольку все похмыкивали и молчали, ответил на правах здешнего хозяина. — На моей постелюхе, ежели, и поспишь.

Дмитрий Окатов кашей поперхнулся и громогласно расхохотался:

— Ну, Юрка, ну, хват! Узнаю Ряжиных, узнаю...

Демьян Ряжин тоже на свой лад хохотнул, а Лизунька ничего, принялась убирать посуду. Какие-то дурацкие хихоньки! Юрий встал и заторопился в свой угол. Надо было хоть постелюху-то для гостьи в порядок привести. Валялись, как медведи, на истертых сенниках.

— Лизунька! — обследовав свое хозяйство, позвал он. — Хорошо бы хоть постилушку какую сверху. Засмурыжился сенник-то у меня. Стыдобушка!

— Да ничего, Юрий Кузьмич, — притащила свою котомку Лизунька, — я свежую постилку припасла. Ты отойди да не мешайся...

Дело говорила Лизунька. Чего путаться мужику под женскими руками?

С тем и к столу возвернулся, под председательское, горластое:

— Узнаю Ряжиных, узнаю!

Юрий от смешка отмахнулся: сбесились мужики!

Наст еще добрую неделю держался, а уж потом полилось-покатилось с гор! Весна пришла в свой срок, не раньше и не позже того. Весна свои права знала.

Облака неслись высоко-высоко, от приволжских Переборов на север, вдоль всего проснувшегося моря. От Рыбинска до Череповца, от Волги до Белозерья. По-над морем, по-над могилами трехсот затопленных деревень... И над вечными могилами русской крестьянки Домны Ряжиной, русского лейтенанта Павлуши Лесьева и русской сестры милосердия Павлы Михайловны Дудочкиной, просто Дудочки в просторечии. Облака торопились по своим весенним делам; облака не доверяли морю. Морю ласковому, лукавому...

Но так мог думать Юрий Кузьмич Ряжин пятидесятилетней поры; Юрий Ряжин поры восемнадцатилетней так не думал. Жизнь он воспринимал как жизнь; море встречал как море, с песней в душе и в мыслях, без лукавства. А если и винил кого — так только себя. Занесло его на самую звонницу, под колокола. Так вот ветром весенним и вознесло! Чтоб сердце очнувшееся потешить, на море посмотреть.

Оно еще было подо льдом, еще снежно дымилось на солнце, но жило уже жизнью весенней. Не только грачи по береговым зачерневшим угорам — и с затопленных, могильных берез Избишина слали весенний привет, как блаженненькие из последних сил цеплялись за остатние, иссохшие сучья, пытаясь и на море сладить привычные гнездовья. Их гаму вторили и мутные, шальные ручьи; истекая из парных забережных лесов, устремлялись на поднявшийся крохкий лед и озорно били в промоины. Э-эй, отворяй ворота, э-эй, выходи гулять на море! Забережным ручьям, как и очумелым детдомовцам, не сиделось по темным закоул-

кам; все молодое, весеннее спешило под небеса. По взбережью разливалось, по церковному острову. Дальше некуда; дальше не было пути. Воду — лед держал, детдомовское племя — держала вода. Так они на два звона и крутились вокруг острова. Валенки за зиму износились, а сапог не было, — только пятки сверкали по оголившемуся острову! Тепла хватало на две-три минуты, а там опять к зимним печкам. Из железных труб, натыканных по окнам, пальба шла; высоко вздымались церковные окна, жарко фукали верховые жерла. Влажный, сильный ветер забивал их, какое-то время сдерживал взрывной напор, а потом, как по чьей-то команде, разом бухало на все стороны — и только что ядра не летели! Белая поднебесная крепость еще держала зимнюю оборону. Директор тоже знал свое дело: на капризное тепло не надеялся. Голоногую, чихающую стихию загонял в теплые стены. Сверху хорошо было видно, как размахивал рукавами небрежно наброшенной шинели. Весело жила под стенами церкви весенняя земля.

Почему, почему, думал Юрий, так забавно устроен мир? Когда следует грустить — облака радостно несутся; когда по ручьям впору бежать — бежится наверх, под купол небесный. Он стоял под самыми колоколами, уцелевшими в бурях века. Темная медь натужно погудывала. Что-то ему нашептывала, подсказывала. Если о матери, в разгар первой военной зимы сошедшей прямо на дно морское, в ледяную судьбинную полынью, — если о ней, уже десять лет тенью кружившей вокруг этого острова, — то надо было ему бить во все душевные колокола, а они, как и медные, лишь монотонно постанывали; если же о себе самом — то и вовсе в голос кричи, а ему лишь попевалось. Нет, не поминки-воспоминания загнали его на верх поднебесный. Что же тогда?..

Он вопреки себе, как и это море, лукавил. Знали ноги, куда несли; слышало сердце, о чем пели деревянные ступени. От шумной земли, от воды, от детдомовского многоголосья — сюда, шаг за шагом, ярус за ярусом, плыла его песенка под стук каблучков. Хорошая такая и, как сама весна, звонкая. Со ступеньки на ступеньку синицей весенней перепархивала, горлышко прочищала, потенькивала. Он чувствовал церковь, как живую, он знал каждую ступеньку.

Почему, почему, еще торопливее думал Юрий, ледяная зима так вот вдруг и солнышком обернулась? И хоть вышло это не вдруг, через месяц, наверно, все равно единой минутой казалось. Долго ли весенней синичке с этажа на этаж перепорхнуть! Потенькивало уже слышнее, с придыханьицем. Повыдохлась синичка на крутых ступеньках, а все равно свое попевала. Долгожданное, обещанное. А чего обещать, дурная?..

Он вроде и не слышал теньканье береговой синички, он вроде только с матерью разговаривал. Видишь, мать, по-взрослому рассуждал он, как все оборачивается? Ты уходила отсюда в ледяную могилу, а мне хоть в облака лети! Право, мать, не обижайся. Ничего нельзя с собой поделать. Весна идет, синичка попевает. Во, уже и сюда добралась!

— Пришла я, Юрий Кузьмич, как и обещалась, — голосочком застенчивым пропела она на последней ступеньке.

Ничего нельзя и с ней поделать: пришла. В счастливом изумлении Юрий даже поворчал:

— Бежала-то через три ступеньки, вишь, запыхалась! Чего было? Никуда я теперь не денусь. Садись, ежели, — распахнул он жаркий кожушок.

— Я и так прогрелась, Юрий Кузьмич, — полыхнула она крылышками, но под кожушок впорхнула охотно.

Как ни сжимал он полы кожушка, спереди ветриной прохватывало. Прилетела синичка без ватных зимних штанов, в плюшевой гейше и юбочке. Видно, уж в церкви из сапог в ботиночки перескочила. Чистенькие, на загляденье. Он, само собой, и загляделся. Ах, синичка, ах, дурная! Лед еще на море, а она уже во все летнее распустилась. Поди ж ты ее возьми, сверкает крылышками! Эти крылышки озябшие он рядком и ладком на свои колени уложил, чтоб тоже согрелись. И покаялся, как истинно в церкви:

— Я, Лизавета, плохой человек, я тебя недостойный.

Она не мешала ему каяться, она терпеливо ждала. Куда было торопиться? Все дороги водой отрезало, а они как грачи на верхотуре. Под ними глухие, толстенные стены, а над ними — лишь облака. Туда душа рвалась, вверх, а не вниз. Юрий тоже слышал, что она, душа-то, уже не синицей — грачонком рядом прыгает. Скок да скок да перескок — прямо с пятки на носок! Шустренькая, неусидчивая душа, так под сердцем и колотится, так в него без спросу и впрыгивает. Ничего, пускай устраивается. Места хватит, вот дурная!

— Только пойми ты, Лизавета: я совсем плохой человек. Ты со мной намаешься.

Она вроде как посмеивалась под его кожушком. А чего смеяться? Дело ведь такое, житейское. Посидеть да поплакать, поплакать да и посмеяться, посмеяться да и опять посидеть...

Долго они сидели вот так, душа в душу, — воды вокруг заметно прибавилось. Уже не отдельными ручейками — сплошным потопом с холмов неслось. Последний мосток, связывавший остров с берегом, затопило по колена. Детдомовский директор со своими помощниками лодку ладил. Половодица!

Но мысли земные вместе с верховым ветром отлетали. Душа вéрхом парила, над прошлым и будущим. Зрячей становилась она, душа. Юрий далеко-далеко свою жизнь прозревал... до Мяксы и Череповца, до Вологды и Москвы, до отцовской военной могилы и до морской могилы материнской, а может, и того дальше, до краю света, до самого краешку жизни...

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Младший лейтенант Титов плыл в Избишино при полной парадной форме, которую он только что получил в Череповце на вещевом складе, — в заштатной Мяксе подходящей формы не оказалось. Диагоналевые галифе плотно облегали его крепкие, сытые ноги, китель лежал на груди как литой. Фуражка, погоны, петлички — все малиново отсвечивалось в утренних тихих водах. Давил, правда, шею воротник. Но расстелешиваться Титов себе не позволял. Стоя у мачты, под парусом, коротко бросал кормщику:

— Лево руля.

А когда большая служебная лодка разворачивалась носом на береговую Вереть, придирчиво подправлял:

— Право, право! Держи на оплот мракобесия.

Церковь значит. Самый верный ориентир на всем проклятом Забережье. Кто уж там сейчас смотрит за маяком — неизвестно, но фонари и по светлому времени вспыхивают жгучими стеклами. Палят керосин растяпы!

Титов всласть поругал нового смотрителя маяка. До него ему, собственно, не было дела — ведомство другое, и назначен только с началом навигации, еще не примелькался. Однако все грехи здешние так или иначе сходились к церкви, ставшей маяком, смотрителем которого всю прошлую навигацию был этот чокнутый Максимилиан. «Тоже мне — капитан!» — теперь Титов имел уже полное право отыграться за прошлое позорище. Эка невидаль — дырка в груди! Дурак — потому и наскочил на пули. Туда ему и дорога! С этим дырявым капитаном — первые счеты. Став директором новоявленного детдома, он снова пошел в гору — с попреками и криками заявляется в район, и обязательно в военной форме, при орденах. А председатель рика — тюфяк пехотный, да и окопный дружок к тому же. Такие ведут разговорчики, что обоих ставь к стенке — не ошибешься. Кончать с этим надо, приканчивать!

Само собой, следовало бы давно разобраться в такой пехотной друж-

бе, но с формой подзатянули. Без погон ввязываться в подобное дело не хотел — ученый. Теперь самое время поспрошать: кто правит миром — капитан или лейтенант?!

— Товарищ лейтенант! — уверенно назвали его. — Может, вначале в Избишино? Чего тут с дохлым директором канителиться? Заметем на закусочку.

Обращение ему понравилось, да и предложение было дельное — он похвалил младшего сержанта:

— Вы правы, товарищ сержант, мракобесие почистим на обратном пути.

Тому обращение еще больше понравилось — вскочил, вытянулся, сильно качнул лодку: хоть и большая, но для строевых учений не предназначена.

— Да вы садитесь... садитесь, товарищ сержант! — ухватившись за мачту, сполз Титов по скользкой жердине вниз, на решетчатый настил. Исправляя крен, а вместе с ним и конфуз, уже решительно сообщил: — Я беру вас к себе, невелика честь — зэков в Переборах сторожить? Не-ет, у нас дела поважнее! Государственные!

Что отвечал младший сержант, одним кивком головы возведенный в полные сержанты, Титов не слышал, не отвлекался. Дела, действительно, были государственные. Форма не только вылила, выстроила тело Титова, но и мысли настроила на самый высокий лад. Иначе и быть не могло: вся районная власть ложилась на его краснопогонные плечи. «Почему, почему, — думал он сурово, — со всяким дерьмом цацкаются?..» Уже заранее зная ответ, все-таки выматывал и выматывал свою душу. Ошибки не было — и быть не могло: от слабости власти. Власть! Она всему первопричиной; это было теперь для Титова как дважды два. Если председатель рика чаевничает с каким-то детдомовским директором — добра не жди. Если колхозный руководитель прикрывает своей печатью кулацкое брюхо — добром не пахнет. Дерьмом!

Под затяжелевшим взглядом младшего лейтенанта успокоилось вспугнутое было море, снова разлеглось голубой скатерочкой. Разве что алый, как погон, срез неба нагонял по горизонту тревогу; туда попадали и ближняя Вереть, и дальнее Избишино, и, конечно же, этот оплот мракобесия, защищенный глазищами маяка. Эх, будь его воля!.. Сколько там нужно динамиту? На войне Титов не бывал, взрывами не занимался, но, взвесив все на своих плечах, с решимостью выпрямился у мачты: унес бы во едином мешочке! И то сказать, пять пудиков — не ноша. Неуж на поганую церковь не хватит?

Не сама по себе церковь беспокоила — ее злостная сущность. Все эти годы враждебные вились вихри вокруг сбитой, но до конца не добитой колокольни. Полковники Иванцовы приходили и уходили — она оставалась; бывшие звонари становились директорами детдомов — она пребывала в прежнем мракобесии; рыбацкие склады в ней обращались кулацкой нечистой силой в склады колхозные и черт знает в какие-то воровские череповецкие притоны. Все заовражное и вражное сюда стекалось; все служебные неудачи именно здесь и начинались. Титов не злословил, когда думал о динамите: в хорошую погоду церковь бельмом торчала пред Мяксой; сказали бы только спасибо, если б под хмурый дождичек, чтоб поменьше звону, рванул ее до самых мракобесьих небес. Жаль, море ему не подчинялось; море подчинялось пароходству и далеким Переборам — славному детищу Волголага, которое недавно перешло к безмозглым гражданским энергетикам. Вода крутила теперь турбины и замывала грешные кости зэков; вода была умнее и районных, и, страшно сказать, прочих других властей — она не оставляла следов. С последнего военного года и до самого перевода лагерей куда-то дальше на север Титов служил в Переборах — в славном, славном Волголаге! — и знал, что ни сел, ни деревень, ни таких заклятых городов, как Молога, ни крестов, ни могил — ни памяти, ни звука на двести верст, от Переборов до Череповца! Вот это было время, это была власть. Там,

где прошел Волголаг, — слюнтяйным председателям риков делать нечего. Великая сила — слово! Сказал — и сделано; приказал — и следы, и концы, как говорится, в воду. Море, море плескалось от волжских Переборов до Череповца. Пойди останови его!

Они тогда подчищали, что Волголаг не успел зачистить до войны, в трех километрах от здешней церкви и стояли — рукой подать. Начальство думало все берега вчистую подмести. Вода на плотине поднималась до своей восемнадцатиметровой отметки, затопляла еще уцелевшие побережья; им надлежало быть дном моря. Народ еще перед войной разбежался, пусто было, дико. С народом хлопот не возникало — нашествие трех тысяч одичавших зэков даже остатних зимогоров расшугало на стороны; хуже с церквами — не хотели сходить со старых камней. А динамиту не хватало — извели, видно, за войну. Вот и долбили зэки — наши же военнопленные — все эти несокрушимые божьи камешки. Ах, как долбили! Не только лейтенанты и капитаны — полковники в струнку тянулись: «Гражданин сержант, гражданин сержант!..» Чего уж, был он тогда младшим сержантом; как и этот шустряк, только что прибывший ему на подмогу из Переборов, — Титов с любовью, испытующе посмотрел на своего помощника, сидящего на руле. Времена меняются, в Переборах дел не осталось, а тащиться вслед за лагерями куда-то в Заполярье — кому хочется! Пусть дураки гоняют дохлых зэков, а они лучше погоняют здешних капитанов...

— Товарищ сержант, ордера не забыли?

— За чем дело, товарищ лейтенант!

Помнил Титов первый свой приезд в Избишино, с чахоточником Чехвостовым. Поделом, что растяпу и самого расчехвостили! Теперь ошибки быть не могло.

— Проверить боеготовность! — подал забытую было лагерную команду.

Щелкнуло пять затворов, вскинулось вверх пять тыловых, обшарпанных стволов. Титов поморщился при виде этого убогого оружия и, расстегнув кобуру, присоединил свой новенький, вороненый ствол:

— Раз... два... го-онь!..

Грохнуло так, что чайки взмыли на версту в округе и, сбиваясь в тесную кучу, нависли над лодкой сплошной, галдящей пеленой. Он не сразу сообразил, что к чайкам примешалось и воронье, — значит, берег близко. Его заслоняли леса, иссыхающие в воде. Плохо поработал Волголаг до войны; плохо и они после войны поковыряли. Так, для крику гоняли зэков. Поближе к Переборам, на глазах у начальства, попилили маленько лес, а дальше оставили на батюшку. Многое, конечно, погнило и попадало в воду, но немало и держалось на корню. Межень начинался, отлив воды. Турбины на плотине изработали весенние запасы, а новых не поступало. Не побережье — болотная грязь, вонь и сплошная непроходимость.

— Право по дороге! — велел Титов.

Кормщик понятливо кивнул: довоенная дорога из Мяксы в Забережье хорошо просматривалась на мелководье. Здесь не было коряг и всякого переселенческого мусора вроде бань, колодезных срубов и остовов печей — все это проходило стороной. Старое Избишино было большой — с шекснинскую версту — деревней. Заглушив мотор, они уже под парусом втягивались на бывшую деревенскую улицу.

Младший лейтенант... — нет, чего уж, лейтенант Титов! — пережил минуты воспоминаний и прощально вздохнул: действительно, времена менялись. Может, и к лучшему. Лейтенант Волголага не мог все-таки наводить порядок среди председателей риков, колхозных председателей и всяких детдомовских защитников — нынешний районный лейтенант уже мог все это сделать, воды не помутив. Вода, она знает: ласково, невесомо несет тяжелую служебную лодку, у которой есть и парус, и мотор, и весла. Сломается одно — вынесет другое. Даже за десять буйных лет море не измочалило дочиста леса, коряжины и остовы

деревень. Стоило пройти русло Шексны, как мотор пришлось поднять, идти под парусом. Знали, ученые: моторов не напасешься на этих деревенских заулках. Была середина лета, изработавшаяся на турбинах вода скатилась к Волге — зло и настырно срубами колодцев, развалами печей, фундаментами домов выступала бывшая деревня Избишино. Будто и пяти послевоенных лет не бывало!

Титов перешел на нос, зорко всматривался в загнивающие заводи. Щуки, как полешки, стояли в свиных корытах, сани из воды поднимали оглобли, лодки догнивали у самой поверхности, телеги прямо на колесах, разверстые погреба, и особенно выступавшие на отмелях кресты кладбищенские, — страшное, гиблое место.

— Правь по улице!

Выбрались опять на чистое. Титов знал это заклятое Избишино; в первый послевоенный межень сюда пригнали было целую команду, чтоб и память о нем зачистить, но потопили, подавили в грязи половину народу — с тем и отступились, не особенно-то печалясь. Чуть повыше отошли, ломали и жгли, что не дожгли до войны. Да стали поднимать воду, и верхний лагерь быстренько согнало волной обратно в Переборы. Избишино со всей своей дуростью так и ушло под очередной осенний паводок. Теперь вот выступило... Только такой старожил, как Титов, и мог пройти по бывшей деревенской улице, не пропоров днища лодки о шест журавля или оглоблю, и выйти дальше, прямиком на забережную дорогу. По чистой воде, к церкви, править не хотелось: успеется, как решили, на обратном пути. Сейчас ни к чему поднимать переполох. Было с ним на этот раз, не в пример давнему конфузу, пять надежных штыков, да ведь кто их, дураков забережных, знает!

Он благополучно провел свою тяжелую ладью, уже на веслах, по обмелевшей деревенской улице и выпрыгнул на бережок, не замочив даже хорошо начищенных хромовых сапог.

— Пристегните лодку!

Гремя винтовками, его помощники тоже полезли из лодки, захлестнули цепь вокруг коряжины и заперли замком. Теперь надежно.

Надежно стоял на берегу и Титов. Даже когда вспомнил о всех этих Ряжиных да об Окатове. Чертыхнулся только. Слышал: старший Ряжин уже подрос и ходит в ногу с председателем... Вот как идет время!

«Ах, Окатов, Окатов... — даже пожалел председателя, оттягивая неизбежное свидание. — И чего тебе неймется? Ведь сказано: будь ниже травы, тише воды...»

Но долго рассуждать на эту тему не приходилось — к вечеру с делами надо было управиться.

— Стройся по два! — приказал своей разомлевшей за куревом команде.

Встали, загремели винтовками. Сержант, взглядом испросив разрешение, примкнул к его правому плечу. Правильно, иначе не построишься. Командиры должны быть впереди.

Путь их лежал на гору, в забережные леса. Новое Избишино было последней жилой деревней на этом берегу.

Ощетинившись штыками, небольшой, плотный строй ступил на избишинскую дорогу. Тяжело, слаженно топали сапоги, выбивая из земли вместе с пылью нечто стонущее и зыбкое — здешнее, мягкое и покорное: «Душ-шу жив-ву, душ-шу!..».

Топали, топали сапоги. Крепкие были подошвы, казенные.

Младший лейтенант Титов, к концу пути ставший уже окончательным лейтенантом, в последний раз закурил беломорину. Ухмыльнулся своим мыслям.

Впереди лежало распроклятое Новое Избишино — не побитое лагерями, не сожженное войной, не замытое даже морем...

Но такое ли уж несокрушимое?!



Виктор КОЧЕТКОВ

РУБЕЖ

* * *

Давно пора, весельчаки и нытики,
ответственность за прошлое деля,
могилу неизвестному политику
соорудить под стенами Кремля.

Что мы уперлись
в Сталина да Брежнева,
в пучину бед спуская решето,
когда страну валтузят пуще
прежнего
таинственные Некто и Никто.

Советники, соратники без имени,
заботою одной поглощены —
не подпустить непосвященных
к вымени
скудеющей кормилицы-страны,

во славу легендарной революции,
начальствуя в присутственных
домах,
лукавые готовить резолюции
на ежедневной тысяче бумаг.

В года застоя и эпоху гласности
с неистребимой хваткой деловой
создать умеют зону безопасности,
хранимую порукой круговой.

Им все равно —
столица иль окраина.
У них девиз — не веком жить,
а днем,
потом свалить все беды на Хозяина
и в одночасье позабыть о нем.

Ведь новый обязательно отыщется.
Случайности отвеет решето,
и будут вновь писать
бумажек тысячи
таинственные Некто и Никто.

* * *

Эту волчью повадку идейной свирепости
нелегко будет времени переупрямить.
Словно узник, бежавший из каменной крепости,
возвращается к нам наша русская память.

Сколько лет пребывала она в одиночестве,
на лице ее долгого плена усталость.
Со своими родными увидеться хочется,
а своих-то не так уж и много осталось.

Шла лесами она, бездорожьями дикими,
хоронилась, с погоней боясь повстречаться,
от жестоких ушла, разминулась с безликими,
остается теперь до глухих достучаться.

* * *

Жаркий полдень степного июля.
Виноградник. Кошара. Река.
Над оплечьем холма прикорнули,
как отары овец, облака.
Только ясень могучий и древний
малый остров прохлады хранит.
Тишина прибережной деревни
стрекозиною песней звенит.
Дали дымчатые обозревая,
над дорогою беркут завис.
Где ж ты, юность моя фронтовая?
Отзовись, отзовись, отзовись!

Вот он — старый рубеж обороны,
в затравелых прожилках земля.
Молодые, шумливые кроны
распростерли над ней тополя.
Вот и вмятина бывшей землянки
и траншеи витой поясок.

Здесь тогда нас утюжили танки,
методично вминали в песок.
И в атаку бойцов зазывая,
ротный хрипло кричал: «Шевелись!»
Где ж ты, рота моя фронтовая?
Отзовись, отзовись, отзовись!

Словно граб в окруженье подроста,
я стою на горячем ветру.
Без тебя мне сегодня непросто
понимать перемены вокруг.
Без твоей упреждающей воли,
даже если хотел бы, не смог
перейти через минное поле
современных проблем и тревог.
Я на зоркость твою уповаю,
ты моя и опора и высь.
Где ж ты, правда моя фронтовая?
Отзовись, отзовись, отзовись!

* * *

Да что ж мы, русские, молчим
в каком-то горестном смущенье,
когда уже неотличим
высокий суд от поношенья.

Когда насмешке отданы
не обветшалые кумиры,
а мужество во дни войны
и дружество в годины мира.

Когда, крепчая на ветру
средь нестихающего ора,
как по бикфордову шнуру,
бежит сухой огонь раздора.

Когда вчерашние друзья —
легко нашлось лихое дело,—
как те славянские князья,
отчизну делят на уделы.

Стучались деды в дверь Руси,
пластались у подножья трона,
моля настойчиво:
— Спаси
от разоренья и полона!

А внуки умствуют теперь,
победы выдают за беды
и заколачивают дверь,
в которую стучались деды.

А внуки, в выборе вольны,
свою ввели номенклатуру,
в пылу беспамятной войны
Петра меняют на Петлюру.

Давно ль клялись наперебой
в хмельной любви к старшому
брату,
теперь за тот стеклянный бой
тройную взыскивают плату.

Сочли ученые умы,
что не по той дороге едем,
и получается, что мы
опять должны своим соседям.

Пора сказать нам все как есть,
не поступясь в большом и малом.
И правду защитить, и честь
от разрушительного пала.

Давно пора очнуться нам
от громких хрипов одичанья,
а не платить тем крикунам
тяжелым золотом молчанья.



ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ

Как уже сообщалось читателям (в № 5 за 1989 г.), редакция журнала «Наш современник» совместно с Бюро правления Центрального совета Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость, секретариатом ЦК ВЛКСМ, президиумом исполкома Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР, правлением Советского детского фонда имени В. И. Ленина с 1 октября 1988 г. по 1 мая 1989 г. проводили Всесоюзный конкурс рассказов, очерков, публицистических статей под девизом «Честь и здоровье береги смолоду!». Его цель — с помощью высокохудожественных литературных произведений активно способствовать решению задач, выдвинутых в эпоху перестройки Коммунистической партией и Советским правительством по утверждению здорового, трезвого образа жизни наших людей, показать непреходящее значение для народа веками накопленных им нравственных, духовных ценностей, широко пропагандировать новые социалистические обряды и обычаи, всесторонне осветить опыт работы профсоюзных, комсомольских организаций, территориальных советов Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость, подразделений Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР, Советского детского фонда имени В. И. Ленина по формированию у населения нашей страны, и в первую очередь у молодежи, твердых антиалкогольных убеждений.

Жюри рассмотрело сотни рукописей, поступивших из всех регионов СССР. Авторы — люди самых разных возрастов и специальностей: не только профессиональные литераторы, но и рабочие, крестьяне, студенты, учителя, врачи, пенсионеры, ветераны войны и труда.

В конце сентября состоялось итоговое заседание жюри под председательством С. В. Викулова. Всесторонне обсудив отобранные в результате предварительного рецензирования 12 конкурсных работ, жюри приняло решение:

1. Первой премии не присуждать.

2. Присудить дипломы второй степени и денежные премии по 500 рублей каждая:

В. М. Мурзакову за рассказ «Здравствуй, Тоня!» (Омск);
М. А. Чванову за рассказ «Вещий Игорь» (Уфа).

3. Присудить дипломы третьей степени и денежные премии по 300 рублей каждая:

В. И. Бударову за рассказ «Наговор» (Алма-Ата);
В. С. Цмыгу за рассказ «Грузчики» (Пинск).

4. Отметить поощрительными премиями:

Н. П. Глота (литературный псевдоним Н. Залужьев) за рассказ «Блаженный» (Москва);
В. А. Кочерженко за рассказ «Папа Слава» (Тула);
А. Д. Мариничева за рассказ «Братья Мареины» (Ленинград);
Н. И. Родичева за рассказ «Мостик» (Москва);
И. Л. Сипачеву за судебный очерк «Ведьма» (Москва);
А. И. Смородину за рассказ «Промчался поезд» (Саранск);
Л. В. Цыплакова за рассказ «Послеполуденная исповедь» (Харцызск);
А. М. Лейтмана (литературный псевдоним А. Чернов) за рассказ «День рождения мамы» (Новополоцк).

Одновременно жюри отметило, что в рукописях в основном рассматриваются проблемы пьянства и алкоголизма, наркомании и токсикомании и практически не нашли отражения вопросы профилактической работы, формирования у молодежи трезвеннических убеждений, пропаганды новых обрядов и обычаев, деятельности трудовых коллективов и профсоюзов, партийных и комсомольских организаций, различных общественных движений. Это обстоятельство необходимо иметь в виду участникам будущих подобных конкурсов.

Е. А. ВАСИЛЬЕВ,
старший инструктор отдела
пропаганды ЦС ВДОБТ.

■

Николай ЗАЛУЖЬЕВ

БЛАЖЕННЫЙ

РАССКАЗ

ОН ЕЩЕ не родился, а деревенские бабы уже пророчили ему радостную жизнь. Бабам ли в угоду, своим ли движим благим порывом, изрек Никодим при крещении младенца многообещающие слова: «Без разума, а знает, куда ручонки подымать, — к небу. Не оставит такого Господь, зрю, не оставит. Да примет раба божия Федора счастливая Лета!» И все из родни, кто выловил слова те из многоголосого церковного шума, умиленно прослезились.

Надежен и верен родительский черемуховый очеп. Любовно и сноровисто обвил он руками-веревками плетеную зыбку, а та, призадремавшая с дитем, плавает, нет, летает-парит чуть ли не в самом поднебесье, баюкая Федюшу тонким поскрипом-песней. А он, полежавши довольно в пеленках, застукотил ножонками, свободы или живящего сердечного слова возжелав. Но голоса не подал: запаслива терпеньем младенческая душа. Заметив шевеленье, сняла мамка с горшка из-под пшенной каши расхитителя-таракана и тащит за две лапы Федюшеньке для показу:

— Вишь, таракашка — божья букашка сколь смекалист и ловок: во все места прощемится, все поразнюхает и будет сыт и доволен. Не гляди, что телом черен и головкой ущерблен, а дело крепко постиг. Смекалки не отымешь, зто верно. Но знавает ли его душенька радость — ту, земную, а? Знавает ли, тебя спрашиваю? Скукоженная, не боле иголкиного ушка. Э-эх, где уж ей. У нашего Федюшеньки, — при этом она широко размахнула руки, — во какая, во всю грудь молодецкую, вот сколь радости в ней умостится!.. Только бы не война.

Отняла родимое дитя у зыбки, прижала к груди и зажамкала, зацеловала того, ровно век не видались. И, кружась по горенке, изласкала словами: «Растите, ножки, топотучие-бегучие; крепитесь, ручки, умельчатые-мастеровитые; будьте, глазки, на горе-беду со щелку ситечка, на счастье-удачу — ширше озерца; и чтоб разум-ум командиром был и во вражий стан не предал-завел, да судьба тропу жизни все вела ко светлынным дням любви — души празднеству». Проговорив речитативом, вздохнула мамка глубоко, и у самой в затайке души страх ворохнулся: «Как бы не сглазить». В тихой полунадежде дошептала прямо в личико сыну:

Расти, мой желанный, расти, мой родной,
не с молотом браниым дружися — с косой,
Да и отчему небушку мысль устремляй,
и в душу по мысли-то спустится рай!

Так начиналось.

Не в ватагах мальчишьих, где шумно да тесно, а на вольном просторе в уединении любил пропадать Федюша: где березке слезинку-росинку смахнет с реснички, где багулу челку расчешет, а то и сказку мурашкам расскажет. Когда простора не хватало, возносился на небесные луговины и собирал из лучистых тамошних цветов золотые букеты для мамки, бабки Насти и остальных хороших людей своей деревушки, бродя и теряясь там, пока уж не гаснуло уставшее светило иль бабка не кликала домой.

С того и не зажился он в миру простым человечком, мигом приклеили насмешливое имя — Мечтатель. Но кому-то показалось это недостаточным и... перекрестили в Блаженного.

Быстрехонько промигнули ребячьи лета. И в подроще тоже вроде толком не побывал, а вот уж и юность, гляди, красным снегирышком припорхнула. А он все один да один, все на краю да с краю. Но странное дело: прижившаяся на устах его с раннего детства улыбка так и не слетала никогда. Кто в деревне радостный самый, кто по улке красным солнышком катится в день любой? — знамо, Федька Липилин. Стройным топольком тянулся вверх парень — давал роста господь, а крепь в плечах сама зашевелится с годами, мамка — та рада была. Не с гордости или зазнайства, а с робости да застенчивости девушек-румянниц сторонился, разве только в какую словечком стрельнет, да и то потом не знает, как в глаза посмотреть. А что сторониться-то их, коль времечко приспело?.. Чурались и те его: воистину блаженным считали. А с блаженным-то уж какая дружба: не созорничает, когда того девке сердце зажелает, от злого языка заступы не дождешься, а ежели дело потребует поперек мамкиного слова повернуть, так уж и вовсе забудь, девонька, и помысел такой. Зато праздник не праздник — в рот капли не брал, да и ловкостью не бахвалил, силой и ухарством народ не дивил, словом, жил наособицу. Не так, как погодки.

Как степенно уходил в Армию, так без шума и гульбы возвратился обратно. Свою милу, которую мыслью ласкал из далекого далека, в деревне застать не довелось: укатила на запад к подножью большого города да там и затерялась во многолюдье. Слухи ходили: мол, даже замуж не вышла. Других девушек, казистых и не очень, тоже куда-то унесло да еще и разбросало, подобно картофельным клубням, ежели куст-от с плеча тряхнуть. И полетели годы-годики черномастными грачами все назад, назад.

Нынешним летом тридцать пятый раз отзвонил в свой серебряный колокол ангел, отмечая Федорово рождество, тридцать пятый год подряд славил имя его. Для чего бы и делать такое? А вот славил и славил, не рассуждая.

Войны, как и просила мать, все не было. Сами по себе бабка и мамка ушли на вечный отдых, скоро, нежданно, века не дожив. В избе одиночество заплакало во всех углах. За избою — ни единой родной души. А кругом — болото, застойность и гнус...

В последнее время Федор пил много, часто, взахлеб, ровно страшился пропустить, не увидеть то долгожданное и сладимое, что сулило ему, как награду, сивушное зелье. Избу на ночь не запирал: «Кому я нужен?!»; деревенских словами пугал: «Пью и буду пить! Так надо»; вечерами, когда набредало, лупил кочережкой в рельс-набат: «Пусть слышат»; слез на улице не утирал: «Пусть видят»; гармонику и иконки бабкины топором искромсал: «Пусть знают!». Дела стояли. На днях рельс-набат утопил в пруду. Слезы иссякали. Трудно становилось уже и пить. «Пей, — приказывал себе Федор, — в этом твое спасенье!» И пил. Давился, блевал, головой бился о стены, прясла, косяки; в снегу околевал, в реке тонул, в болях загибался, но пил. И допился... до предчувствия скорого счастья: «Я знаю, рядом Оно, скоро уж, терпи!..» — кричал с крыльца на всю деревню не то пьяный до потери сознания, не то и вправду разошедшийся с умом человек. И верил сам себе.

И точно, нагулявшись вволю, наконец-то торкнулось капризное счастье в дверь холостяцкой избы, слабое, измученное, перевалило через изглоданный сапожищами порог и, насилу разглядев в куревном тумане человека, повисло у того на шее хомутом. А Федор, ошалевший от радости, остатний рассудок потерял, а то разглядел бы, что не счастье само, призрак лишь его в гости завалился, и не рвал бы прядками волос, когда Оно, переночевав, опять подалось мытарить по России.

С полуденного часа покатилось октябрьское солнце под гору. И вот провалилось в болотную нежить тайги. В избе же, навалившись грудью на нестроганую столешню, мычал с подстоном опившийся хозяин. Окостеневшими

Публикация премированных конкурсных рассказов будет продолжена в будущем году.

ногтями царапал, бороздил замшевшие доски, сжимал кулаки, в которых мерещились неподатливые божжи, потягивал их на себя, силясь сдержать уползающую испитую мысль о догоне беглеца. С позапрошлой недели стояли стоймя на столешне три буханки-черняги, четвертая, обкусанная с углов, каталась под ногами, на нее вскидывал Федор кирзач, пинал и бил о стену. Чесночная шелуха, огуречные обкуски да миска с насохшей коростой от похлебки не убирались с воскресенья, вонный дух загустел, набрал тяжесть. В углах завелись сутемки, они множились, выгоняя божий свет из избы. За обросшим паутиной и пылью, обсиженным мухами окном разглядел Федор кипящее зарево заката, а углядев, ужаснулся: небо горит — не много осталось и земле, все, все сгорит, вона огонь-то бушует почем зря, вона поле занялось. Щас и деревня пыхнет, щас... Завопят сволочи: «Не надо, не надо». А почему не надо-то, почему? Жизни ведь нету, дураки! Он почувствовал, что оттуда, с улицы, когтистой рысью кинулась на грудь ему жара, в тело впилась, полезла к лицу. В глазах зарябило. Еще больший ужас родился в нем, когда увидел он на каждом пальце по огненному лепестку. «Вот и я уже загорелся, с рук пошло. А там и волосы затрещат, голова обуглится, ноги отгорят — как жить-то буду? Жить, жить хочу! Бежать, бежать. А изба? Пошто ей умирать то от чужой руки? Моя должна быть воля на все, моя...»

Уронив столешню, а заодно и лавицу со стоявшим на ней ведром с водой, ринулся Федор в горницу. И давай тыкать горящими пальцами в занавески, желая поджечь. Одним, другим, всей пятерней, но те не загорались, даже дыма не возникало. В кармане спички поймал, и новый, горячий огонь рванулся по тряпицам снизу вверх. Мигом, словно моченные в керосине, воспламенялись высушенные на солнце материнские занавески и шторы. За ними и обои-газеты взялись, настенный плюшевый ковер с красавцем оленем. Видел Федор, как пламя, съев траву, накинулось на задние ноги оленя. И боль, должно, почуяв, зафыркал тот, заперебирал быстро и нервно ногами на месте. В глазу, обращенном на Федора, тоже огонь метался, только его и видел мужик — огонь, огонь. А в Федоровых глазах ровно синь заледенилась, холодны и спокойны. Дрогнул олень, ударил разом всеми четырьмя копытами в сожженную землю и выскочнул из ковра. Но не к окну бросился, не в двери, как положено в домах, а вверх взметнулся, под потолок, доски потолочные пробил и исчез в черном проеме. А-а-а, трус, побежал, жить побежал, все вы такие, как чуть што... А на душу нежданная веселка нашла. «Ах, красотища, хороша до чего! Не думали, занавесочки, што эдак придется покорчиться, ха-ха-ха. Пошипите, пошипите». По стенам удавом кровавым свивался огонь, а Федор плясать пошел на своем острове-пятачке и запеть хотел, да песен не нашел. Они три осени назад покинули его горевое жилище и с собою слова увели. А без слов-то чего запоешь, поди токо одно горемычное и воется: «ы-ы-ы». Наплясавшись, на пол рухнул и ползать начал да лаять по-собачьи, как, бывало, делал голодный Карай. Лаял Федор, визжал и смеялся, снова лаял, снова визжал. Дымом подавившись, припомнил порог и по-звериному, скачками кинулся из избы, попутно прихватив с пола бутылку с остатком самогона. Гонимому страхом, не разобрать уже было ему истинного пути, ломанулся с крыльца напрямик — только хрустнули, словно косточки, брусчатые перила. Серым сгустком дворовой тени шарахнулся сквозь огороды к болоту: в тайгу, в тайгу, тама Оно, тама. Иду-у-у-у!

Тайга не за горами, она вон за поскотиной, готовая принять в свое горькое лоно любого и всякого. Многих приняла, многих приютила, а скольких еще поманит-позовет.

Не помня себя, очутился Федор в заломе. Далеко бы убежал в горячке, кабы валежина не остановила — сунулся бегаль со всего маха в пружинистый пендус, ожгла лицо студеная мокрядь, и, разом обмякший, вытянулся тот облегченно, будто за этим и бежал. Фыркал, сплевывал запалившимся ртом липкую пену, хватал, помогая зубами, ознобный воздух. Недолго и полежал, как из деревни донесся утробный крик — должно, ополоумевшей от нежданного лиха бабы, а ему услышался голос матушки, покинувшей его в позапрошлую зиму, как раз на маслену. Сверкнулся в памяти чистый осколок былого, а

безумство подсунуло свое: «А-а, сына догоняешь, убить хошь...». И, вскочив испуганно, крича и отмахиваясь от гудящего гласа, бросился Федор к корбе, в сторону непроходимых марей.

Радушно раздвинулась корба от лева до права: выбирай, пропащая душа, и беги куда хочешь, везде тебе дорога и судьба.

Полверсты не пробежал — кончилась твердая земля, зафуркала под ногами сполошенным козодоем хлюпкая жемь. Слабый, невызревший туман никак не мог подняться во весь рост и потому ползал по нагнившим листам водяники, жирянки, пузырчатки, лизал шершавую поросль болотного мирта, подбела, окутывал вершинные пуки карликовых ив да подсвечивал снизу зависшую сутемь. Впереди, оттолкнувшись от сгорбленной ели, озленной росомахой взбиралась на небо луна: пришел час ночного дозора. Докуда хватало ее гляда и власти, будила, поднимала на ноги от дневного безделья болотные темные силы. Покоряясь ее приказу, вылетали из глухих урочищ и падей на ночную охоту нечистые духи рыскать по бескрайним владеньям, наводить тоску и мороку на людские селенья, путать слабые души, чтоб раем земля не казалась. Вот и Федорова душа, без того уж заблудшая, угодила в новый полон.

Расступился задремавший было ольшаник, и вынырнул оттуда с лосиную голову огненный шар, к Федору устремился, запрыгал перед ним. От необъяснимости сущего попятился мужик, но уперся спиною в кокору и пристыл. Глядит на шар во все глаза и делать не знает что. А шар-прыгунок, облетев мужика вкруговую, зашелестел осиновым листом:

— Не пугайся, Федька, иди за мной, к счастью выведу.

А того не надо уговаривать, затрясся от радости весь, глаза завлажнели, лицом просветлел. Закивал согласно:

— Пошли, пошли.

И пустились в неведомую дорогу шар и мужик. Обрадован нечистый скорой поимке, довольнехонек и Федор: это ли не удача, да и под ногами светло.

Давно тропа-тихоходка пересечена, давно остались позади и ямина-зыбун, и березит-камень минован еще в начале пути, а глядь — опять Федор ткнулся в него. Эк, чудо како, уж ходил ли я иль на месте топтался? Холодный озноб побежал по спине, ровно кто-то невидимый сзади плеснул студеной водой. Непостижимое творится. Бла-азнит. Дай-ко смигну. Раз, другой, третий мигнул — не пропадает каменюка, лежит и лежит. Вправо посмотрел — и там лежит, влево повернулся — и тут он. Тогда и вырвался неистовый крик из души, какого не знавала доселе округа. А валун смехом разразился, тяжелым таким, что стук по земле пошел, в ногах Федоровых отдался. Вторая трясучка схватила мужика, кровь замерла, и под конец гулко хрястнуло что-то внутри: знать, лопнула коренная жила, на которой держалась душа. Упал он на колени, уставился на каменище помертвелым взглядом и в мольбе растворился: «Царь лесной, валун болотный, воля твоя, сила твоя, но не губи, к цели иду, к чей я иду, душу отдам, не сгуби, не сгуби...»

Совсем уж негаданно-незванно, противу всех порядков и законов спасительной силы креста, выскокнул из камня белой тенью седовласый старик и быстро так вымахал с лиственницу ростом да басом загремел громовым, аж хвоинки посыпались дождем. У Федора сердце упало — ни жив ни мертв. Надолго остолбенел, а потом будто кто надоумил его — вдругорядь схватился за крещенье, бога на сей раз припомнил и руки к нему возметнул. И жданное свершилось: стал бессилеть лешак, осыпаться клоками, пока не съежился в убогого гнома, не более ольхового пенька, какой оставляют бобры при погрызе. И тоже, подобно огненному шару, вскок пошел, нашептывая непонятные человеку словцы. Невольно зашептал и мужик: «Што делает, што делает и не исчезает, токо преображается и вьется, вьется — некуда ступить. А не в меня ли уж он забрался, проклятый? Не он ли я?!! А-а-а-а!!!»

— Ну, здорово, Федька! Вот и ты ко мне припожаловал, не все мне, старику, ноги бить до тебя. Ну, слава силе! — уверенно и спокойно сказал как выстрелил гном.

— Ты кто такой, откуда знаешь меня?

— Э-э, Федька, Федька. То история долгая. Ты еще не родился, а я уж

тебя поджидал, ночи не спал, истомившись. Как сына ждал и счастье тебе заготовил.

— Правда? — обрадовался Федор.

— Да разве я похож на лжеца? С моими-то годами, способностями, родословной, а? Скажи лучше, чего ты орешь-то недорезанным на всю тайгу? Лекарство при тебе, вон из кармана горло торчит. Хлебай скорей, и пройдут твои беды, в ум придешь, в настоящий, и счастье тогда увидишь. — поглаживая Федора по коленке, хитро подсказывал гном, — пей уж, хватит мозги-то ломать, пей.

Удивился мужик, но послушал доброго совета, опружил бутылку, что уцелела, не выпала...

— Ну вот, а ты безумствовал, народ лесной покоя лишил.

Чудеса, чудеса, ровно с неба упали. Засиял бесцветный мир новыми красками, откуда что и бралось. И морок как провалился — светозарно да баско. Зри и ликуй.

— Э-э-эх, — сказал, словно закусил, Федор. — Век тебя не забуду, друг. Век. Дак где, говоришь, Оно, счастье-то, в какой стороне? В этой? Или в той? А может, там?

— Да, человек, там, там.

— Правду ли баешь, друг, сам-то хошь видишь ли его?

— Не веришь, что ли?

— А коли так, пошли ходче, нету терпежу.

Легко и уверенно ступал развеселый лешак, нигде не проваливался, не спотыкался, не тонул, похохатывал да задорил пристяжного: «Не обману, Федька, не такой я человек. Не отставай только, не отставай». И Федька не отставал: исправно гнала его нечистая сила безумства.

Вот обломышем ваги сапог распорол, кинул с ноги. На ветке еловой чуть глаз не остался. Уцелевшим сапогом пеиницу начал зачерпывать.

— Ништо.

Вдруг по пояс в зыбь провалился, насилу выскребся.

— Ништо-о.

Вот и по грудь саму затащило, вплавь хотел — руки пооббил. И опять:

— Ни-ишто.

Выбрался все ж. В бледнотелом свете луны не похож он был на человека: камень и камень катится по болотной равнине, черный, скользкий, немой. Куда? А кому такое и знать? Должно, куда надо: туда, куда должно.

Дождавшись Федора, радостно поразился гном и прямо на месте подскочил:

— Ну, браток, теперь ты, вижу, парень что надо, любо-дорого посмотреть. Спокоен теперь я, знаю, один доберешься, тут уж недалеко, вон в густолесье там. Марь перескочишь — и все. Ну, веселей, мужичок, дуй давай, — и, захохотав прежним каменным смехом, исчез. Его тайга, его болото, а дома-то и воздух помогает, токо дело зачни.

Не шибко обрадовался Федор пришедшей свободе, не горько и опечалился пропажей поводильщика, лишь круче согнулся в плечах, и само собой отпало от губ: «Ни-ишто». Потухшим рассудком не докумекался он, что водил его гномик кругами, смеялся над ним, похабничал и, накуражившись досыта, направил в елань — самое гиблое место. А он все спешил, спешил к своей цели, не чуя боли в исхлестанном ветками и сучьями лице, не слыша затихшего леса, не видя кричащей темноты.

С кочки на кочку, прыжок за прыжком. Да немного самому-то пришлось попрыгать: подломилась одна. Не испугался, не вскрикнул, токо руки крестом раскинул и повалился так назад в протухшую, застойную жижу. На спину хлестнуло мужика, в грязь, а ему примстилось — в мягкую перину. Будто спать угнездился, вот токо нету привычных стен, перегородки, прокопченного потолка, а заместо кего даль небесная открылась, до дна не доглядишься — короток взгляд для такого пространства. На иссиня-черном челе свечеревшего неба вспыхнули частые малюсенькие костерочки, не более уголька на загнетке. «И тама загорелось», — выдохнул Федор. Костерки, подобно овечкам, сбивались в кучу, носились очумевшие по верхнему пастбищу, бились друг с другом — искры летели, то разбегались к закрайкам поодиночке. Но вот костры

уже не костры — деревня вытянулась длинной веревкой, и из каждой избы свет ли, огонь ли рвется наружу. «Вечер тама, поди, с работы бабы вернулись, печи запалили, а заслонки забыли поставить, вот огонь-то и плещет в окошка, — думал Федор. — А здесь отчего свет такой багровый, чья это изба третья с краю на южном порядке? Не дровами, черти, топят, кровью, поди, печку начинили, вот и окровенился свет-то... Э-э, изба-то моя! Кто же хозяит в ней, коли меня-то нету? А-а, бабка прознала, што дом простывает, нежилым потянуло, и притащилась гнездо спасать. Двери-то пошто не притворила — улицу не натопишь. Память с собой не взяла, забыла в домовине. А это кто по гусиной травке к дому вприпрыжку скачет, чей ребенок такой счастливый? Ах, да это же я! Ну конечно, я. Вот и удилище ореховое с трещинкой на рукоятке. А штаны-то, штаны, ишь как раздулись от пескарей — повезенка седни была». И вот уже слышится Федору слово ласковое — то бабка встречает его у крыльца:

— Бежишь, сладкий мой стебелек, опора и надежа моя. Не забыл про бабку-ти. На-ко кулебяжку, проголодался, чай. Пожуй, пожуй малешко, покуль я окроху спроворю.

— Ску-у-у-сно!

— То-то! Ох, Федюшенька-Федюшенька, да хошь бы ты к мамке-то спорхнул, на покос-от, огурчика, коврижку снес. Да и соскучилась по тебе мамка-то, вон с утра уж вся я изыкалась. Сбегнул бы, порадовал. Ноне сама-то не заявится, поженку, бат, враз-от не одолеть, порато велика да умаиста.

— Ла-а-а-ад-но...

Видит Федор, как побежал он не в избу, не в поле к мамке, а в огород, за баню, и удивился тому: «Куда же я бегу-то? Ишь, ведь за великом шмыгануя, ну так щас дам ему жару. К мамке хорошо, а на поляну, мяч гонять, — лучше того. Ребята, поди, заждались. Ну, щас, мигом. Эх, примчался. А мяч-то где? Где ребята? Нету. Эй, люди, где вы, пошто разбежались, как одному-то играть? Эх, не туда заехал. Но лес — тот. Тропа была — та. Небо — тоже то. Почему же оно такое тяжелое, дымное? И звезды? День же щас, бабка корову еще не загонивала?..»

Над ним, Федором, над еланью, над тайгой стояло и мучилось небо. Оно пенилось, дрожало, корежилось, выгибалось, даже каменело. А порой, наоборот, мякло, распяливалось до пленочной тончины, готовое вот-вот лопнуть и разлететься на клочки. За ним в этот миг проглядывала неведомая Федору твердь, зеленая, — будто другая Земля в июльском травном окрасе. Небо вдруг застонало раненым зверем и вниз поползло, пропало за суземом. На его месте появилась стеклянная чернота. Найдя в ней щелки, выкатились из нее две мигучие звездочки. Стряхнули с себя ошметки темени, заспешили на землю, в елань, к человеку. Подлетев, зависли над ним, да так низко — рукой потрогать можно бы, если бы встать. Пошто близко, разве эдак бывает? Нет, это я, значит, в небо поднялся. А где же бог, что-то не показывается взглянуть на пасынка свово? Посмотри, какой я теперь, посмотри. А помнишь, каким я был, а? Но нету бога, нету даже неба, одни сиреневые звездочки поблескивают над ним и ровно бы тают, как сосульки соломенных застрех на пригреве, облетая порхучими каплями. А капли кружатся, высматривают, куда бы приземлиться, и, сделав выбор, невесомыми бабочками садятся на лицо. Щекотно Федору, морщится он и бормочет: «На звездыньках дождик, на звездыньках весна! Ха-ха-ха». Погладить решил, потянулся, но не успел: не звездочки — глаза человечьи глядят на него. И тоже влажным светом исходят. Отдернул руку недоуменно. «Балуете, меня забавляете, ха-ха». Глаза человечьи ему не ответили, туманом заволоклись и внутренний свет пригасили. «Ишь, хоронятся, меня боятся. Я страшный? Я большой! Я сильный и дерево могу вырвать — во я какой. Э-э, да они грязи на мне испугались, она страховидна. Дак чего и бояться, она не чужая. Я-то беленький, чистенький, на свете с ноготь живу, когда свою-то успел нарастить? Эй, глаза, что тут делаете, что потеряли? Или тут проживаете? Пошто спать не даете, ведь ночь на дворе. Самих сон не берет, дак... Вон сполохи вижу в вас, синие такие, синющие. Ходят из края в край, из одного в другой. Заблудились, что ли? Что покоя-то не хотите? И больно знакомы. Больно знако... Или нет? А может, и нет. Дак откудова знаю, отку... Чьи вы такие суетливые? Ну, чьи, чьи?..».

Не сознавая, что он еще жив, Федор перешел в то состояние, когда не существует ни чувств, ни желаний, пространство и время остались в прошлом, а в настоящем ощутимо только одно — редкие, сонные удары сердца, или вялое, загустевшее течение крови, или блуждание неприкаянной мысли в образе тусклой искры. Внутренним зрением Федор увидел в себе эту искру, но остался безразличен. Но кто-то неведомый ему, живущий в нем, возмутился ее появлением, он сердился, приказывал ей: «Уходи. Уходи навсегда. Оставь нас в покое». И она покорно пошла. Вскоре же, заблудившись, попала в какой-то тесный, душный коридор. Задыхаясь, стала слабеть и чуть было не погасла совсем, но тот, «неведомый кто-то», сжалился, решил спасти — вытолкнул ее на простор. Это оказалась обитель души. Почувствовав свободу, искра вспыхнула ярко, озарив все вокруг своим радостным светом. И тут со всех сторон вдруг устремились к ней светлые, трепещущие блики былого, за ними появились крупные вспышки воспоминаний, они налипали на нее, образуя пылающий кипящий ком — ком ожигающей памяти. Он быстро рос, менял форму, яркость, окраску, потом внутри его что-то заклокотало, и под конец, переполнившись напряжением, ком взорвался. Из взрыва вырвалось что-то узкое, сверкающее, дерзкое, похожее на лезвие клинка, взметнулось вверх, легко пробило грудь и вышло наружу. Молния, вылетев из человека, на мгновение растерялась, но тут же, направленная неусыпно зрячей жаждой жизни, метнулась Федору в голову. Он видел молнии полет и чиркнул взглядом по телу ее. Молния угодила в лоб. И болью пронзилось сознанье:

— Ма-а-а-а-ма!!!

Столкнувшись с молнией, взгляд Федора обжегся, растекся на жаркие оплавки, те осыпались вниз, в сиреневые озера, и потонули. Вскипела озерная глубь, забурлила, по вспученной води дрожь побежала — нету уема, но не выплеснешься: круты да высоки глазниц берега.

А в это время от земли, всесильной и вечной земли, уже ползла по груди, шее, подбиралась к беззащитным озерам хищная жижа. Запутавшись в бороде, пошла в обход — по щекам, все выше, выше, выше... Тихо, покорно ушли под нее крохотные, чуток лишь и пожившие на свете два озерка из живых, не успевших еще и остыть человеческих слез. Но успелось подумать Федору, успелось даже прошептать: «Как просто-то все, мама. Што бы раньше-то знать...».

Федор жил еще долго, пока отдавал ему свои силы глоток воздуха, случайно, по привычке схваченный ртом. Впереди предстояла дорога, дорога в неведомое будущее, тоже трудная, мучительная, безрадостная, а он... Он улыбался счастливо.



Виктор ВАСИЛЕНКО

СНЕГ ПЕЧОРЫ И ИНТЫ

Вьюга в тундре

Я много раз возвращаюсь мыслями к тундре.
Она совсем недалеко, почти что рядом!
Ее можно увидеть из окна. Она возле барака.
Тундра в январе месяце (я пришел сюда в этот месяц)
днем ослепительно бела, белесовата ночью.
По всему простору, а простор тундры огромен, лежит снег.
У нас в России любят снег.
Он мягок, ласков. Он хорош, когда летит с неба,
но здесь снег другой. Это снег Печоры и Инты!
Это снег пустынного Абезя,
где тундра уже лежит воочью, дышит и угрожает;
она спускается к оледеневшей Исе,
чьи воды тяжелы и почти неподвижны.
Я не знал, что снег здесь так грозен и жесток!
Земля укрыта снегом, снег непреодолим.
По нему страшно идти, а пойдешь — тебя встретит беда!
Беду можно отвратить, если знать, как бороться со снегом!
Снег — это враг! Снег хоронится за кустом,
он за любым увалом, он скрывает увал.
Снег выползает на тропу, вздымается облаком, кружит, звенит!
Мало кто знает, что снег иногда звенит!
В его звоне предостереженье о беде!
Он залепляет глаза, забивается за воротник;
снег прорывается в дыры плохо запахнутого бушлата.
Тропа, где ты только что шел, исчезает.
Если ты далеко отошел от жилья — это опасно!
Можешь потеряться, а снег, чертя в воздухе странные фигуры,
изменяет раньше знакомый вид. Ты — заблудился!
Куда идти? Что делать?
Когда вздымается снег, спеши к бараку.
Снег сооружает стены. Как пробиться через них?
Стены кипящие, движущиеся, и оттого особенно страшны.
Трудно решиться пройти сквозь эти стены!
Днем — все темнеет и серая глубь окружает. Хода нет.
Вечером — сразу сходит ночь,
будто она выпрыгнула из ближайшего куста.
Ночью тундра ужасна! Идет снег!
Он идет не тихо, носится, кружимый пургой!
В пурге слышатся крики — кто кричит?
Кажется — движутся звери, а может, чудовище, но какое?
Я часто видел его колышущиеся головы.
Иногда мне казалось, снежное чудовище можно измерить!

Оно хрипело, фыркало, порою выло пронзительно.
Оно искало меня, но у него нет глаз. Оно чуяло меня!
Чудовище жило в тундре, но где его логово, я не знал!
Когда возникала пурга, выходило чудовище,
шумно перекатывалось по снегу, было в своей стихии.
Не дай Бог никому встретиться с ним!
Надо тут же бежать в барак, закрывать дверь.
Разжигать печку, если есть принесенный с шахты уголь.
Смотреть и смотреть на горящие угли.
Только огня боится чудовище тундры!
И тогда начинает неожиданно петь мой друг,
живущий за печкой сверчок!
Поет и поет он! Как хорошо, что он запел!
Тундра укрощена песней сверчка!
Спасибо ему! Маленький герой!
Он вышел на огромное чудище. Не побоялся!
Бери пример с него!
Бедный узник! Бог послал тебе его в помощь!
Тебя уже нет в тундре. А живет ли он в бараке?
Нет его, наверно. Ведь барак брошен. Там холод!
Но сверчок живет в стихах. Он герой твоей поэмы!
Бери пример с него! Муза послала его тебе!
Она сама привела его в тундру, в барак, поселила в нем!
Я верю в это. Спасибо музе!

Абезь, 1950 — Москва, 1963

Я строю

Меня поставили заделывать крышу.
Я обошел барак, влез по лестнице
и сразу глянул на снежный простор:
сколько неба
и сней-пресиней тундры!
Это меня немного утешило.
Но работа есть работа.
Я должен был заделывать крышу.
Я брал длинные и тонкие доски
и прилаживал их друг к другу,
а потом прибивал гвоздями,
а гвозди были кривые и плохо
в мокрое дерево шли. А через час
ветер поднялся и снег закрутил,
стало страшно на крыше.
Глаза мне залепило,
бушлат расстегнулся,
готов я упасть был, да зацепился,
крепко за балку схватился, повис,
не упал. Помиловал Бог.
Вьюга ж пошла говорить и кричать,
я же, не видя, на ощупь вгонял
еще гвозди,
плакал, старался лицо отвернуть —
так, чтобы вьюга не била в него.
Только мне это не удавалось.
Но вот гвозди забиты,
и стал я слезать.
Медленно вниз я спускался,
с трудом.
Я разминал отекшие ноги.
А ноги застыли, и мне показалось —
нет больше ног у меня.
Стало страшно.
Но с трудом дотащился до лавки
и сел,
стал растирать, разгибать мои ноги.
Кровь возвращалась,
сперва неохотно,
после скорее пошла, а потом
и совсем
быстро по жилам она побежала.

1952—1960.

Как писались мои «северные» стихи

Где распахнулись болотистые и невзрачные леса,
низкорослые, с деревцами, часто не доходившими до пояса,
в урочищах Инты и Абезя, расположенных на пороге вечной тундры,
там зародились чувства и мысли, давшие крылья и силу моим стихам!
Образы, населившие их строки, появлялись в трудные утра,
в тяжкие дни и вечера, а иногда ночи!

Передо мною раскрывалась сумрачная поэзия этого леденящего края;
да, в нем была поэзия, и хотя было трудно,
я пытался увидеть ее, понять ее!
Заполярье, страшное и тяжкое,
открывалось в необъяснимой красоте своей;
над Полярным Уралом ранним утром,
когда я стоял и смотрел на белевшие отроги,
над Уралом разгоралась, текла, плыла киноварная заря;
ее потоки заливали вершины гор, бежали по отрогам;
я видел: они проникали в ущелья, выплескивались в тундру.
А тундра подходила прямо к Уралу и замирала возле него,
замирала зверем, встретившим трудное препятствие.
Солнце вставало, но ненадолго.
Его красный, тусклый шар медленно взлетал кверху,
и начинали блестеть кряжи, мерцали ледяные поля.
Но это зрелище — смутное и великолепное — было кратким.
Скоро вьюга, с грозными посвистами, с рыданьями, с громами
заполняла ложбины, вскипала у валунов,
взбивалась до гребня скал седою пеною.
Урал исчезал, заря не окрашивала гор. Ее просто не было!
Взор привлекали сугробы, родившиеся в эти минуты.
И жалкие, продрогшие до боли, обветренные ивняки.
Но и здесь было свое величие, свой далекий от человека мир!
Но лучшее — это время короткой весны и короткого лета,
когда появлялись птицы, оживала в травах и цветах тундра;
неслись почти прозрачные невесомые облака,
а под ногами урчала вода и ломались,
рассыпаясь со звоном, корочки льда.
На бугорках ютились птицы и даже показывались бабочки.
Вот об этом и рассказывают —
о страшном и о светлом мире — мои стихи!
Стихи, возникшие в те суровые годы изгнанья
и после, когда я покинул эти места!
Но почему же я люблю их до сих пор?
Или часть моего сердца, больного и горящего, осталась там?
Да! я покинул их, но что-то большое, мое, осталось там,
зарылось в снегу,
запряталось в мерзлой земле, растеклось по тундре,
откуда я увидел Полярный Урал:
его ледяные кряжи спрятались в жалкой травке,
окунулись в чашечки невзрачных цветов:
вот об этом, порою несвязно, отрывисто, всегда с болью,
говорят мои стихи!
Хороши они или нет — я не знаю!
Может быть, они и плохи! Но они правдивы!
Но и не в их хорошести или в чем-то ином дело:
в них совсем другой отсчет времени, другая мера,
ею и нужно мерить мои стихи, рожденные Севером,
стихи, рожденные в годы моего изгнанья!

1989

Василенко Виктор Михайлович (род. в 1905 году) — один из старейших русских
поэтов, исследователь русского народного и древнерусского искусства, профессор
Московского университета им. Ломоносова. Стихи начал писать очень рано, а пер-
вые сборники выпустил в восьмидесятых годах — «Облака» и «Птица солнца».
В 1947 году В. М. Василенко был безвинно осужден по сфабрикованному делу
поэта Даниила Андреева, сына известного писателя Леонида Андреева, отбывал зак-
лючение в политических лагерях Инты, Печоры, Воркуты и только в 1956 году был
освобожден.
Стихи, предлагаемые вниманию читателей, были вчерне написаны еще в Вор-
куте, а завершены совсем недавно. Как признается сам поэт, именно русское слово
помогло ему прожить пусть горькую и суровую, но большую жизнь.

СЛАВЯНСКИЙ МИР: *к 600-летию Косовской битвы*

«В РОД ИЗ РОДА ПЕРЕЙДЕТ ПРЕДАНЬЕ...»

Это было самое трагическое событие во всей истории сербов, отголоски которого докатились до XX века. Тень этого события легла на судьбы всего южного, всего балканского славянства, над которым на многие века возгорелся кровавый, мученический ореол.

В междугорье на юге Сербии, на Косовом поле, при впадении реки Лаб в реку Ситницу, 15 июня 1389 года сошлись два войска: сербско-боснийское под предводительством сербского князя Лазаря и турецкое — султана Мурада I.

Турецкая рать значительно превосходила славянские силы. Но бой не мог не быть принятым — речь шла о независимости древних славянских земель, о свободе и чести Сербии, о сохранении христианской веры...

Героический подъем сербов накануне решающего сраженья, готовность победить или умереть сопоставимы с возвышенно-патриотическим настроением русских, вставших под знамена Дмитрия Донского на Куликовом поле против Мамаевой орды. Все сербские мужья, все братья, все домочадцы мужеска пола, воеводы и слуги — все как один, повествуют народные песни, не только пошли за князем Лазарем, но и горем, позором сочли бы необходимость остаться дома, вольно, невольно ли уклонившись от поля чести. То был единый рыцарский, священный порыв, равно охвативший и богатых воевод, и простолюдинов.

Геройски сражаясь, воистину не щадя живота своего в битве за Родину, воины князя Лазаря чуть было не одолели турок. Но, как и во всей средневековой истории — всех европейских народов — в эпоху складывания централизованных государств, тут, на Косова, в решающий миг битвы дала о себе знать феодальная междоусобица — разлад меж воеводами. И потому турки, понеся огромные потери и, пожалуй, уже неожиданно для себя, победили. Тяжело раненный князь Лазарь попал в плен и был казнен. Преданье обвиняет в измене княжьего зятя Вука Бранковича, «клятого Вука», который, когда сербы уж были близки к торжеству, увел с поля битвы большой отряд сербских ратников.

Черные враны с крылами, «по плеча покрытыми кровью», понесли по всей Сербии траурную весть о роковом пораженье.

Сербия стала вассалом Турции, а через сто лет, в 1489 году, утратила и последние остатки своей независимости. Турецкое иго над Балканами длилось пятьсот лет. Оно, предопределенное Косовской битвой, стало общеславянской болью, а в XIX веке — прямой русской заботой. Судьба балканских славян, жестоко угнетаемых турками, насильственно ассимилируемых, но все же хранивших, порой именно в катакомбах, свою культуру, языки, вероисповедание, — эта судьба подневольных Османам славян, точно рана, пылала в сознании их восточных братьев. Тысячи русских добровольцев пошли в 1876—1877 годах на «сербскую войну» (как тогда говорили) ради освобождения южного славянства.

От круч Днепра всего видней — Балканы...
В окно стучится сербская страда! —

мог написать современный русский поэт, вспоминая уже наши семейные преданья. «Всего видней», ибо — всего больней...

И вот в этом году весь славянский мир отмечает 600-летнюю давность незабываемой Косовской битвы. Столь отличной от нашей Куликовской по своему исходу и перспективе и столь схожей с нею по *типу противостояния* на обоих кровавых полях: славянского противостояния, героического патриотизма. Этот юбилей совпал с новой национальной трагедией в югославском Косово, где снова лилась сербская кровь, и страница древней истории с давнишним столкновением двух, так до конца и незамиренных миров, духовных, национальных стихий — задышала горячею злободневностью.

И все же: зачем помнить — отмечать и как будто «увенчивать» день пораженья, год, открывший собою некогда пять столетий рабства?

Затем, что Косовское пораженье отнюдь не было бесславным. И дело не только в том, что мертвые — а пало на Косово столько славян! — сраму не имут. Дело в том, что тяжкая, горестная битва выдвинула легендарных героев, навеки вошедших в пантеон славянской славы. Воевода Милош Обилич и сам князь Лазарь, старый Юг-Богдан и девять Юговичей-братьев, Иван Косанчич, Милан Топлица, Страхинья Банович — так же бессмертны, как и родственные им сподвижники Дмитрия Донского, герои Куликова — от воеводы Боброка до Пересвета и Осляби; как и сам московский князь Дмитрий Донской...

И, наконец, Косовская битва выявила тот особенный, героический *национальный характер сербов*, без какого нельзя представить себе красоту человечества. Тот характер, который снова подтвердил себя в годы второй мировой войны: свободолюбивый и самоотверженный, рыцарски патриотический,

исповедующий мужество, честь, верность общеславянскому братству. «Серб от Косова» — коротко говорят о несгибаемости этого характера.

Однако же лучше самого народа — кто расскажет обо всем этом? И народ создал цикл исторических песен о Косовской битве. «Лазарице» — еще называют его, ибо образ князя-заступника за отчую землю, сопричисленного к лику святых, организует многие из их сюжетов. Рядом с ним — царица Милица, из рода Юговичей, верная жена, сердечная, духовная опора героя, имеющая нечто общее с Ярославной из «Слова о полку Игореве».

Предлагаемый перевод одной из центральных Косовских песен выполнен для книги «Герои Косова поля». Строгая простота эпического сербского десятисложника с цезурой-паузой после четвертого слога, удобной для певца, аскетизм песенного синтаксиса, бережно-традиционная лексика, лаконизм в передаче крупных характеров и чувств — эти архаические черты служат монументальности народно-поэтического изображения.

Царь Лазарь и царица Милица

Царь с царицей сели за вечèрю,
Ужинают Лазарь и Милица,
Государю госпожа и молвит:
«Золотая сербская корона,
Завтра, царь, на Косово ты едешь,
Воеводы, слуги — за тобою,
Всех юна́ков уведешь на битву,
В доме царском никого не будет,
Кто тебе бы весточку доставил
И назад бы с Косова вернулся.
От царицы заберешь братьев,
Девять братьев, Юговичей милых,
Одного бы хоть оставил брата,
Чтоб его я именем клялася».
Сербский Лазарь говорит на это:
«Госпожа ты, свет ты мой, Милица,
Ты какого бы желала брата,
Чтоб на белом я дворе оставил?»
«Ты оставь мне Юговича Бошко».
И Милице отвечает Лазарь:
«Госпожа ты, свет ты мой, Милица,
Вот как завтра белый день настанет,
Солнце встанет, белый день настанет,
Городские отворят ворота,
Ты ступай к тем городским воротам,
Разобьется по отрядам войско,
С копьями ты конников увидишь,
Перед ними — Бошко-знаменосец
Крестно знамя понесет святое.
Скажешь Бошко: царь благословляет,
Чтобы дома он с тобой остался,
Чтобы знамя передал другому».
Утром рано, на рассвете белом,
Отворились градские ворота,
Тотчас вышла из палат Милица,
Чтоб дружину при воротах встретить.
Вот и войско двинулось рядами,
С копьями-то конников отряды,
Перед ними — Бошко-знаменосец.
В чистом злате, на коне он рыжем,
Крестно знамя стан его одело,
Достигает и коню до крупа,
Яблоко на знамени златое,
А на яблоке — кресты златые,
На крестах же — золотые кисти,
Бьются, хлещут по плечам юнацким.
К милу брату кинулась Милица,
За уздечку рыжего схватила,
Шею брата обвила руками,
К сердцу Бошка так возговорила:
«О мой брате, Югович родимый,
Мне, сестрице, царь тебя оставил,
Он дозволил в бой тебе не ехать,
Княжеское рек благословенье,
Чтоб другому передал ты знамя,
Оставался сам бы в Крушева́це,
Чтобы братним именем клялась я».
Но ответил Югович Милице:
«В белую ты возвращайся башню,
Я ж с тобою не пойду обратно,
Крестное не уступлю я знамя,
Хоть бы царь мне Крушевац свой отдал.
Не хочу я, чтоб смеялись люди:
«Полюбуйтесь Юговичем-трусом!
На́ поле он Косово не вышел,
Пожалел он кровь пролить за веру,
Крест честно́й он защитить робеет».
И к воротам вскачь помчался Бошко.
Тут Юг-Богдан старый едет следом,
Юговичей семеро ведет он.
Друг за дружкой братья проезжают,
Да не смотрят на сестру Милицу.
Миновало времени немного —
Воин Югович ведет запа̀сных,
В чистом злате-то, коней для князя,
Сам же едет на коне буланом.
Булано́го за узду схватила,
Шею брата обвила Милица:
«О мой брате, Воине родимый,
Мне, сестрице, царь тебя оставил,
Княжеское рек благословенье,
Чтоб другому передал коней ты,
Оставался сам бы в Крушеваце,
Чтобы братним именем клялась я».
Отвечает Югович Милице:
«В белую ты возвращайся башню,
А юна́ков не зови с собою:
Не оставлю княжеских коней я,

Даже если смерть испить придется.
Я на поле Косово поеду,
Чтоб, как братья, кровь пролить за веру
Да за крест наш за честной погибнуть».
И к воротам вскачь помчался Воин.
Как царица увидала это —
Так и пала на студеный камень,
Так и пала, памяти лишилась.
Подъезжает тут и славный Лазарь.
Как увидел госпожу Милицу —
Слезы градом по лицу скатились.
Глянул вправо, поглядел налево,
Голубана верного приметил:
«Ой, слуга мой, верный Голубане,
Ты с коня бы, с лебедя бы, спрыгнул,
Взял царицу да на белы руки,
В белу башню царскую отнес бы.
Разрешенье я тебе дарую:
Не поедешь ты со мной на битву,
В Крушевце я тебя оставлю».
Как заслышал Голубан такое,
Пролил слезы по лицу по белу,
Все же спрыгнул с лебедя-коня он,
Взял царицу да на белы руки,
В белу башню госпожу отнес он.
Только с сердцем сладить он не может,
Что дружина без него уходит.
Воротился к лебедю-коню он,
Вскачь на поле Косово помчался.
А назавтра, на рассвете белом,
От широка Косова два врана,
Ой да черных врана прилетели
И на башню белую упали,
Башню князя, Лазаря честнóго.
Каркнул первый, а другой покликал:
«Это ль башня Лазаря честнóго!
Кто живой тут, на царёвой башне!»
Но никто их в башне не услышал,
Услыхала лишь одна Милица
И выходит к воронам из башни,
Молвит черным воронам царица:
«Ой же, враны, вóрона два черных,
Вы откуда, вороны, летите,
Уж не с поля Косова ли часом!
Видели ли две могучих рати!
И была ли между ними битва!
Да какое войско одолело!»
И царице враны отвечают:
«Ой, Милица, госпожа-царица,
Прилетели с Косова мы утром,
Видели мы два могучих войска,
Видели мы давеча сраженье,
Два царя на Косово погибли.
Мало турок уцелело в битве,
Но от сербов если кто остался, —
Раненные, истекают кровью».
И покуда шла у них беседа,
К ним подъехал и слуга Милýтин.
В левой держит правую он руку,
Ран на теле у него семнадцать,
Жеребец весь тоже окровавлен.
Милутúну говорит царица:
«Бог с тобою, наш слуга несчастный,
Ужли предал ты царя средь битвы!»
Отвечает Милутúне верный:
«Помогла бы ты с коня сойти мне,
Да умыла бы водой студеной,
Напоила бы вином червонным —
Тяжки раны крепко одолели!»
Милутину помогла царица,
И умыла студенóй водою,
Напоила и вином червонным.
Как очнулся, как пришел он в память,
Спрашивает у него Милица:
«Что же было там на поле ровном!
Где погибнул наш преславный Лазарь!
Где погибнул Юже-Богдан старый!
Где погибли Юговичей девять!
Где погиб Вук Бранкович, поведай!
Где повержен Милош-воевода!
Где Страхиня Банович повержен!»
Начинает свой рассказ Милутин:
«Все, царица, на поле остались,
Там, где славный государь наш Лазарь.
Изломалось копий там без счета,
Сербских копий и турецких тоже,
Только сербских больше, чем турецких.
Защищали сербы государя,
Лазаря-князя славного, от турок.
А отец твой, Богдан Юг, царица,
Пал в начале, в самой первой схватке.
Восемь Юговичей пали тоже,
Брат за брата все они погибли,
До последних сил рубился каждый.
Доле братьев оставался Бошко,
Крестно знамя возносил над полем,
Точно сокол — голубины стаи,
Разгонял он турок в лютой сече.
Где уж крови было по колено,
Пал Страхиня Банович, царица.
У реки-то Ситницы студеной
Был повержен воевода Милош,
Положил он там премного турок,
Порубил он их двенадцать тысяч
И царя турецкого Мурата.
Да спасутся, кто родил такого!
Сколь пребудет Косово и люди,
Будут сербы помнить воеводу —
В род из рода перейдет преданье.
А коль хочешь знать о клятом Вуке, —
Проклят будь, кто породил такого,
Все колена прокляты,
все племя!
Отступился от царя предатель,
С Косова увел двенадцать тысяч
Бранных сербов в кованых доспехах».

Предисловие и перевод с сербско-хорватского Татьяны ГЛУШКОВОЙ.

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Только за одно десятилетие, с пятьдесят девятого по семидесятый год, погибло более двухсот тридцати тысяч сел и деревень. Эпицентр трагедии пришелся на Центральную Россию. За последнюю войну здесь уже было сожжено семьдесят тысяч деревень. Это что же — в мирное время мы испытали на себе еще как бы три войны! А ведь крестьянство составляло силу России: из каждых десяти солдат в окопах было восемь крестьян.

ОТ ГОРЬКИХ УТРАТ К ВОЗРОЖДЕНИЮ

Беседа известного писателя Владимира ЛИЧУТИНА
и поэта Григория КАЛЮЖНОГО — членов общественного совета
по созданию Энциклопедии уходящих деревень —
о неразрывности судеб России,
деревни, русского народа, крестьянства.

В. Л. С двадцатых по сороковые годы да и позже мы старательно занимались тем, что срезали «чернозем» с нивы национального характера. Сколько времени потребуется на восстановление нации?.. В ближайшем будущем города начнут «усыхать» и человеческое половодье отхлынет от них, станет заполнять естественное пространство. Ибо крупные города таят в себе разрушительные свойства. Такие процессы уже идут в некоторых зарубежных странах. Я не говорю, что все деревни восстановятся. Но и «растекание» городов по лику Земли не бесконечно. Гибнет деревня — гибнет город, гибнет земля русская.

Русский народ довольно молод, он на стадии природного и исторического вызревания, он лишь поднимается вверх по склону. Однако, не достигнув вершины, как бы замедлил поступательное движение, даже стал соскальзывать, в чем-то терять свою национальную физиономию, привычки, натуру, те самые черты, что отличают один народ от другого. Народ обреченно отдался той волне, тому потоку, что обрушился на нашу землю и рассеял, смял самых выносливых, самых терпеливых, самых опытных мужей и унес с собою в жертву, на заклание. И та растерянность, коей десятилетия назад была охвачена интеллигенция, присутствует и поныне: мы до сих пор не знаем, как нам двигаться далее, а многие заповеди не то чтобы преданы забвению, но с великим искусом пересмотрены.

Г. К. Вы говорите о фактической потере ориентировки. Нужно разобраться. Начнем с того, что революцию часть русской интеллигенции приветствовала. Блок, например, призывал слушать музыку революции. Но тот же Блок, умирая, скажет: «Но не эти дни мы звали, а грядущие века». И Гумилев перед смертью воскликнет: «Мы никогда не понимали того, что стоило понять...» Что поняли, что увидели в последние часы своей жизни Гумилев и Блок? Складывается впечатление, что в революционное движение народа круто вмешалась и обнаружила себя какая-то третья сила?..

В. Л. До поры до времени крестьянин жил в каком-то состоянии покоя, быть может, и эйфории — видимо, из-за того экономического благополучия, к которому Россия двигалась неуклонно. Мы напрасно много лет убеждали народ, что Россия была мрачная, лучинная, пьяная, забитая и загвазданная, не с ликом и даже не с лицом, но с харей и рожей. Но верный сын стыдится матери лишь в юности. Даже в девятьсот шестнадцатом году не было в России хлебных карточек — разве это не говорит о крепости державы? В Мезенском музее сохранилась «заборная книжка» моего дедушки Петра Назаровича. Это уникальный по правдивости документ. В кни-

жку записывались все покупки, а после подбивались «бабки». В конце месяца, когда подгадывали деньги, заборщик товара расплачивался с купцом. А ведь товаришко завозился на карбасах, лодках, лошадьми, долгими обозами из Москвы и Питера. Самый близкий базар — в Пинеге, за двести верст. И вот в шестнадцатом году («заборная книжка» тому свидетельница) в мезенской лавке был такой продукт, какого и в эшелонах верхней власти ныне редко кто видит. Рыба: семга, нельма, голец, омуль, кумжа, сиг, палтосина, язь. И более дешевая — лещ, щука, налим, треска, пикша. Да всякие сельди, о коих мы тоже позабыли: беломорские, соловецкие, печорские трех сортов. Да были в лавке всякие мяса говяжьи, да вырезки, да языки оленьи и скотские, чай из Китая, мармелады, конфеты, фрукты, орехи пяти сортов. Чего только не было в купеческой лавке на краю света! В той лавке брали товар и мещанин мезенский, и исправник, и уездный землемер, и заезжий губернский чиновник, и мужик с окрестных деревень, и судья, и священник, и кочевой ненец — никакого не было схорона, склада, потайного прилавка для людей «особого сорта». Так что житейский порядок был не так уж и скуден, если сравнить с последующей мировой войной, когда карточки на продукты ввели с первого дня и на шесть лет.

Г. К. Тем более надо разобраться, что же случилось с Россией, если вы полагаете, что крестьянин пребывал в состоянии относительного благополучия.

В. Л. Россия — это необъятная, завидная по пространствам земля. Это «бывый» народ маленьких общин, миров, острожков, ибо всякая деревенька, погост были крепостцою, схороном. На земле, залитой лесами, народ жил как бы на островах. Значит, он — островной, затаенный. Отсюда — осадный, лишенный авантюризма, стратегии наступлений, хитрости, расчета, подсидок, умыслов потаенных. Жил он сам по себе, редко общаясь с кем и скудно зная о близком соседе. Догадывались о ком-то по приметам: коли, скажем, щепки плывут по реке — значит, и в верховьях люди застроились. Считалось: выйти замуж в соседнюю деревню — как в другую страну уехать, в чужие земли, как бы со своей родиной распрощаться навеки.

Г. К. Вы хотите сказать, что по складу своей жизни наш народ не готов был к революции?

В. Л. Легко смутить, разлить незерие, но как трудно устроить, скрепить, отладить. Худо, когда слепец, полный гордыни, возжаждавший славы, ведет за собой зрячих и покорных. Я лишь повторю, что русской нации, рассыпанной на таких просторах, непросто было понять смуту, ее причины и зовы, ее прелести и тайную пагубу. Воистину трудно оказалось воспринять грядущее, его физиономию, ибо мужику не до розмыслу: он явился на свет для произрастания, воспроизведения, добывания хлеба насущного в поте лица своего. И в то же время революция подоспела точно, потому что она созрела не только в умах мыслителей-интеллигентов, но была извлечена из мифологии, из самой сущности крестьянина, всегда мечтавшего о привольной, свободной жизни, лишенной поборов, податей, рекрутов, властителей. В мечтании пахаря высвечивалась та обетованная земля, где можно вольно жить. Великая мечта на все времена. И революция подхватила сердечную идею России, развила ее и кинула в народ, как зерна в пашню. Была обещана земля, для мужика — высший дар, жизненная реаль извечных мечтаний. Но землю мужик получил ненадолго, она была не просто изъята из крестьянской судьбы — вместе с нею хлебопашец лишился и всего нематериального, так трудно созидавшегося за века. Был изъят из крестьянского обихода вековечный опыт, на чем в общем-то и стоит всякий полноценный, уверенный в себе народ.

Г. К. Говоря современным языком, народ как бы владел огромной энциклопедией знаний о живом мире, невидимом для людей городского уклада, которые высокомерно не хотят понимать, насколько они зависят от сохранности этих знаний.

В. Л. Народ сочленялся в огромное согласное тело благодаря накопленному опыту. Потом природный и трудовой опыт окрашивался чертами чувственными и приобретал оболочку культуры. Так и образовалась пирамида народной культуры, в костяке и в основании которой лежал трудовой и созерцательный опыт.

С переменой жизни, когда миллионы крестьян волею индустриализации, насилия, окрика, угроз снялись с насиженных родовых земель, они утратили не только гнездо и унаследованную десятину земли, но и ту стихию, в которой продлевался трудовой опыт. Самое же печальное в том, что, когда крестьянина согнали с земли и заключили в иную обитель, когда его резко переключили в «другую жизнь», он разучился вникать в природу, наблюдать за нею и растерял не только прошлый нажитой опыт, который по родовой цепи передавался бесконечно, но и перестал пополнять крестьянскую энциклопедию своим опытом. Культурная крестьянская энциклопедия как бы захлопнулась под тяжелыми земляными крышками и погрузилась под гнет. И возник зияющий провал. Этот провал, разрыв в цепи и есть самая большая утрата для будущих поколений.

Г. К. Утрата не то слово, мы имеем дело с нарастающей катастрофой, которая как таковая еще не осмыслена. Телевидение переключает наше внимание на космос, обсуждает, благодаря гласности, с учеными перспективы внеземных поселений, говорит устами восторженных журналистов о красотах будущей космической архитектуры. И это в то время, как земную разрушили, довели до безликости... Писатели предлагали открыть телепрограмму, посвященную проблеме создания энциклопедии ушедших и уходящих деревень. В ответ — гробовое молчание. Между тем сельские старожилы, умирая, уносят с собой знания о деревенском мире, которые еще возможно зафиксировать, перенять.

В. Л. Для заполнения провала в потоке трудового и культурного опыта теперь понадобятся не десятилетия, но многие столетия. А сами утраты практически невосполнимы. Есть бесконечное движение культуры вперед, есть река культуры, но чтобы сохранялась святая цепочка между поколениями, в новой культуре необходимы черты предыдущей. Вот эти черты и утрачены, о них и жалею, потому что именно в них и заключается национальная физиономия. Из русского лика как из мягкой глины с усердием вылепливалось иное обличье. Так хотелось решительным устроителям, чтобы материал обязательно состоял из глины: она мягка и податлива. Но глина подвержена среде, и этого не учли строители. И когда мыслители решают вопрос ныне о будущих путях развития народа, они пытаются придать движению национальную окраску. И все же я полагаю, что до той поры, пока мы не поселим человека в свою избу, пока не поможем создать свое гнездо, где будут выращиваться птенцы, мечтания о возрождении наивны.

Г. К. Те, кто побывал в Прибалтике, могли слышать обвинения в адрес русского народа: дескать, они, русские, разрушив свой национальный дом, храмы, кладбища, культуру, самоистребляются и увлекают за собой других.

В. Л. Неприязнь к русскому народу не нова, она имеет исторические корни и родилась, если заглянуть поглубже в историю, из разделения живого пространства и захвата его. Волею судеб русскому народу достался гигантский кус земли. Из чувства зависти, подкрепленного позднее религиозными мотивами, явилась ненависть к русским. Но поначалу было отвращение латинянина к православному, и эта неприязнь проявлялась обоюдно. С Петром Первым это чувство перешло рубежи и начало проникать в само русское тело: стало модным не любить свое гнездо. Из этой нелюбви к самим себе родилось чужебесие, о котором еще в семнадцатом веке говорил серб Крыжанич, латинянин, католик-миссионер, около десятка лет живший на Руси и написавший книгу о русофобии.

Г. К. Что характерно для чужебесия?

В. Л. Чужебесие — обратная сторона русофобии, это поклонение чужим обычаям, нравам, одеждам, когда человек теряет всякие чувства приличия и любви к своей Отчизне. Ради чужого платья, чужой еды и привычек он готов продать не только отца и мать, но и родную землю, уйти за кордон и там поселиться и воспринять чужие земли как свою родину, чужую веру как отеческую. В чужебесии рождается Иван, не помнящий родства. Уже в семнадцатом веке писал Крыжанич о чужебесии как о болезни, поражавшей русский народ. При Екатерине считалось постыдным говорить на родном языке, болезнь стала бедствием, повальной заразой. Во времена волнений и национальных потрясений, смятений чужебесие овладевало умами, особенно склонными к зависти, презрению к своему народу. Вопли о Руси — это-де пьяная, лапотная, сермяжная, нищенская земля — вспыхивали периодически с конца прошлого века. Мнение о себе как о «немытой, грязной» России» выело в наших душах незарастаемые язвы. Когда ломали храмы, с гор катались на иконах, когда вскрывали сундуки и выбрасывали старые наряды, когда забывали ремесло, то полагали, будто тем самым выкидывали прочь из сердца эту самую фразу: «Пьяная, нищая, дикая Россия». Полагали, что если мы отречемся от прошлого, то сразу и переменимся. Так что фраза небезобидна, она несет в себе лукавство, внедряется в слабую душу, вызывая в ней растерянность, тем более что жизненный неуряд вокруг, и ты погряз в этом неустрое. Подспудно вынашивается мысль: империя якобы полонила чужие земли, а потому их надо поделить. И войны четырнадцатого и сорок первого годов возникли из тайного мечтания о переделе славянских земель. Ныне же, когда с Советским Союзом смирились, оказалось, что территорию можно поделить торговыми способами, экономически, превратив ее в сырьевую колонию, и тем самым лишить народ возможности по-сыновьи распоряжаться своей землей. Оттого-то люди приставлены не к землепользованию, не к устроению отчины, не к расширению промыслов, а как бы занаряжены в охранники того, что таится в земле, что унаследовано от предков. Они уже и не пашенники, а казенные сторожа: что им прикажут, то и выдают с покорливой услугой. И все, что в складах тех находится, должно быть выкачано с бездумной щедростью, пущено по ветру, размотано, растранжирено, сплавлено в зарубежье, чтобы продажею имения прокормить себя. У нефти, угля, газа, руды и так далее нет цены. Отчего эту большую тему никто не подымет? Хлеба вырастут вновь, хотя труднее расчищать заросшие кустарником поля. На месте вырубок возродятся леса, а там и зверь, и птица. Но нефть никогда не заполнит подвалы уже опустошенных недр.

Г. К. Мы живем по шкале ложных ценностей. В литературе, искусстве сбиты, стерты критерии, суррогатами подменяется все настоящее, средства массовой информации, филармонии отравляют народ подделками. В архитектуре — сплошь подражание Западу. Три года назад я своими глазами видел пустые деревни Молоковского района Калининской области. В магазинах, кроме вина и водки, ничего нельзя было купить. Там, в Молокове, я понял, что всякое стирание граней между городом и деревней есть преступление. Деревня — явление природное. Национальное. Почему у нас все списывают на бесхозяйственность? Ни разу не слышал, чтобы катастрофу самолета называли бесхозяйственностью. Так отчего же гибель деревенского мира, эту национальную трагедию, называют бесхозяйственностью? Есть ведь совсем другое определение. Мы

оказались в царстве сбитых шкал и оценок и потеряли представление о невосстановимом. То есть по отношению к предкам мы живем в режиме преступного беспамятства, а по отношению к потомкам — в режиме необратимого воровства. И боимся в этом себе признаться.

В. Л. Мы сейчас живем как в блокаду, когда хлеба нет, но есть драгоценности, и за золотое кольцо можно купить буханку хлеба. Иначе говоря — «бриллианты» продаем за кусок хлеба. Не случайно высокоразвитые страны столь усердно пользуются запасами чужих земель, тем самым увеличивая свое счастливое биологическое время за счет других. А мы, наоборот, свое биологическое национальное время убиваем...

Мы не можем осознать своего пространства, ибо потеряли смысл народа и утратили положение державы в мире. Ею становятся при вольном согласном труде и «всечеловечности». Нетерпение рождает мировую неприязнь, червь сомнения в праведном пути может выесть и самую вязкую сердцевину. В начале века Россия стремительно вырвалась вперед, догнав цивилизованную Европу, и уже независимо от собственных желаний утверждалась как мировое государство. От мировой державы все прочие народы хотят прежде всего праведности, спокоя и милосердия. Собственно, все эти качества есть в русском народе, но они притушены ныне и часто неузнаваемо искажены...

Г. К. Ваша мысль, Владимир Владимирович, подтверждается исторически. Е. Ф. Зябловский в книге «Российская статистика», изданной в Санкт-Петербурге в 1832 году, сообщает, что в начале девятнадцатого века в России проживало 42 миллиона 500 тысяч русских, тюрко-татарское население составляло два с половиной миллиона человек, еврейское — семьсот тысяч. А. Е. Снесарев, основатель нынешней Военной академии имени М. В. Фрунзе, в своем труде «Военная география России», изданном в Санкт-Петербурге в 1910 году, говорит о том, что, согласно переписи 1897 года, русское население увеличилось вдвое, тюрко-татарское — более чем в пять раз, еврейское — более чем в семь раз (то есть половина евреев всего земного шара к этому времени проживала в России). Революция, как это ни парадоксально, переключила наш народ на уровень оформления. Российская река, в которую вливается множество национальных и племенных ручьев, оказалась взбаламученной.

В. Л. Мы утонули в интернационализме, не уяснив того, что мировой, общей для всех может быть лишь культура. Мировая же культура и предполагает уважение к самому крохотному, даже в сто человек, народцу — ибо это племя вырастило то особенное природное чувство, которое не создадут и миллиарды иных людей. Государственную общность мы эгоистически представляли в облике этаких надежно экипированных атрибутами социализма людей с одинаковыми привычками, бытом и побытом. В старой России соблюдалась заповедность мест обитания самых малых народов. Запрещен был привоз вина.

Эта «экипированная» гособщность, вроде бы из нестихаемой любви к меньшим братьям своим, вторглась к ненцам и карелам, якутам и юкагирам, к ханты и манси, вроде бы из желания всеобщей благодати расстроила древний природный организм, его ритмику, среду обитания, привычки и обряды аборигенов, прокляла их традиции и языческую культуру, богов и шаманов. По нашим представлениям, убого жить в чумах и юртах, в ярангах и лесных зимовьях, спать на шкурах... Малые народы лишились не только среды обитания, родных природных образов, ремесел, привычек, навыков, векового уменья жить на суровой земле — они утратили прошлое, предания, сказки, моления. Горько признаться, но мы получили «выхолощенные» народы, почти утратившие память. Малые народы, по своей коренной детскости, не знали многих «худых» привычек белых, они не ведали убийств и порок. Водка, которую мы повезли по просторам Сибири, скоро подточила организм народов. Можно ли было сказать о том вслух? Ведь мы так искренне из узкоглазого широкоскулого ненца вылепили образ помора. Не знаю, как у других, а во мне живет чувство вины перед всяким народом, который от насилья пострадал. Надо помочь им, чтобы в родовой привычной среде постепенно восстанавливались прерванные национальные связи!

Г. К. Но и сама Центральная Россия перестала быть благоприятной жизненной средой. В той же Прибалтике встревожены притоком русских.

В. Л. Не по своей охоте русский потянулся в чужие края, к чужим обычаям... Государство насильственно срывало народ с вековых гнезд, создавало невыносимые условия в деревне. Все время на слуху была романтика дальних мест, а не героизм коренного труженика, патриота родной земли. Во всех претензиях, что предъявляются русским, я усматриваю вольное и невольное желание хаоса, неразберихи, сумятицы, чтобы в мутной воде поймать улов для себя. Нет нужды выяснять, кто выше, кто лучше, кто богаче историей. Мы сочленились в одно государственное тело. Держава созидалась духовным методом, волеизъявлением народов. Так попросились к нам грузины, казахи, армяне, украинцы. Согласно вошли в лоно России. Россия-мать не так плотно опекала другие нации, не неволила, не принуждала в свой быт, в свои обычаи, а позволяла жить по стародавним устоям. Стефан Пермский, русский миссионер — просветитель на землях Коми с 1379 года, составил азбуку языка коми и перевел на древний коми язык многие сочинения. Церкви ставились на местах древних капищ, проповеди произносились на языке местного народа. Коми естественно, без единой капли крови вошли в состав Русского государства.

Казахи в степях пасли скот, русский кубанец пахал чернозем. Каждый занимался вековым привычным делом. У нас были и скот, и зерно. Пинежане поставляли в Петербург по 90 тысяч рябчиков в год. Реки кишели рыбой, леса зверем, в степях паслись бесчисленные стада. А нынче мы распахали казахские степи, залили волжские поймы, лишили себя скота. Распахиваем черноземы и засеваем травой, чтобы нагуливать стада. Подобный абсурд проникал во все поры экономики, социальной и духовной жизни.

Г. К. Я убежден, что дальнейшее следование по пути искусственных технократических программ гибельно. Необходимо решительно возвращаться в русло естественного развития страны и народа.

В. Л. Безусловно, нужно вернуться в лоно разумности и целесообразности. Мы все семьдесят лет скачем из эксперимента в эксперимент. Не очнувшись от предыдущего, просим разрешения на новый. А жизнь должна двигаться методом созревания. Подчас давят на психику, на ум, портят эстетический вкус, не говоря уж о нравственности. Вышла, скажем, какая-то книга, отвечающая политическим взглядам определенной группы людей. И сразу начинают о ней шуметь, стаи борзописцев скрипят перьями. Под всякими предлогами книгу издают миллионными тиражами. Что уж говорить про мнимых эстрадных кумиров. Это и есть силовое давление на народ, гипноз, в состоянии которого жадно взирающая публика способна на самые неожиданные превращения. Убожество архитектуры и духовная деградация влияют на национальные культурные отношения.

Г. К. Отсутствие ответственности перед законом привело к процветанию абсурда и в национальных отношениях. К попыткам национальной герметизации.

В. Л. Мы настолько глубоко слились в единый организм, что я лично не вижу путей, которые бы могли порвать миллионножильные связи, пронизывающие, повязавшие нас. Только представьте, что потеснят в Эстонии русских... Все государство мгновенно превратится в растревоженный медвежьей лапою муравейник.

Конечно, эстонцы должны чтить наперво свой родной язык, исповедовать свои обычаи и обряды; но верно и другое — надо оттаивать, оттепливать сердце, находить возможности совместного обитания. Братство в связях между республиками выстроится на свободе отношений, кооперации, уважительности.

Но нечни мы, русские поэты и писатели, призывать русских держаться исторических областей, отчины, как тут же появится оскорбительный термин — «квасной» патриотизм.

И если все республики — братья, то Россию надо почитать как мать. Когда просились под крыло России Грузия или Украина, те они преклоняли колена — как перед матерью. Только мать может защитить. Ведь братья способны и повздорить друг с другом. Мать же, любящая, и в нищете и едва живая, последнюю копейку отдаст сыну. Россия всегда помогала народам, как ныне Армении из своих тощих закромов выделила восемь миллиардов рублей.

Г. К. В последнее время появились странные осуждения тех, кто якобы оставил культуру своего народа и бросился спасать культуру России. А может быть, осуждаемые как раз поняли, что, спасая культуру России, они спасут и свою?

В. Л. Несмотря на утеснения и всякие нынешние поклепы и хулы, русская культура развивается гармонично, по завещанным историческим путям, и даже в самые тревожные, гнетущие для Отечества минуты она сумела соблюсти национальное достоинство в лучших своих образцах. Классическое, верховное и духовное, направление в культуре не прерывалось, хотя порою словно бы едва сочилось сквозь запруды. Но одно верно: лучшие умы понимают, что если будет хорошо матери-России, то, естественно, ладно и упокоенно будет и всем им. Русь непостижимо глубоко и таинственно пустила корни в глубину державы, и даже крохотный волосок, если его пресечь, болью отзывается во всяком народе нашей страны. Как тут не вспомнить чаадаевский символ-остережение: «Мы, так сказать, самой природой вещей предназначены быть настоящим совестным судом по многим тяжбам, которые ведутся великими трибуналами человеческого духа...»

Наши общественные науки семьдесят лет занимались или проеданием ленинских цитат, иль выведением из деревянного яйца-писанки бодрячка-цыпленка. Где было им размышлять о совестной роли России в огромном соборе народов. Речь идет не о верховности Руси, не о тиранизме и руководительности, но о предназначении быть с о в е с т н ы м судом. Иное дело насколько справилась с обширной задачей и совестной службой своей Советская Русь. Грустью овеяны нынешние ее поля и какой-то скорбной усталостью. Отъедешь от Москвы за двести километров — и такое захолустье обступит, такая нищета кругом, такая заброшенность и задичалость, что невольно сердце сожмется от безысходной тоски. Вот сейчас братья наши и должны откликнуться на зов и понять, как тягостно России, из какой захудалости ей вылезать годы и годы, сколько жил рвать. Главная причина скудости в том, что из сундуков ее неведомо куда черпали и черпали, не зная остановку и не спросясь хозяев. Запустили загребущие руки — и давай набивать торбы и относить прочь. И ведь не скажут, не известят (хотя бы), на каких сокровищах выстроилось огромное государство. Да все на нем, на стожильном мужике, выехали. А сколько десятков миллионов захребетников ныне сидят на его вые, свесив ножки, сколько ненужных затей на дармовые рубли, сомнительной надобности строек, авантюр, неясных игр и умыслов!

Именно ныне, в дни смуты, в дни интриг самозваных «прорабов перестройки», сидящих сразу на двух берегах, нужно вспомнить заповедь: «Храни заветы старины и не забывай мудрого изречения,

что той земле не устоять, где начнут уставы ломать». Есть и другое библейское изречение: «Церковь, разделившаяся в себе, не устоит». Так же не устоит и всяк народ, разделившийся в своей сути.

Нужно отыскивать пути в будущее не горлопаня, не ярясь, не кидаясь понапрасну бранным словом, как на недоброй сходке. Лишних людей нет. Это Троцкий, Зиновьев, Свердлов и Сталин соскабливали с народа слой, как зверовщик строгает скобелем тюленю шкуру, чтобы снять сало. Скоблить нам нечего, слишком тонок родящий слой нации.

Г. К. Тема самостояния человека и народа, включающая в себя «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам», у нас не в чести и сегодня. Государство, увлеченное совершенствованием производств, избегает ее. Под Москвой, например, в районе Мытищ, без предварительного согласования с народом, с мытищинцами и москвичами, сносятся исторические села Челобитьево, Сгонники, Волково. Сначала окружили свалками, вынудив сельчан согласиться на переселение. На месте снесенных сел будет промзона, а Мытищи, находящиеся в низине, окажутся отстойником смога и газов.

В. Л. Наша земля мне представляется как гигантский образ в драгоценных ризах. А деревни — это свечи. Сотни тысяч свечей освещают этот образ, образ земли. Каждая потухшая свеча уносит с собой оттенок образа, сгущает кисею сумерек. Вся нация, неведомо для себя, вскрикивает, когда угасает свеча. И может случиться миг, когда наступит темень и образ земли потухнет.

Каждая деревня — это крохотное подобье, слепок с народа. В каждом селе прежде можно было сыскать и вождя, и скитальца, и трудника, и юродивого, и праведника, и пахаря, и шишу, и ремесленника. Утрачивая деревни, мы позабываем не только оттенки земли как образа, но и затушевываем оттенки нации.

Никакие войны так не губительны для земли, как нашествие тиранического государства, совершаемое всей своей чиновной армией. От ее поступи содрогнется и падет ниц самое великое в душах народа. Собственные же бюрократы напрочь стирают границы деревень, ставят на их местах заводы и города или просто забрасывают — и тогда эти места зарастают мелколесьем.

Г. К. Меня всегда удивляет, что в больших городах, которые в буквальном смысле стоят на деревнях, люди живут как бы на другой планете. И все оправдывается «неостановимым прогрессом».

В. Л. Прогресс одурачил нас. Надели на наши глаза повязку, крутнули разок-другой, и теперь на слабеющих ногах и с мутной головой мы отыскиваем отринутые истины. Протягиваем руки, ощупывая их, но лишь больно ушибаемся.

Мы забываем, что деревня по своим генетическим накоплениям и самоценностям гораздо выше любого города. Деревня все время восполняет, продлевает, в ней непрерывная цепь возрождений. А город — непрерывная цепь утрат. Город выпал из природного ритма, он живет вне его, как бы вращаясь на отдельной орбите. А с орбиты легко сорваться в безвременье и беспамятство. О природе город вспоминает, когда начинает задыхаться. Нынешний город не похож на средневековый, это новая, философски не исследованная форма обитания...

Именно на города временами наступает «чужебесие», и они охотно выкидывают белые флаги. Из незнания природы, реальной земляной жизни возникают и множатся тщетные попытки подражать чьему-то духовному образу, работать иным способом, отвергая национальные свойства, затеи и привычки. Мы даже забыли, что мы — русские, что живем в совершенно иной среде. У нас иной характер, а значит — иные мерки жизни и труда. Нам предстоит понять самих себя, свою неповторимую сущность.

Потому нам так чужды города-спруты, расползшиеся по земле, отравляющие и себя и землю. Их трудно, почти невозможно напоить и накормить в суровой среде. Не случайно же Россия всегда была страной деревень. В Америке, говорят, фермер кормит стольких-то, а наш мужик и семерых не насытит. Но, во-первых, не учитывают там сотни тысяч сельскохозяйственных и миллионы сезонных рабочих. Во-вторых, если бы фермера того да в российскую неволю, да в невзгоды, да в снега, то еще посмотрели бы, скольких он потянет на своем загорбке...

Каждая деревня складывалась как организм живой природы в жесткой борьбе естественного отбора и была рассчитана на строгое число изб. Предположим, где-то на излучине Пинеги или Мезени встал выселок в тридцать хозяйств. Тридцать первое гнездо уже невольно нарушало экологию, равновесие среды, тридцать первое гнездо уже не могло нормально кормиться, не вторгаясь в соседний распорядок. Настолько суровы условия обитания, что могло ужиться определенное число людей. И этот главный экологический закон равновесия мы нарушили в двадцатом веке, создав такие человеческие таборы, которые могут рухнуть, трагедийно кончиться от минимального злоключения, и даже не понадобится землетрясение. Вот представьте на миг — упаси бог, конечно,— что среди зимы вдруг отключили свет, газ и воду. Это был бы настоящий апокалипсис! Трагичность ситуации в том, что наука, подвластная «страусиному гипнозу», тешила, убаюкивала нас розовыми снами о грядущем благополучии, но остались вне осмысления проблемы гигантских людских скопищ, способы обитания в городской среде. Если бы окунулись в эту проблему, то еще в двадцатых годах экономисты и социологи обязаны были зазвонить: «Братцы, что вы делаете? Куда вы свозите эти заводы? Почему позволяете распухать язве?» Они первыми должны были встать грудью против городов-гигантов.

Г. К. В НИИ культуры АН СССР в мае 1988 года некоторые ученые серьезно обсуждали проблему «перекачки» городской культуры в деревни и села России через систему клубов. Реален ли в дальнейшем этот процесс, обнаруживший столько изъянов?

Не антикультура ли эта так называемая массовая культура, словно чума, нахлынувшая к нам с Запада?

В. Л. Мне думается, восполнение нации надо начинать с дома, избы, с восстановления культуры жизни, бытия. Нужно возродить культуру промысла, культуру работы, одежды, кухни, культуру песен, отношения к земле, к ближним, между собой.

Г. К. А как это согласуется с понятием прогресса?

В. Л. Когда возродим культуру быта, землепользования, труда, дорог, тогда и обретем все, чего так неутомимо жаждем. А пока мы жаждем элементарного — сытости и благополучия, этих главных постулатов, разрешая которые мы положили столько часто бесполезных сил. Значит, надо начинать с азов, с начальной буквицы...

Г. К. Как же начинать с азов, когда у нас к деревне отношение хуже, чем к природному сырью. В школе нет даже элементарного учебника деревенского мира, нет науки о человеческой природе. Хотя до середины двадцатого века Россия фактически была деревенской.

В. Л. У деревни практически нет законодательного права, даже избы деревенские не имеют юридической защиты... Защиты лесе, болот, земель, лугов, воздуха. А требуется всякий раз аргументировать вторжение всякого, кто покушается на святость, и оплатить хозяину усадьбы за всю грядущую суету и помехи, неустроенность. А нынче? Каждый столоначальник может заявиться с землеройными машинами и, как крот, заглубиться под вас и обрушить усадьбу вместе с нажитком.

Отчего город бесформен, однообразен, несмотря на все планировочные ухищрения? Оттого, что лишен человеческого чувства, личностных страстей и симпатий. В созидании которых не участвовали. Когда человек строил избу, он рубил ее не только для себя, но создавал храмину для будущих поколений. Он вписывал свое имение в природу. Одна из прелестей прежней деревни в том, что ее вершинной точкой всегда была церковь — средоточие не только пространственное, но и духовное. Она оказывалась в центре скрещения крестьянских взглядов. Утром вышел на крыльцо селянин, и взгляд его обязательно упирался в храм, в высоко летящий крест. Когда уплывал поморянин, то видел стоящую на горе церковь и долго провожал ее взглядом, смотрел, как она отрывалась от земли и уже летела подобьем белой птицы. А когда возвращался, церковь манила издали, как свеча. Церковь же обнаруживала и разжигала стремление крестьянина к красоте, она была воздухоподъемным крылом.

Как ни говори, но деревенский порядок слит в природе, разлит в ней, и печально, что, разрушив церковь, мы лишили деревню вертикали, головы. Когда едешь и в дороге встречаешь осыпающийся храм, сколько в сердце вспыхивает тревоги, томления и непонятного испуга! Дом, утекающий в землю, рассыхающийся дом таких чувств не вызывает.

Сейчас мы озаботились церквами: давайте, мол, будем их реставрировать, а попросту — починять. Но нельзя починить вертикаль. Вертикаль проходит через душу и помещается в церкви. Ведь как говорилось: церковь не в бревнах, а в ребрах. Если в ребрах ее нет, то в бревнах не выставить. Сначала вертикаль нужно возбудить в человеке, он должен стремиться от земли вверх. Вот это чувство духовного стремления к вызреванию и будет рождаться когда каждый примется строить свой дом.

Но, безусловно, средоточием деревни явится духовный очаг: он собирает деревню купно, сплачивает ее, устремляет ввысь. И сразу деревня приобретает новый облик и смысл. Я не знаю, каким будет он, этот очаг — Народный Дом, церковь. Будущее покажет.

...И совсем худо, кощунственно, когда выправленный храм превращают в злачное место, в плясовой клуб. Какую немую душу надобно заиметь, чтобы по-лошадиному, гегейкая и тряся волосней, топтаться и метаться на алтаре. Воистину душа наша немотствует, неведомо что творит. У православного храма одна святая судьба: молитва. В молитвах вспоминаются и почитаются все отстоявшие в ратях Отечество, жизнь отдавшие за Родину, ратным и духовным подвигом прославившие Россию!

Г. К. Гибель деревенского мира нужно остановить любой ценой? Вы, Владимир Владимирович,— один из участников общественного совета по созданию Энциклопедии уходящих деревень. Названная Энциклопедия — важная мера в борьбе за сохранение и возрождение народности.

В. Л. Свод уходящих деревень необходим. Это духовный акт, крохотный возвращенный должок наш. Мы так скорбно много задолжали своим предкам в неуклонном стремлении вперед, что Энциклопедию можно воспринять и как акт покаяния. Создавая крестьянскую Энциклопедию, мы невольно примемся пестовать культурное усыхающее древо. Оно и не повалилось пока вовсе, ну накренилось, это верно, и сучья нижние поотсохли, закаменели, много листвы уже опало. Но нашими воспоминаньями, зафиксированной памятью мы будем как бы опушать его молодой листвой. Предположим, ушедший от нас человек мертв лишь телесно, но не духовно. Добрый человек не пропадает (он — как лист на невидимом древе). А деревня — тем более. Даже угасшая, она не пропала, лишь затаилась в ожидании.

Г. К. Потому что она часть природы?

В. Л. Да, но и часть национального строения. Это капитал сокровищницы. А капитал сокровищницы, как бы далеко ни хоронили его, все равно есть, он только невидимый, не обретенный в данное время. И надобно лишь усилие, чтобы добыть его. И потому Энциклопедия — это возврат сокровища из схорона.

Г. К. Если Энциклопедия включит в себя на общедоступном уровне то, что, не имея цены, похоронено в архивах, таится в ожидании нас, если объединит в себе культуру народной кухни, культуру одежды, ремесла, народной медицины и так далее,— разве не станет самоочевидной спасительная красота единства знаний народных?

В. Л. Мы уже говорили, что ушедшая деревня — это отхлынувший мир во всем его многообразии. И чтобы восстановить порванную цепь, надо вспомнить поначалу то, что было до нас. Что-то и вольется в нас. Вот, например, как устраивался рождественский стол. (На удивление — вовсе иной, пречудный, но ведь восстановимый мир, когда-то нетерпеливо утраченный...) Еще до приезда гостей ставили посреди комнаты стол с закусками из всякой всячины. На оловянных тарелках были насыпаны: орехи простые, каленые, сибирские, грецкие, волошские; жамки-груздики, кругляки, угольнички, сердечки, горошки, прянички; пряники вяземские, белевские, тульские, папушники; яблоки свежие разных сортов, свинцовки, боровинки, грушовки, апортовые, духовые, наливные, арапки, скрижапель, плодовидки, зимовки, яблоки моченые, сушеные, украинские, пареные с кваском; изюм крупный и мелкий; коринка; винные ягоды, чернослив украинский и заморский; груши моченые, свежие, сухие, дули калужские, бергамоты; сушеные вишни владимирские, родителевка, василевка бель и украинские; варенья смородинные, крыжовничные, вишневое, малинное (сахарные и медовые); сливы зюзинские и моченые, костяника моченая кисточками, брусника моченая, калина с медом упаренная, шептала, пастилы коломенские клюквенные и яблочные; клюква моченая...

Только девичий стол содержал столько закусок, заедок и всяких сладостей! И если учесть, что русский народ многоплеменный, многосоставный, то можно думать, какова была национальная кухня, выродившаяся ныне в щи да котлеты.

Вот уж грех так грех — презрительно кивать в сторону прежней Руси, упрекать ее в темени и косноязычии. Прежней культуры нам уже не испить, а земно поклониться ей надо. Если мы до боли душевной прочувствуем, что утратили нечто великое, завещанное, что профукали, проели и пропили клад несказанный, то и захотим жить далее с сердцем, омытым живой водою.

Г. К. Пришло время говорить об утратах ради обретений. Очень кстати во втором номере «Нашего современника» за 1988 год (публикация «Отечество, память и ты») А. С. Трофимовым поставлен вопрос о скорейшем переиздании таких ценнейших книг, как «Российский энциклопедический словарь» Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского» и «Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Настольная и дорожная книга для русских людей». А. С. Трофимов подчеркивает, что труд этот, выходивший под общим руководством П. П. Семенова-Тян-Шанского и В. И. Ламанского, ошеломляет обилием информации о дореволюционной России. Я добавлю, что в этой «настольной и дорожной книге» есть и несомненные художественные достоинства. Однако, насколько мне известно, ни одно издательство не собирается в ближайшее время переиздавать бесценную работу, хотя давно уже она является библиографической редкостью. Не может быть сомнений и в ее раскупаемости. Не странно ли, что, к примеру, Юлиана Семенова мы переиздаем миллионными тиражами, а на возвращение отечественной истории бумаги и средств нет?

В составленном писателем Ю. М. Медведевым списке книг, незаменимых в деле познания России, есть «Материалы к описанию русских рек». Это энциклопедическое издание, насчитывающее около полусотни толстенных томов, — детище министерства внутренних дел царской России! А чем могут похвастаться советское МВД или, скажем, Министерство обороны СССР, которые могли бы не только переиздать, прокомментировать, но и дополнить современными сведениями «Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба», в двадцати четырех томах, в 1860—1865 годах.

Составление «Энциклопедии русских деревень» — дело общенародное, и браться за него надо всем миром.

Фатей ШИПУНОВ

ВЕЛИКАЯ ЗАМЯТНЯ

НЕБЫВАЛАЯ СМУТА

ПОСЛЕ манифеста 17 октября 1905 года плодились как грибы после дождя политические партии. И все они без исключения уделяли крестьянскому вопросу очень большое внимание, отводили ему в своих программах одно из первых мест. Более того, многие из партий именно в этом вопросе видели корень революционного преобразования страны, увлечение народа в пучину социальных бурь. Суть этих программ была изложена в газете «Русь» 3 марта 1906 года.

Все партии, как крайние правые, так и левые, признавали необходимость прийти на помощь крестьянской нужде, но для этого предлагали разные средства. Так, крайние левые партии — социалисты-революционеры и социал-демократы, бунд — отрицали право частной собственности на землю, требовали перехода всей без исключения земли в руки государства или общества (ибо некоторые отвергали даже идею государства), конфискации всех частновладельческих земель, настаивали не только на отмене всех падающих на крестьянство выкупных и оброчных платежей за землю, но и на возвращении ему денег, взысканных по этим платежам. Другие партии — радикальная, свободомыслящих, конституционно-демократическая, прогрессивная — предусматривали образование государственного земельного фонда за счет казенных, удельных, кабинетских, монастырских и частновладельческих земель, подлежащих отчуждению по справедливым, но отнюдь не рыночным ценам, и сохранение немногочисленных частновладельческих земель при действии ряда ограничений (арендные отношения, сельскохозяйственная инспекция, уголовные кары за нарушение охраны труда), а также некоторые меры повышения производительности земли и улучшения сельского хозяйства.

Еще одна группа партий — прогрессивная русских промышленников и торговцев, прогрессивно-экономическая, торгово-промышленная, правового порядка, союз 17 октября — признавала сохранение неприкосновенного права частной собственности на землю, в том числе и для крестьян, допускала в некоторых случаях расширение крестьянского землевладения вплоть до принудительного отчуждения за хорошее вознаграждение отдельных участков частновладельческих земель (для уничтожения чересполосицы, округления владений и т. п.), придавала существенное значение облегчению крестьянам выхода из общины с правом реализации надельной земли и расселению их на отрубные участки как главному условию улучшения сельского хозяйства и повышению производительности земли. В упорядочении переселения и улучшения крестьянского землепользования они видели мощное средство к поднятию крестьянского благосостояния, нежели в простом расширении землевладения.

Из всех программ левых партий вытекало, что вся беда крестьянства — в малоземелье, и поэтому ставилась задача — расширить крестьянские наделы за счет других видов землевладения, а в случае нужды пойти даже на полное уничтожение частновладельческих хозяйств. Это последнее стало главным требованием программ, опиравшихся на строжайшие карательные меры. Крайние левые партии стремились к полному уничтожению частной собственности на землю и ее социализации, не исключая и крестьянской, которая будет даваться лишь в той мере, в какой крестьянин сможет ее обработать личным трудом без права передачи по наследству своим детям.

Если крайние левые партии не только не касались улучшения сельского хозяйства, но и ставили ему преграды в виде ренты на избытки производства против потребительской нормы, то все другие партии, предлагая широкое содействие в деле улучшения сельского хозяйства, развития в нем культуры, поднятия производительности земли, своими проектами о ликвидации или сокращении частновладельческих хозяйств объективно вели к уничтожению существующих культур, упразднению поучительных примеров ведения сельского дела и возрождения продуктивности земли.

Программа так называемого всероссийского крестьянского союза предусматривала переход в собственность народа всей земли, в том числе и земель монастырских, церковных, удельных, кабинетских, а также частновладельческих, на условиях, которые впоследствии будут определены Учредительным собранием.

Как видим, еще в начале XX века крестьянский вопрос вызывал в умах столь большую замятню, что она готова была перерасти в смуту. Левые партии — главные заминщики — требовали разрушить нравственно-духовные устои крестьянского строя. Правые партии ратовали за сохране-

Продолжение. Начало в №№ 9—11 за 1989 год.

ние общины, чересполосицы, малоземелья, что лишь углубляло бы нравственно-духовную несправедливость как по отношению к крестьянину, так и по отношению к земле, способствовало бы дальнейшему развалу сельского хозяйства. Умеренные партии, настаивавшие на закреплении земли на началах полной собственности, хотя и стремились сохранить нравственно-духовные устои крестьянской жизни, фактически ничего не делали для этого. Ни эколого-хозяйственному, ни общественно-правовому устоям крестьянства они не уделяли должного внимания. В 1905—1906 и 1916—1917 годах деятели всех партий считали, что они стали знатоками крестьянского дела и потому вправе вершить его. Все наперебой на своих собраниях — крестьянских, земельных, дворянских, промышленно-торговых, городских — настаивали на своих решениях крестьянского вопроса, и никто не хотел прислушаться к тому, как этот вопрос исторически был уже решен и решался не произвольно, а по «гласу земли». Многочисленные земгоровские общества решили, что государство в земельном вопросе бездействовало, что оно только мешало совершенствованию крестьянского строя.

Отъявленные заминщики и смутьяны, заседавшие в IV Государственной думе, не жалели слов: «реакция», «застой», «паралич государственного организма», «власть в руках предателей», «Отечество в опасности», «государственная власть не решила и не разрешит крестьянского вопроса», «помещичья Россия», «нищая Россия», «крестьянство — тормоз революции» и т. д. Деятельность по благоустройству крестьянства изо дня в день принижалась, поносилась, развенчивалась, срамилась, отвергалась. Взамен ей предлагались противоречивые рецепты, которые сводили на нет все положительные усилия.

И великие потрясения не заставили себя ждать...

Как известно, одним из первых декретов Советской власти был Декрет о земле, принятый 26 октября 1917 года. Вот главные положения этого Декрета: «1) помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа; 2) помещичьи имения, равно как и все земли удельные, монастырские, церковные, со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и всеми принадлежностями, переходят в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов, впредь до Учредительного собрания... 3) уездные Советы крестьянских депутатов принимают все необходимые меры для соблюдения строжайшего порядка при конфискации помещичьих имений, для определения того, до какого размера участки и какие именно подлежат конфискации, для составления точной описи всего конфискованного имущества и для строжайшей революционной охраны всего переходящего к народу хозяйства на земле со всеми постройками, орудиями, скотом, запасами продуктов и проч.; 4) для руководства по осуществлению великих земельных преобразований, впредь до окончательного их решения Учредительным собранием, должен повсюду служить следующий крестьянский наказ, составленный на основании 242-х местных крестьянских наказов редакцией «Известий Всероссийского Совета Крестьянских депутатов...». А в этом наказе говорилось, что «право частной собственности на землю отменяется навсегда», и что «земля не может быть ни продаваема, ни покупаема, ни сдаваема в аренду либо в залог, ни каким-либо другим способом отчуждаема». В наказе указывалось, что «вся земля: государственная, удельная, кабинетская, монастырская, церковная, посессионная, майоратная, частновладельческая, общественная и крестьянская и т. д. отчуждается безвозмездно, обращается во всенародное достояние и переходит в пользование всех трудящихся на ней». И еще говорилось: «землепользование должно быть уравнительным, т. е. земля распределяется между трудящимися, смотря по местным условиям, по трудовой или потребительской норме», и «формы пользования землею должны быть совершенно свободны, подворная, хуторская, общинная, артельная, как решено будет в отдельных селениях и поселках», и «все содержащееся в этом наказе... объявляется временным законом, который впредь до Учредительного собрания проводится в жизнь по возможности немедленно, а в известных своих частях с той необходимой постепенностью, которая должна определяться уездными Советами крестьянских депутатов». Но в Декрете о земле есть и один загадочный пункт, написанный самим Лениным: «Земля рядовых крестьян и рядовых казаков не конфискуется». Во-первых, было непонятно, кто такие «рядовые крестьяне и казаки», а во-вторых, было неясно, что значило «не конфискуется». Введение этого пункта в декрет могло только говорить об истинном его смысле: вся земля конфисковывалась у народа и формально как будто ему же передавалась, а на самом деле — вновь формируемой бюрократии в виде уездных крестьянских советов, а затем земельных отделов. Декрет начинался с положения о ликвидации помещичьих земель, то есть частновладельческих хозяйств, игравших большую роль в производстве продовольственных продуктов. Спустя два месяца, 12 декабря 1917 года, выходит положение о земельных комитетах — местных и главном. В этом документе примечательны следующие положения: на уездные и губернские (областные) комитеты возлагалось «фактическое изъятие земель, построек, инвентаря, сельскохозяйственных продуктов и материалов из владений частных лиц» и «распределение земельного фонда и сельскохозяйственного инвентаря в уравнительно-трудовое пользование». А 27 января 1918 года вступил в силу «Основной закон о социализации земли», подписанный Лениным, Свердловым, Володарским, Камковым, Ландером, Мурановым, Натансон-Бобровым, Окуловым, Петерсоном, Спиридоновой и Устиновым. Стояли подписи и секретарей ЦИК Аванесова, Смолянинского и наркома земледелия А. Колегаева. Вот главные положения этого закона: «Всякая собственность на землю, недра, воды, леса и живые силы природы... отменяется навсегда»,

«Земля без всякого (явного или скрытого) выкупа отныне переходит в пользование всего трудового народа», «Весь частновладельческий живой и мертвый сельскохозяйственный инвентарь переходит без всякого выкупа из нетрудовых хозяйств в распоряжение... земельных отделов: уездного, губернского, областного и федерального Советов». В задачи распоряжения землей со стороны земельных отделов и центральной Советской власти, помимо справедливого распределения земель сельскохозяйственного значения среди трудового земледельческого населения, входило «создание условий, благоприятствующих росту производительных сил страны, в смысле увеличения плодородия земли, поднятия сельскохозяйственной техники и, наконец, поднятия уровня сельскохозяйственных знаний в трудовых массах земледельческого населения». Но это были общие фразы, а вот главные: «развитие коллективного хозяйства в земледелии, как более выгодного в смысле экономии труда и продуктов, за счет хозяйств единоличных, в целях перехода к социалистическому хозяйству». И еще: «торговля сельскохозяйственными машинами и семенами монополизируется органами Советской власти» и «торговля хлебом, как внешняя, так и внутренняя, должна быть государственной монополией». В разделе «кто имеет право пользоваться землею» говорилось, что «отдельными участками поверхности земли могут пользоваться... для занятия сельским хозяйством: 3) сельскохозяйственные коммуны и 4) сельскохозяйственные товарищества». Порядок предоставления земли в пользование устанавливался такой. «Земля предоставляется в пользование в первую очередь тем, кто желает работать на ней не для извлечения личных выгод, а для общественной пользы». А потому: «при установлении порядка передачи земли в пользование предпочтение отдается трудовым сельскохозяйственным товариществам перед единоличными хозяйствами». В § 8 закона частновладельческие хозяйства передавались в запасной земельный фонд, то есть не в руки крестьянам, а государству, и только тогда могли передаваться в распоряжение крестьянам, когда у них имелось земли менее потребительской трудовой нормы. Заключало закон следующее положение:

«Российская Федеративная Советская Республика, в целях скорейшего достижения социализма, оказывает всяческое содействие преимущественно трудовому коммунистическому, артельному и кооперативному хозяйствам перед единоличным», и что «никто не может передавать прав на пользование находящимися у него участками земли другому лицу».

Итак, Россия встала на путь дотоле неиспытанный, руководствуясь новыми законами о земле и ее социализации. Принятые законы нарушали не только основы сельского хозяйства, они требовали переделки самой природы человека, его нравственно-духовной и физической сущности. А это не под силу ни одному человеку, ни всему народу, ни даже всей истории, ибо такая переделка равносильна уничтожению человека. Нелогичность и гибельность подобных законодательных актов была очевидна.

Но этого мало: земельные законы 1917—1918 годов, проповедуя дележ земли как премию за беспорядки, запускали страшный механизм разрушения, ввергали народ в пучину всеобщего грабежа и разбоя. Сегодня разрешили грабить помещика, завтра — монастырь, а послезавтра — почему бы не пойти на грабеж зажиточного крестьянина, а там и всякого, кто имеет имущество и достаток? И потянутся нескончаемой чередой земельные неурядицы, перераспределение имущества и смуты. Известный французский экономист и государственный деятель Мелин писал в начале текущего века в своей книге «Возврат к земле»: «Коль скоро это начало (право собственности) будет затронуто и разрушено в лице хотя бы одного только собственника, то же неминуемо постигнет и всех, кто бы они ни были, крупные или мелкие. Нужно быть очень наивным, чтобы думать, что, когда государство конфискует и распределит между нуждающимися крупные владения, оно на этом пути остановится и пощадит остальные. Хотя бы оно того и хотело, оно уже этого не сможет. Все те, кто не получит своей доли добычи, — а таких всегда останется большинство, — сумеют его убедить в необходимости предпринять новую серию экспроприаций, чтобы дать и им место на пиру. Пусть мелкие владельцы, которых хотят, отведя им глаза, увлечь в этот поток, хорошенько подумают: они рискуют своей головой так же, как и все остальные, а когда благодаря их слабости революционеры станут господами, она не долго уцелеет у них на плечах». Крупнейший знаток сельского дела в России А. С. Ермолов в 1906 году в книге «Наш земельный вопрос» также писал: «Крестьяне сами сознают, что на этом пути им нельзя будет остановиться, и если сегодня они поднимутся против помещика, то завтра восстанут село против села, мужик против мужика, и лойдет тогда уже не смута, а взаимный грабеж, взаимное друг друга истребление по всей русской земле, перед которым побледнеют все ужасы пережитых нами аграрных беспорядков и погромов... Неужели можно воображать, что народ, который будто бы не ныне-завтра со всеми господами по-своему расправится, с такими полумерами примирится? Уж если разрушать, то так, чтобы и звания не оставалось, уж если брать, так все, уж если отчуждать, так даром, — коли земля принадлежит мужикам, и помещики ее неправо от них отобрали и удерживают, то за что же их еще и вознаграждать, — просто землю от них отобрать, и делу конец. Но я именно хотел доказать, что делу тут не конец, а разве только начало...».

Нельзя не вспомнить и слова П. А. Столыпина, сказанные им 10 мая 1907 года перед Второй думой:

«Словом, признание национализации земли поведет к такому социальному перевороту, к такому перемещению всех ценностей, к такому изменению всех социальных, правовых и гражданских отношений, какого не видела еще история... Вообще, стимул к труду — та пружина, ко-

торая заставляет людей трудиться, была бы сломлена... Все будет сравнено — сравнять всех можно только к низшему уровню. Вследствие этого культурный уровень страны понизится. Добрый хозяин, хозяин-изобретатель, самой силою вещей будет лишен возможности приложить свои знания к земле... и эта распыленная земля будет высылать в города массы обнищавшего пролетариата».

И события, предсказанные французом Мелином и русскими Ермоловым и Столыпиным, не заставили себя ждать. Вступившие в силу первые советские законы о земле и последовавшие за ними декреты подхлестывали и ускоряли эти события. Декретом от 15 февраля 1918 года национализировались все зернохранилища, в том числе бывшие в ведении государственного банка, созданные по почину П. А. Столыпина. Весь содержащийся в них хлеб был монополизирован, став якобы собственностью государства. Еще раньше был ликвидирован Совет главного земельного комитета, который негласно и робко, но все же защищал крестьянство. Учредительное собрание было распущено специальным декретом.

Из центра летели депеши во все губернии и уезды: ускорить ликвидацию частновладельческих хозяйств, которых в европейской части России насчитывалось около 110 тысяч. Они имели около 8 миллионов десятин посевных площадей (около 7 миллионов — зерновых) и около 9 миллионов голов скота, из них 1,5 миллиона породистых лошадей и около миллиона высокопродуктивных молочных коров.

Центр также торопил с ликвидацией монастырских хозяйств. В 1912 году за монастырями числилось 740 тысяч десятин земли, а в 1919 году — около 900. Никто точно не знал, сколько сельскохозяйственной продукции поступало из монастырей на всероссийский рынок, но то, что поступало ее много, сомнений нет.

К 1921 году были изъяты не только церковные ценности: но и разгромлено 673 монастыря. У них было отнято капитала на сумму 4 млрд. рублей, 827 тысяч десятин земли, 84 завода, 1112 домов для престарелых и страннопримных домов, 704 гостиницы, 277 больниц и приютов, 436 молочных ферм, 603 скотных двора и 311 пасек. На произвол судьбы было выброшено более 58 тысяч монахов, монахинь, послушников, послушниц и еще большее количество призреваемых в монастырях людей.

Урон, понесенный страною от разгроме архитектурных ансамблей монастырей, памятников истории и культуры и богатейших хозяйств, составил страшные цифры, а утрата произведений искусства, древле- и книгохранилищ не поддается какой-либо оценке в рублях. Это было подлинное национальное бедствие.

Ликвидация частновладельческих и монастырских хозяйств была проведена успешно, хлеб из них был конфискован и монополизирован. Но на этом дело не кончилось. Началось массовое ограбление крестьян через конфискацию имущества, изымание хлеба и продуктов, обесценивание денег и др. Так называемые твердые цены на сельскохозяйственные продукты были в 46 раз ниже цен вольного рынка. Стихийный выпуск бумажных денег облегчал дополнительное изъятие сельхозпродукции у крестьян за бесценок. Еще в 1918 году 1 золотой рубль стоил 7 руб. 85 коп. «бумажками», а в 1921 году он пошел за баснословную цену — 11 300 бумажных рублей! В 1918—1919 годах разверстка извлекла у крестьян продуктов на 127 миллионов рублей, а эмиссия дензнаков — на 523 миллиона. В 1919—1920 годах соответственно — 253 и 390 миллионов рублей, в 1920—1921 годах — 451 и 200 миллионов рублей. В «Истории ВКП(б)», под редакцией Ем. Ярославского (М. Губельмана), изданной в 1929 году, читаем: «При сокращении денежных поступлений государство вынуждено было нажать на печатный станок, ибо дефицитность бюджета возрастала. С 66 процентов в 1918 году до 88,9 процента в 1929 году». Крестьянство презрительно именовалось «мешочниками», то есть спекулянтами. Еще 10 ноября 1917 года в декрете новой власти России была дана установка: «спекулянты... расстреливаются на месте преступления». А такими «спекулянтами» была большая часть крестьянства, то есть подавляющее большинство народа. И не только тогда так считалось, но и потом — на десятилетия вперед укоренилось такое отношение к народному кормильцу. По отношению к пролетариату даже «некулацкая часть» крестьянства была отнесена к классовому врагу. Этот зловещий лозунг, катившийся по стране десятилетия, был прославлен теоретиком нового мира Н. И. Бухариным и послужил руководством к действию по уничтожению крестьянства.

Но ради чего было уничтожено дворянство и монастырское духовенство, ради чего было поставлено на грань истребления крестьянство? Исчерпывающий ответ на эти вопросы должны дать историки. Но одно несомненно: это было сделано ради торжества построения мирового социализма любой ценой и даже жертвой всего народа России! Эта задача легче всего решалась с помощью хлебной монополии, которая могла заставить весь народ гнуть спину на новую власть, и гнуть ее безропотно и бесплатно. В 36-м томе Собрания сочинений В. И. Ленина (с. 144 и 201) эта идея сформулирована достаточно четко!

«От трудовой повинности в применении к богатым Советская власть должна будет перейти, а вернее, одновременно должна будет поставить на очередь задачу применения соответствующих принципов (трудовую повинность и принуждение. — Ф. Ш.) к большинству трудящихся рабочих и крестьян».

«И вся наша задача... встать во главе истомленной и устало ищущей выхода массы, повести ее по верному пути, по пути трудовой дисциплины, по пути согласования задач митингования об условиях работы и задач беспрекословного повиновения воле советского руководителя, диктатора (вождя. — Ф. Ш.), во время работы».

«Преобразователи» России устроили инспирированный голод в двух столицах. Поход за хлебом нужен был не для прокормления этих городов, — в округе хлеба было достаточно, — а для осуществления хлебной монополии — основы построения «нового общества». И чтоб хлеб не проник в столицы и не сорвал задуманный социальный эксперимент, были учреждены на железных и других дорогах заградотряды, которые следили за движением каждого мешка. Ленин объявил крестовый поход рабочих против дезорганизаторов и против укрывателей хлеба. А за этим последовал декрет о продовольственной диктатуре, в котором говорилось: «Вести и провести беспощадную и террористическую борьбу и войну против крестьянской и иной буржуазии, удерживающей у себя излишки хлеба; точно определить, что владельцы хлеба, имеющие излишки хлеба и не вывозящие их на станции и в места сбора и ссыпки, объявляются врагами народа (вот он откуда, термин-то! — Ф. Ш.) и подвергаются заключению в тюрьму на срок не ниже десяти лет, конфискации всего имущества и изгнанию навсегда из его общины». (с. 316). Формировались рабочие продотряды, успех которых измерялся успехами работы по добыче хлеба. В этих продотрядах изучались директивы, в которых говорилось: «Задачей борьбы с голодом является не только выкачивание хлеба из хлебородных местностей, но ссыпка и сбор в государственные запасы всех до конца излишков хлеба, а равно всяких продовольственных продуктов вообще. Не добившись этого, нельзя обеспечить решительно никаких социалистических преобразований». Так вот зачем понадобился хлеб России: не для борьбы с голодом, а для продовольственной диктатуры, с помощью которой можно было удержать власть. И не для тех же ли дел понадобился вездесущий Троцкий (Бронштейн), который по решению СНК РСФСР возглавил чрезвычайную комиссию по продовольствию. Этот «спаситель Отечества», опираясь на директиву РКП(б) от 29 января 1919 года, подписанную его подельцем Свердловым, принял простое решение: отобрать весь хлеб у донского казачества, а чтоб не было свидетелей грабежа — истребить это казачество поголовно и заселить Дон пришлой беднотой. Накопленный здесь за последние годы хлеб начисто конфисковывался, а его держатели расстреливались. В считанные месяцы на Дону были уничтожены сотни тысяч казаков, включая детей, женщин и стариков. И не только хлеб уходил с Дона, но и все имущество, нажитое вековым трудом. Палачами, разорившими и потопившими в крови донское казачество, были высшие руководители тогдашнего государства и его уполномоченные: Свердлов, Троцкий, Ходаровский, Смилга и Гиттис, а также руководители Донбюро РКП(б) — Френкель, Якир, Сырцов и им подобные. В верховьях Дона, в Воронежской губернии в это время орудовал Л. М. Каганович, который был назначен сюда предревкома и предгубисполкома. Под его безжалостным давлением начались здесь повсеместные репрессии против крестьян, изымание у них хлеба и конфискация имущества. В считанные месяцы крестьянство этой губернии было обескровлено и обречено на голод и вымирание. Е. Б. Бош, имея не меньшие полномочия, изымала хлеб и занималась террором вначале в Пензенской и Орловской губерниях, а затем на южной Волге. Полномочного комиссара Землячку (урожденную Залкинд) центр бросал то в Ростов-на-Дону, то в Уральскую область, то в Крым, где она проводила конфискацию хлеба и имущества. В результате деятельности таких уполномоченных новой власти к 1920 году общая численность расстрелянных репрессированных казаков только на Дону составила 1,5 миллиона человек, а на Урале — более 900 тысяч[1].

К началу 1920 года все наличные запасы хлеба не только с Дона, Поволжья и Урала, но и из многих других губерний были изъяты, и их судьба оставалась неизвестной, так как столицы продолжали испытывать тяжелейшую продовольственную нужду.

Но осуществления только одной хлебной монополии было недостаточно. Надо было наряду с ней организовать из единого центра жесткий учет и распределение не только хлеба и продуктов, но и предметов широкого потребления. Еще 21 ноября 1918 года было введено «Положение об организации снабжения», по которому на Наркомпрод, возглавляемый Шлихтером, возлагалось распределение среди населения по твердым ценам не только продуктов сельского хозяйства, но и промтоваров. 5 августа 1919 года был издан декрет о товарообмене и обязательной сдаче населением продуктов сельского хозяйства и промыслов, намечался очередной грабеж народа под видом продразверстки. По России зашагала карточная система распределения продуктов и предметов широкого потребления. А следом вводилась обязательная приписка населения к кооперативным организациям, которые превращались в наркомпродовский аппарат распределения. Состоявшийся в декабре 1920 года VIII Всероссийский съезд Советов принял декрет о посевкомах. Этим делалась попытка урегулировать сверху крестьянское хозяйство путем административного увеличения посевных площадей. Другими словами, шаг за шагом вводились всеобщие учет и распределение продуктов на основе столь же всеобщей принудиловки или трудовой повинности народа. С этой же целью был взят курс на отмену денег, но на самом деле, как мы уже видели, на скрытое расширение их выпуска.

Одновременно по России катился, уничтожая все на своем пути, тяжелый каток новых законов о земле, действия которых усиливались на местах десятикратно. Вся земля была объявлена государственной. Она перешла в ведение центрального и местных земельных отделов. Принцип собственности на землю заменился принципом временного ее использования как ничейной без права передачи по наследству. А потому личная нравственная ответ-

[1] Очерки истории большевистской организации Дона. 1898—1920 гг. Ростовское кн. изд-во. 1965. т. 1; Ермолин А. П. Революция и казачество, М., «Мысль». 1982, с. 170.

ственность за землю как неотчуждаемую собственность исчезла. Один из самых главных законов жизни человека на земле, за действие которого было пролито столько крови, был признан недействительным. Предпочтение в таком обезличенном пользовании землею было отдано социалистической общине, в которой всецело ни земля, ни труд, ни продукты уже не принадлежали личности, хотя бы даже временно, как в старой общине, где часть продуктов была неотчуждаема от крестьянина. Местные Советы и их земельные отделы, опираясь на вышедшие законы и под нажимом комитетов бедноты, гласно или негласно, правдой или неправдой стали притеснять и изгонять личные крестьянские хозяйства, являвшиеся важнейшим поставщиком товарного хлеба. Более 1,5 миллиона крестьянских и особенно хуторских, оскорбляемых и гонимых как кулацкие и мироедские, были разогнаны и побросали свои ухоженные земли. По крестьянскому миру пошел ропот. В августе 1918 года восстали крестьяне пяти уездов Пензенской губернии и нескольких южных уездов Орловской губернии. Из центра полетели грозные приказы о беспощадном подавлении этих выступлений крестьян. Вот некоторые из тех приказов.

«9 августа 1918 г. (Москва). Пенза, губисполком, копия Евгении Богдановне Бош.

Получил Вашу телеграмму. Необходимо организовать усиленную охрану из отборно надежных людей, провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев; сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города. Экспедицию пустите в ход. Телеграфируйте об исполнении.

Предсовнаркома Ленин».

Через два дня снова телеграмма Ленина на имя предгубисполкома и Бош: «Предгубисполкому, копия Бош.

При подавлении восстания пяти волостей приложите все усилия и примите все меры, в целях изъятия из рук держателей всех дочиста излишков хлеба, осуществляя это одновременно с подавлением восстания.

Для этого по каждой волости назначайте (не берите, а назначайте) поименно заложников из кулаков, богатеев и мироедов, на коих возложите обязанности собрать и свезти на указанные станции или ссыпные пункты и сдать властям все дочиств излишки хлеба в волости.

Заложники отвечают жизнью за точное, в кратчайший срок, исполнение наложенной контрибуции. Общее количество излишков по волости определяется предгубисполкомом и губпродкомиссариатом, на основании данных об урожае 1918 года и об остатках хлеба от урожаев прошлых лет. Мера эта должна быть проведена решительно, стремительно и беспощадно за вашей, губпродкомиссара и военкомиссара ответственностью, для чего указанным лицам даются соответствующие полномочия.

Осуществление меры сопроводить обращением к населению листком, в котором разъяснить значение ее; укажите, что ответственность заложников налагается на кулаков, мародеров, богатеев, исконных врагов бедноты.

О получении сего телеграфируйте регулярно. Сообщайте о ходе операции не реже чем через день, повторяем—не реже.

Предсовнаркома В. Ульянов (Ленин),
Наркомтруд Цюрупа,
Наркомвоен Склянский».

Ответ Бош Ленину: «Будет исполнено».

И еще одна телеграмма Ленина:

«Пенза, губисполком, Бош.

Получил вашу телеграмму. Крайне удивлен отсутствием сообщений о ходе и исходе подавления кулацкого восстания пяти волостей. Не хочу думать, чтобы вы проявили промедление или слабость при подавлении и при образцовой конфискации всего имущества и особенно хлеба у восставших кулаков.

Предсовнаркома Ленин» [1].

Здесь комментарии излишни. Крестьяне всех пяти уездов были разграблены, разорены, оставлены без хлеба, пошли по миру, в голодовки и на расстрелы, в концлагеря.

В то же время доведенные до отчаянья крестьяне Ливенского уезда Орловской области также восстали за свои права, за свою жизнь. Восстание было жестоко подавлено: шли расстрелы в каждом селе и деревне, концлагеря набивались мужиками. В этой губернии свирепствовали предгубисполкома Б. М. Волин и особенно председатель Орловской ВЧК Мирон Абрамович Переславский. В центр пошла телеграмма:

«Москва, Совнарком, Ленину, копия комиссару внутренних дел Петровскому.

Восстание ликвидировано. Ваше распоряжение приводится в исполнение. Похороны были сегодня при торжественном участии города. С подробным докладом будем. Виновные расстреляны. Дальнейшие аресты продолжаются.

Бурков, Переславский» [2].

И тут комментарии также излишни.

В великой и изобильной сельскохозяйственной державе начался жестокий и небывалый продовольственный кризис. Крестьяне то тут, то там решались на отчаянное сопротивление всеобщей трудовой повинности и рабству. Однако это не мешало устроителям новой России, и они «железной рукой гнали ее народ к счастью». Все крепче брала за горло такая «железная рука» именно крестьянство. Всеми мерами развертывалось разрушение остатков сложившегося за последние пятьдесят лет крестьянского строя. Так, еще 11 декабря 1918 года I Всероссийский съезд земельных отделов, комитетов бедноты и коммуч потребовал повсеместного перехода крестьян к общественной обработке земли. А 11 февраля 1919 года ВЦИК издал «Положение о социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому земледелию», в котором подтверждал необходимость перехода от единоличных норм землепользования к товарищеским.

Шел 1920 год, но продовольственный

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, 1929, с. 490—491.

[2] Из архива краеведческого музея г. Орла.

оброк под именем продразверстки ужесточался. Насильственное изымание хлеба не только в личных крестьянских хозяйствах, но и в общинных катилось широкой волной по всем губерниям, где только мог расти хлеб. Свирепствовали продотряды. Крестьянскую семью с поднятыми вверх руками грабители ставили под стволы пистолетов к стенке дома, выгребали из амбаров последний хлеб, даже семенной. Так было на Украине, на Дону, в Поволжье, на Северном Кавказе, Алтае, в Казахстане. Под жерновами этого небывалого насилия крестьяне сокращали посевные площади, снижали урожайность, забивали скот, бросали инвентарь, хутора и заимки. На несчастном Дону осенью 1920 года поля остались незасеянными. И не только на Дону. Страдания и слезы голодных, обираемых людей — обычная картина тех лет всюду...

К 1921 году уровень сельского хозяйства упал, как свидетельствовал Краткий курс истории ВКП(б), на 40 процентов по сравнению с дореволюционным, а посевы хлебов сократились на 25, технических культур — на 56 процентов (на самом деле — намного больше!). Сельское хозяйство с трудом обслуживало нужды самого крестьянства. Против такой политики ширились выступления крестьян, среди них самое крупное — Тамбовское. Крестьянство в этой губернии было доведено до отчаяния. Не только отбирался весь хлеб, но и творилось жестокое насилие. В этом особенно преуспевали начальник Тамбовской милиции И. И. Мейснер, заведующий губотделом труда, член президиума губсовнархоза Б. А. Васильев, который с 1919 года был здесь членом оперативной четверки по борьбе с дезертирством, а с 1921 года — секретарем губкома. А еще раньше здесь орудовал и бесчинствовал моршанский партийный секретарь Н. Д. Скрипник. ВЦИК создал по тамбовским делам полномочную комиссию во главе с В. А. Антоновым-Овсеенко — тем самым, который в 1919—1920 годах по «революционным законам» руководил Тамбовским краем в качестве секретаря губкома. А следом на подавление крестьянского восстания, имевшего в своих рядах до 50 тысяч человек, была брошена особая армия под верховенством М. Н. Тухачевского и его заместителя И. П. Уборевича. Что оставалось крестьянам? Либо погибать голодной смертью, либо выжить с оружием в руках. Они избрали второй путь. В Моршанском, Борисоглебском, Кирсановском, Козловском и Тамбовском уездах уже стояли начисто вымершие деревни с пустыми глазницами домов. Такая же участь ждала все села и деревни Тамбовщины. А сколько крестьян погибло в разрывах снарядов, под пулеметными очередями да под саблями полков Котовского и в лагерях смерти? Об этом история умалчивает. Прославленные Тухачевский и Уборевич в убиении кормильцев России были столь же безжалостны, как и их вдохновители из центра. Валить на эсеров: они, дескать, в том виноваты, — по меньшей мере преступный обман.

Тамбовские события — это, может быть, последний отчаянный крик многострадального крестьянства ко всему народу о помощи! Начались жестокие голодовки как раз в наиболее цветущих и плодороднейших губерниях. От бесхлебья страдало более 25 миллионов душ. И никто не считал жертв умышленных голодовок, но они вряд ли были меньше 6 миллионов человек! К марту 1923 года донское казачество сократилось с четырех миллионов до полутора, то есть за два года было истреблено два с половиной миллиона казаков [1]. Россия в муках вымирала. Но куда же шел хлебушко крестьянский? На железнодорожные станции Курской губернии было свезено 1380 тысяч пудов ржи и овса и из-за отсутствия вагонов весь этот хлеб погиб. То же было на десятках железнодорожных станций от Алтая до Днепра! По указанию Советского правительства «Внешторг» распорядился о вывозе за границу русского зерна до 500 миллионов пудов (условия Брестского мира надо было исполнять!). Голод сопровождался тифом, от которого погибло самое малое три миллиона душ. Вслед за Тамбовским повеяло всероссийским крестьянским бунтом против власти: восстали крестьяне Украины, Самарской губернии, южной Волги, Урала и Алтая. Заволновалось крестьянство Забайкалья, загудел казачий Дон. И Ленин в 1921 году на X съезде партии заявил: «В условиях кризиса, бескормицы, падения скота крестьянин должен был оказывать кредит Советской власти—во имя крупной промышленности». Хорош кредит — разгром крестьянства и миллионы человеческих жизней! Этот же съезд отменил продразверстку — небывалый за всю историю государственный оброк—и заменил его продналогом — смягченным оброком, составлявшим около половины планировавшихся прежде изъятий хлеба, а СНК РСФСР своими декретами освободил потребительскую, сельскохозяйственную и кустарную промышленность, кооперацию от подчинения Наркомпроду. Все эти меры считались временным отступлением от основной колеи новой жизни. Месяц (март), когда они были оглашены, был выбран удачно: чтобы вовремя затянуть крестьян на посевную, предполагалось, крестьян «подстегнут» обещания, что «реквизиций» больше не будет. А о свободной торговле хлебом, оставшимся после уплаты налогов, — ни слова! Хлебная монополия считалась уже прочным завоеванием Октября. «Свобода торговли... все-таки неминуемо приведет к этой белогвардейщине, к победе капитала, к полной его реставрации» [2]. И никак тут не получалось у новой власти: или теряй власть, или разрешай основную часть продуктов сельского хозяйства свободно продавать. Пришлось — ради сохранения пролетарской власти — пойти на эту свободу торговли, ее узаконили под видом нэпа, но опять на время: все равно в истории с нэпманами не по пути!

Но откуда было знать крестьянству тайную подоплеку «отпущения ремней»

---

[1] Поуездные итоги переписи 1917 года. Труды ЦСУ, т. V, вып. 2. М. 1923, с. 28, 30

[2] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 43, 1929, с. 25.

(кто не раскрывал, тот в концлагеря гремел!): авось и пойдет так — и земля, поди, будет скоро наша, и хлебушок тоже наш!— предполагала власть. И потянулись земледельцы на свои земельные участки, которые теперь выдавались им только во временное пользование. Появились рынки и базары сельскохозяйственной продукции. Именно в эти годы началось кооперирование крестьянских хозяйств. К 1926 году оно достигло 30 процентов всех хозяйств. Молочная кооперация охватила до 90 процентов хозяйств, картофельная — 66—77, а свекловичная — до 80 процентов. Прошло массовое развитие снабженческо-сбытовых форм кооперации (маслоцентр, льноцентр, союзкартофель и др.).

Земля была отобрана из собственного подворного и даже общинного владения крестьян, но вечный ее зов, боль за кормилицу, лежавшую «в пусте», был сильнее, и они ее возрождали. К 1927 году землей на правах временных пользователей владели более миллиона крестьянских хозяйств, насчитывавших 5,6 миллиона душ. Им принадлежало 10 миллионов гектаров зерновых посевов, которые давали более 20 процентов товарного зерна и более половины другой сельскохозяйственной продукции. Три четверти из них пользовались в среднем 16 гектарами посева[1].

Как никогда, подтверждались такие слова выдающегося ученого экономиста-аграрника А. В. Чаянова: «идеальным нам мыслится крестьянское семейное хозяйство, которое выделило из своего организационного плана все те его звенья, в которых крупная форма производства имеет несомненное преимущество над мелкой, и организовало их на разные степени крупности в кооперативы». В те годы именно крестьянское семейное хозяйство как основа крестьянского строя, кооперированное лишь на определенной ступени более крупного производства — снабженческо-сбытовой, обрабатывающей и других, предохранило сельское хозяйство от полного развала, и только оно и могло вывести страну из разрухи.

Но наряду с таким крестьянским миром, временно пользовавшимся землей как бы на условиях аренды, продолжал насаждаться иной сельский мир, основанный на коллективно-общинных формах владения землей. Вся государственная деятельность была направлена на помощь только ему. Еще с 1918 года по селам и деревням группировались и заседали комитеты бедноты. Они-то и способствовали оживлению строительства этого нового сельского мира. Многие первые коллективные хозяйства, особенно коммуны, вначале создавались в бывших помещичьих имениях и монастырях, получая в свое распоряжение конфискованные имущество, орудия, семена. Но к 1926—1927 годам этот источник сельскохозяйственных капиталов иссяк, и такие хозяйства стали разваливаться. «Коммунарский сельский рай» не состоялся. Чтобы как-то поправить положение, Постановлением ЦК ВКП(б) от 30 декабря 1926 года была начата организация коллективных хозяйств на основе самодеятельности крестьянского населения, получавшего помощь от государства. Наиболее массовой формой такой коллективизации были признаны товарищества по совместной обработке земли (ТОЗы). XV съезд ВКП(б) предложил переделывать индивидуальные и раздробленные производственные единицы в крупные обобществленные хозяйства, а совхозы сделать одной из ведущих сил в социалистическом переустройстве деревни.

В 1925 — 1927 годах землеустройство ориентировалось на широкие полосы больших деревень, то есть на будущие крупные коллективные хозяйства. Устройство частновладельческих и личных крестьянских хозяйств более 10 лет не проводилось. Вместе с тем организовывались смотры групп бедноты, и после октябрьского (1928 г.) Пленума ЦК ВКП(б) выдвигалась идея массовой коллективизации как единственного средства преодоления продовольственных затруднений. Началась неутомимая государственная деятельность по коллективизации крестьянского мира. Однако по РСФСР на 1 июня 1927 года она составляла всего 0,8 процента всех крестьянских хозяйств. В 1928 году процент коллективизации достигал всего 1,7[1].

Апрельский (1929 г.) Пленум ЦК ВКП(б) определил источники средств для индустриализации и запретил внутридеревенскую куплю и продажу хлеба. Низкие цены на сельскохозяйственную продукцию и высокие цены на промтовары, большие налогообложения крестьянских дворов, изымание всего, что нарабатывало крестьянство, — одни из главных таких источников. Опять все тот же крестьянский кредит Советской власти во имя крупной промышленности. Хлебозаготовки 1927 — 1928 годов и шли по таким ценам, а когда основные поставщики товарного хлеба — личные крестьянские хозяйства отказывались сдавать хлеб по таким ценам, они объявлялись «врагами хлебозаготовок» и их хлеб конфисковывался согласно 107-й статье Уголовного кодекса. Зерновые забирались по 4 — 8 копеек за килограмм, картофель по 4,7, овощи по 19,2, говядина по 20,3, свинина по 67,2, молоко по 25,2 копейки. А стоимость затрат труда и ресурсов на производство этих продуктов была в несколько раз выше. По всем сельским местам шли сбыски и бесчинствовали заградотряды. На десятилетия воцарилась небывалая за всю историю крестьянства государственная барщина, то есть фактически бесплатная работа на земле.

Крестьянский мир после потрясений 1917 — 1921 годов немного оправился к 1928 году, однако он никак не мог достичь успехов дореволюционного времени. Не в полную отдачу работал крестьянин на чужой, пусть арендованной у земотдела земле, не приучал и детей своих к ней, не передавал им свою страсть радетеля, как бывало встарь, при Столыпине, и оглядывался на центр, на Москву, где готовилась еще более непроглядная тьма, очередная смута чуялась сердцем, виделась из газет и угрожающих окриков уполномоченных разных рангов да и своих доморощенных начальников.

---

[1] «Социалистическое строительство СССР». Стат. ежегодник ЦУНХУ Госплана СССР. М., 1938, с. XXX.

[1] Немаков Н. И. Коммунистическая партия — организатор массового колхозного движения (1929—1932). Изд-во МГУ. 1966.

А подумать было о чем.

Так, в 1913 году валовой сбор зерновых составлял около 5 миллиардов пудов, а в 1928 году — 4,4, из которых почти миллиард пудов давали личные крестьянские хозяйства, владевшие землей на правах временных пользователей-арендаторов. В 1913 году было собрано около 1,6 миллиарда пудов ржи, пшеницы — 1,7, а овса — 1,1 миллиарда пудов, а вот в 1928 году (соответственно) — 1,5; 1,3 и 0,8 миллиарда пудов. Средняя урожайность зерновых была в том же 1928 году около 50 пудов с десятины, то есть ниже, чем в 1910 — 1914 годах. Поголовье скота, особенно крупного рогатого, несколько превысило дореволюционный уровень. Это были последние годы относительно спокойного мирного крестьянствования. Заметим, что так называемый социалистический сектор в сельском хозяйстве составлял тогда всего 2,7 процента[1].

15 декабря 1928 года был дан ход новому закону «О землеустройстве и землепользовании», которым запрещалось предоставление земли бывшим помещикам и другим землевладельцам из принадлежавших им хозяйств и ограничивались права «кулацких хозяйств» на аренду земли. Под последнюю категорию хозяйств подпадали еще сохранившиеся хуторские, «отрубные», однодворные личные крестьянские хозяйства — столыпинский корень крестьянствования. А постановление ЦИК и СНК СССР от 8 февраля 1929 года «О едином сельскохозяйственном налоге и облегчении обложений середняцкого крестьянства» положило начало массовым гонениям на личные крестьянские хозяйства, арендовавшие землю. От налога освобождались маломощные, в основном общинные хозяйства (35 процентов всех хозяйств), а льготы предоставлялись коллективным хозяйствам, тем самым на зажиточные хозяйства возлагалось 30 — 45 процентов всей суммы налогов (общая сумма налога составляла 375 миллионов рублей). Продолжал действовать денежный государственный оброк. Около 720 — 800 тысяч крестьянских хозяйств, или 3 процента всего их числа, было обложено индивидуально с таким расчетом, чтоб больше им не подняться.

Если до конца 1928 года в РСФСР преобладали ТОЗы, то весною и летом 1929 года уже появились первые селения и районы сплошной коллективизации. На 1 октября 1927 года коллективизированных хозяйств было около 11 тысяч, а через год уже 26 тысяч. Весной 1929 года в такие хозяйства было объединено по РСФСР 688 тысяч хозяйств, или 4 процента всех крестьянских дворов. Из 257 самых крупных коллективных хозяйств треть составляли коммуны, 34% — артели и 38 — ТОЗы. Что тогда представляли собой эти хозяйства? По какому признаку относили их к той или иной категории? Личные же хозяйства считались отсталыми и подлежали уничтожению. В коммунах не обобществлялись лишь предметы личного потребления, в артелях полностью обобществлялись все хозпостройки, кроме жилых, крупный рогатый и мелкий скот. В ТОЗах обобществлялся весь сельскохозяйственный инвентарь, посевной материал, рабочий и частично рогатый скот.

В 1928 — 1929 годах в деревне фактически свирепствовала продразверстка, сопровождавшаяся голодом. На города навалилась карточная система, в торговля заменялась прямым продуктообменом.

К январю 1930 года для успешного проведения коллективизации по четырнадцати областям и краям только РСФСР было сколочено 24 тысячи групп бедноты, в которых насчитывалось более 280 тысяч человек — нового «корпуса строителей колхозной жизни» (вспомним о двадцати процентах крестьян, составивших деревенскую «бедноту»). На бесконечных совещаниях, конференциях, слетах говорилось об опоре на уже коллективизированные хозяйства. А они по СССР на ноябрь 1929 года составляли в среднем 7,5 процента.

А крестьянин уже бежал с земли или пахал и сеял кое-как, не удобряя землю и не вводя севооборота, зерновые бросал по плохо ухоженной яри, а то и по весновспашке. И следом разразились суховеи и засухи, погубившие семь миллионов гектаров озимых на Украине и Северном Кавказе. Урожайность в других областях юга упала, возникла тяжелая напряженность в хлебозаготовках. 1929 год вошел в историю крестьянства как межевой знак, разделивший крестьян, лично владевших землей и зажиточных общинных, на три категории по налогообложению — на индивидуальнообложенных, индивидуальнообложенных с надбавкой и лишенных льгот по налогу. У тех крестьянских хозяйств, которые лишались льгот по налогу, имущество продавалось по статье 61 Уголовного кодекса, передавалось общественному сектору или индивидуальным бедняцким хозяйствам. Одновременно в том же году ставилась задача сплошной коллективизации только отдельных районов и округов, но с ноябрьского (1929 г.) Пленума ЦК ВКП(б) — уже и областей. Создавался союзный Наркомзем под руководством Я. А. Яковлева (Эпштейна). А ему в помощь были приданы уже созданные колхозцентр (председатель Г. Н. Каминский), союз союзов сельскохозяйственной кооперации (председатель М. Ф. Владимирский — он же Камский), хлебоцентр (председатель Беленький) и тракторцентр.

5 декабря 1929 года была создана комиссия Политбюро ЦК ВКП(б) для подготовки проекта постановления «О темпах коллективизации в различных районах страны» под председательством Яковлева-Эпштейна. В эту комиссию входило 8 подкомиссий: по темпам и срокам коллективизации, по ликвидации кулачества,

---

[1] Островский В. Б. Колхозное крестьянство СССР. Саратов. 1987.

по типизации хозяйств коллективизированных районов, по организационным вопросам, по распределению материальных ресурсов, по кадрам, по мобилизации средств, по вопросам культурного и политического обслуживания.

Главными были две подкомиссии: по темпам и срокам коллективизации Г. Н. Каминского и по ликвидации кулачества К. Я. Баумана.

Но мысли и решения пока не облеклись в конкретные дела. Наркомзем и колхозцентр торопились с коллективизацией прежде всего по РСФСР. Они срочно разработали план коллективизации, а СНК республики утвердил его 11 декабря 1929 года, не дожидаясь окончания работы комиссии Политбюро. В течение 1930 года предложено было по зерновым районам коллективизировать до 90 процентов бедняцко-середняцких хозяйств, а по другим — до 75. И даже было определено количество колхозов, которые надо было создать, — 55 666 (!) с посевной площадью в 24 миллиона гектаров. Число районов сплошной коллективизации было определено в 300 на 12 миллионах гектаров. Крупных колхозов вне районов сплошной коллективизации надо было создать более 1660 на 7 миллионах гектаров посевных. В районах сплошной коллективизации предложено было согнать в общий загон весь рабочий скот, а крупный рогатый — только 80%. В мелких колхозах подлежали обобществлению пашня, инвентарь, рабочий скот, продуктивный скот на 60 процентов.

22 декабря 1929 года комиссия Яковлева, Каминского, Баумана и других предложила коллективизировать крестьянство по стране за 5 лет, в зерновых районах — за 2—3 года, а в потребительской полосе — за 3 — 4 года. В полном «крестьянском раю» — коммунах — должно было жить 25 процентов, неполном — артелях — не менее 50 и предтечах его — ТОЗах — тоже 25 процентов крестьян. И об оплате труда позаботились заранее — авансирование в течение года в счет фактических заработков членов колхозов в размере 50 процентов, а окончательный расчет — в конце года после отчислений в их неделимые фонды и платежей государству. Коллективизацию надо было провести в основном за счет средств самого крестьянского населения, а потому и было оговорено: кредиты предоставляются при условии выполнения коллективизированным населением обязательств по обобществлению орудий труда и средств производства. Еще не закончила работать комиссия Политбюро, но услужливый Наркомторг, руководимый Л. М. Хинчиком, предложил «контрактацию» — плановый переход к продуктообмену между городом и деревней, а потому рынки и базары не потребовались, и вскоре их закрыли. И СНК СССР поспешил издать постановление «О весенней посевной кампании 1930 года». Так завязывался узел управления согнанным в колхозы крестьянством центром из Кремля, сплоченной группой безжалостных парто- и бюрократов. Да и легко становилось это делать: сначала отобрали землю, скот и инвентарь, а затем весь наработанный продукт. О чем думать крестьянину? Его освободили от крестьянских забот и передали их Москве, аж в ЦК и СНК! А ТОЗы, артели, коммуны становились только разными формами принуждения и рабства крестьянина. Да, комиссия Яковлева-Эпштейна уже расписала заранее будущее крестьянства, как и где ему жить, чем ему можно пользоваться и чем нельзя, какую ему иметь свободу или совсем ее не иметь. Подкомиссия Баумана указала: сопротивляющихся «кулаков» (первая категория) подвергать госнасилию, вытекающему из диктатуры пролетариата; тех же «кулаков», которые не столь активно сопротивляются (вторая категория) — выселять на окраины СССР; у «кулаков», не проявляющих активного сопротивления (третья категория), конфисковать имущество в колхозный фонд, а их самих брать на положение испытуемых в колхозы без избирательных прав с тем, чтобы они использовались как рабочая сила, почитай, как рабочий скот, и ежели они не исправятся — отправлять туда же, в дальние края. Яковлев-Эпштейн дал точнейшие расчеты о том, сколько в стране «кулаков», сколько ими хозяйств держалось и сколько в них душ кормилось. Этот «великий аграрный деятель» прикинул заранее, что на всех просторах бывшей России во всем крестьянстве наличествовало 5 процентов «кулаков», которые содержали 1,5 миллиона хозяйств с 7 — 8 миллионами душ! Комиссия Политбюро рекомендовала: «С переходом к сплошной коллективизации такая мера борьбы с «кулачеством», как недопущение его в колхозы и исключение из колхозов, недостаточна, что сама жизнь (а не Яковлев, Каминский, Бауман и им подобные) поставила вопрос о ликвидации «кулачества», об экспроприации его средств производства, о раскулачивании» [1].

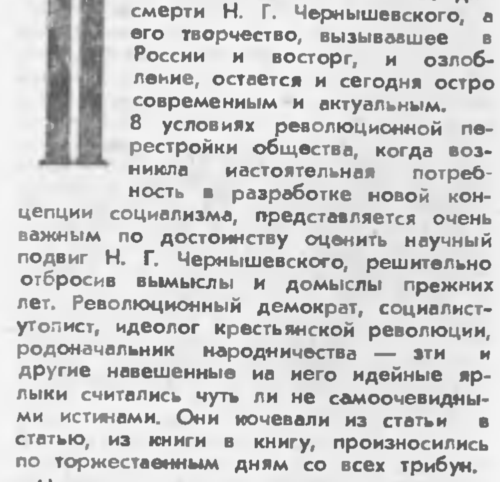
[1] Вопросы истории КПСС, 1964, № 1, с. 37.

Продолжение следует

Павел НЕПОМНЯЩИХ

ПЕВЕЦ ОБЩИННОГО ЛАДА

УРОКИ ЧЕРНЫШЕВСКОГО И ПЕРЕСТРОЙКА



ПРОШЛО целое столетие со дня смерти Н. Г. Чернышевского, а его творчество, вызывавшее в России и восторг, и озлобление, остается и сегодня остро современным и актуальным.

В условиях революционной перестройки общества, когда возникла настоятельная потребность в разработке новой концепции социализма, представляется очень важным по достоинству оценить научный подвиг Н. Г. Чернышевского, решительно отбросив вымыслы и домыслы прежних лет. Революционный демократ, социалист-утопист, идеолог крестьянской революции, родоначальник народничества — эти и другие навешенные на него идейные ярлыки считались чуть ли не самоочевидными истинами. Они кочевали из статьи в статью, из книги в книгу, произносились по торжественным дням со всех трибун.

Но подлинные произведения великого русского мыслителя стали фактически известны нам только в советское время, и то сравнительно недавно, когда были восстановлены тексты его статей, исковерканные до неузнаваемости царской цензурой, опубликованы работы запрещенные, напечатаны дошедшие до нас рукописные материалы.

Берусь утверждать, что Чернышевский первым в России и одним из первых в мире сумел понять всемирно-историческое значение научного коммунизма, стал убежденным и страстным последователем Маркса и Энгельса, оставаясь при этом оригинальным и самобытным философом-материалистом.

Руководствуясь законом единства и борьбы противоположностей, перехода количественных изменений в качественные, Чернышевский высказал немало оригинального и глубокого о развитии природы и общества. Материальное и идеальное, истинное и ложное, природное и общественное, добро и зло, национальное и общечеловеческое — эти и другие противоположности объективного мира были исследованы им с большой научной глубиной и основательностью.

Чернышевским разработано философское учение о человеке, основанное на материализме и диалектике, — философская антропология.

Исторический опыт убедил нас, что без такого учения о человеке как существе природном и общественном, без разработки научной теории человеческих потребностей и их значения в жизни общества не может быть ни толковой политической экономии, ни разумной экономической политики нового государства.

Именно у Чернышевского, раскритикованного нашими философами за антропологизм, мы как раз и находим учение о человеке и его потребностях, которое вовсе не противоречит марксизму, как пытались это многие вслед за Плехановым доказать, а гуманизирует исторический материализм, обогащает его тем самым «человеческим фактором», о котором мы сегодня так много и совершенно справедливо говорим.

Удивительную актуальность и научную ценность приобрели для нас взгляды Чернышевского на социализм и коммунизм, его высказывания о необходимости создания общей теории социализма, своеобразной философии этого строя, определения тех перемен, каким должна подвергнуться при социализме вся жизнь человека.

Какое же значение для перестройки имеют взгляды Чернышевского, открыто выступавшего полтора века назад в защиту принципов социализма и коммунизма, подвергающихся ныне откровенному опошлению, осмеянию и отрицанию?

Уверен, что именно он, воевавший против буржуазных экономистов, пытавшихся всеми правдами и неправдами предохранить своих читателей от «коммунистической заразы», поможет нам сегодня определить истинную ценность революционных новаций нынешних наших неозападников, пытающихся примерить изрядно потертые идейные сюртуки своих вульгарных предшественников.

ОБЩЕСТВО В РАЗВИТИИ

Еще в пору своей юности Чернышевский записал в дневнике: «Мне кажется, что я стал по убеждениям в конечной цели человечества решительно партизаном... социалистов и коммунистов» (разрядка моя.— П. Н.). Или: «Я не пожалею жизни для торжества... свободы, равенства, братства».

Записи эти не были случайными. Он начинает говорить о коммунизме уже в статьях, написанных в самом начале пе-

тербургского периода своей жизни и деятельности. Так, в рецензии на «Архив» Калачова (1854 г.) он ведет речь о первобытном обществе или первобытном коммунизме, как мы теперь говорим, называет его «патриархальным бытом предков», рассматривает как ступень в развитии человечества, которую прошли все народы в пору своего «младенчества», указывает на основные черты — общинное владение и равенство.

Свое понимание первобытнообщинного строя Чернышевский развил в большой статье о сборнике «Песни разных народов», напечатанной в конце 1854 года в журнале «Отечественные записки». Давая подробное описание первобытного общества, автор снова обращал внимание читателей на главное — черты первобытного коммунизма. Все члены общины в этом обществе равны по образу жизни и мыслей, потребностям и способам их удовлетворения. Правда, все в сущности бедны, но никто не осознает этого, никто не тяготится этим.

Уже здесь Чернышевский показал себя диалектиком. Используя открытый Гегелем закон отрицания отрицания: «высшая степень развития по форме совпадает с совершенною неразвитостью, существенно отличаясь от нее по содержанию» (т. 3, с. 295), он высказал мысль о том, что на высшей ступени цивилизации должно возникнуть снова общество общинного владения и равенства, причем равенства людей не по скудности и бедности жизни, как в первобытном обществе, а равенства по богатству знаний и довольству. По форме, как видим, они действительно совпадут — тому и другому обществу будет свойственно равенство, а по содержанию будут существенно отличаться друг от друга.

Он указывал на чисто исторический характер родового строя, видел в нем ступень в развитии человечества, через которую прошли все народы мира.

Новые мысли о первобытном обществе были высказаны Чернышевским в статье «Пропилеи». Говоря об исследованиях своего бывшего учителя Куторги, лекции которого он слушал в университете, Чернышевский не соглашался с утверждением, что в далекой древности люди сначала были земледельцами, а потом охотниками и рыболовами.

По мнению Чернышевского, частная поземельная собственность стала необходимым условием государственных прав, потому что произошла из общинной собственности — существенной принадлежности не земледельческого, а пастушеского и звероловческого быта. Для племен, которые беспрестанно кочевали и потому не имели личной собственности, она была «недостаточна, стеснительна и не нужна». У них только община (племя, род, улус, орда, юрта) хранит границы своей области, которая остается в нераздельном пользовании всех ее членов; отдельные лица не имеют отдельной собственности. Совершенно не то в земледельческом быте, который делает необходимостью личную поземельную собственность.

Немецкие историки ставили свой народ «выше всех остальных человеческих племен», считая, что он всегда был народом земледельческим и у него всегда существовала частная собственность, а общинного владения не было.

Позже, когда политическая экономия доказала, что «раздробленность капиталов есть бессилие и ведет к нищете, а соединение капиталов есть могущество и ведет к богатству», а земля является важнейшим капиталом, русские славянофилы стали утверждать, что общинность владения, которой будто бы никогда не знали немцы, у славян не является историческим явлением, а есть «неизгладимая черта характера, которой лишены другие народы», что поэтому одни славяне осуществляют «идеал человеческого быта».

Чернышевский соглашался с теми, кто идеал экономического быта связывал с общинным владением, но решительно выступал против того, что это будет возврат к прошлому.

В предвидении вероятного хода будущей истории всего человечества Чернышевский, основываясь на результатах исследования первобытного общества, сформулировал мысль общечеловеческого звучания о возникновении общества, сходного по форме с первобытным коммунизмом, но существенно отличающегося от него по содержанию. Маркс и Энгельс, к примеру, пришли к подобному выводу значительно позднее, в начале 80-х годов прошлого века.

Современно и актуально звучит сегодня и диалектический анализ двух противоположных качеств того или иного народа — национальных и общечеловеческих. Русский диалектик доказывал, что нация, которая активно участвует в общечеловеческом движении, развивает вместе с тем и свои национальные качества.

ИДЕЯ О СОЮЗЕ И БРАТСТВЕ

Стремясь сделать свои коммунистические убеждения более понятными читателям, Чернышевский впервые в статьях 1857 года начинает пользоваться терминами «социализм» и «коммунизм». Так, говоря об исследованиях барона Гакстгаузена, который, по словам Энгельса, открыл для Европы русскую общину, он прибегает к пространному цитированию книги барона, заметив как бы между прочим, что «такой человек, конечно, не может быть заподозрен в особенном сочувствии к социализму и коммунизму; и действительно, Гакстгаузен гнушается этими системами и прямо называет их «порождениями дьявола» (т. IV, с. 316). Однако даже консервативный барон заметил поразительную аналогию между существующими в России отношениями общинного поземельного владения с теми «мечтательными отношениями, которые придуманы новыми политическими сектами, особенно сен-симонистами и коммунистами, как высочайшее развитие человеческого рода» (т. IV, с. 325).

Как видим, цитируя Гакстгаузена, Чернышевский получил возможность сказать, что именно идеи социализма и коммунизма породили революционные волнения, грозящие Западной Европе переворотом, что именно «коммунистические врачи» требуют совершенного разрушения существующего в западных странах общественного строя.

Русское общинное владение землей — «общинный дух» — Чернышевским вовсе не рассматривалось как некое таинственное качество, свойственное исключительно «славянской или великорусской натуре». Существовавшее в далекой древности у всех народов, оно сохранилось в России в силу «исторических обстоятельств».

«Наша историческая неподвижность,— признавал автор статьи,— послужила источником многих бедствий в нашем прошедшем и отчасти настоящем; она причина нашей малой образованности, нашей бедности... Но среди всех этих пагубных следствий есть также нечто иное и прежде бывшее небесполезным, но при настоящем развитии экономического движения в Западной Европе, движении, в котором начинаем принимать участие и мы,— становящееся чрезвычайно важным и полезным...» (т. IV, с. 341).

Почему так считал Чернышевский? Только ли об экономическом движении в Западной Европе он говорил? Ответы на эти вопросы мы находим в статье «О поземельной собственности».

В полемике с «Экономическим указателем» он отмечал, что пролетарий — это не просто бедняк, а человек, не имающий собственности, что его судьба исключительно зависит от заработной платы. Чернышевский подчеркивал, что пролетариат грозит западным странам «новыми смутами», потому что, «с одной стороны, требования пролетариата остаются еще неудовлетворенными, а с другой стороны, число пролетариев все увеличивается и, главное, возрастает их сознание и проясняются понятия о своих потребностях» (т. IV, с. 404).

Возражая И. Вернадскому, считавшему, что «в пролетариях нет закваски смут», Чернышевский приводил из «Экономического указателя» сообщения о волнениях пролетариата Западной Европы, его требованиях права на труд, организации национальных мастерских, применения начал товарищества на производстве. Как сказали бы теперь: пролетариат стран Западной Европы ведет революционную борьбу за построение общества, основанного на принципах общинного владения, товарищества и доверия. Победа пролетариата неизбежна. Вот почему борьба за сохранение в России общинного владения землей становится чрезвычайно важной, ибо оно ускорит переход страны к социализму.

Пожалуй, с наибольшей прямотой и ясностью эта точка зрения была высказана в романе «Пролог». Правда, он написан был позже, в сибирской ссылке, но действие романа проходит именно в конце 50-х годов XIX века. Устами героя Волгина Чернышевский говорит:

«Разочарование общества и от разочарования новое либеральничание в новом вкусе, по-прежнему мелкое, презренное, отвратительное... и будет развиваться все подло и трусливо, пока где-нибудь в Европе — вероятнее всего во Франции — не поднимется буря и не пойдет по остальной Европе, как было в 1848 году. В 1830 году буря прошумела только по Западной Германии; в 1848 году захватила Вену и Берлин. Судя по этому, надо думать, что в следующий раз захватит Петербург и Москву.

Верно ли это? Верного тут ничего нет; только вероятно... Но так или иначе, придет серьезное время. Почему это несомненно? Потому что связи наши с Европою становятся все теснее, а мы слишком отстали от нее. Так или иначе, она подтянет нас к себе. Придет серьезное время. Пойдут вопросы о благе народа...» (т. XIII, с. 244). Мелочью герой романа Волгин называл отмену крепостного права и споры о суде присяжных. «Все вздор,— утверждал он,— перед общим характером национального устройства». Кстати, в романе «Пролог» с предельной прямотой говорится и о значении для обновления России общинного владения землей. На обеде у Илатонцеве Соколовский называет Волгина представителем «мнений ужасных, но врожденных русскому народу, народу мужиков, не понимающих ничего, кроме полного мужицкого равенства, и приготовленных сделаться коммунистами, потому что живут в общинном устройстве» (т. XIII, с. 195).

Чтобы показать, что точка зрения Чернышевского на роль русской общины — это вовсе не утопизм, не фурьеризм, как до сих пор думают, и вместе с тем избежать пространных доказательств, приведем такую цитату:

«Задачей «Коммунистического манифеста» было провозгласить неизбежно предстоящую гибель современной буржуазной собственности. Но рядом с быстро развивающейся капиталистической горячкой и только теперь образующейся буржуазной земельной собственностью мы находим в России большую половину земли в общинном владении крестьян.

Спрашивается теперь: может ли русская община — эта, правда, сильно уже разрушенная форма первобытного общего владения землей — непосредственно перейти в высшую, коммунистическую форму общего владения? Или, напротив, она должна пережить тот же процесс разложения, который присущ историческому развитию Запада?

Единственно возможный в настоящее время ответ на этот вопрос заключается в следующем. Если русская революция послужит сигналом пролетарской революции на Западе, так что обе они дополнят друг друга, то современная русская общинная собственность на землю может явиться исходным пунктом коммунистического развития».

Да, так писали Маркс и Энгельс в 1882 году в предисловии ко второму изданию «Манифеста» на русском языке. Мы видим, что даже в конце XIX века, когда

центр революционного движения переместился в Россию, а сама русская община подверглась еще большему разрушению, основоположники научного коммунизма высказывали точку зрения, какой Чернышевский придерживался фактически еще в 1857 году. Больше того, хорошо известно, что именно в результате внимательного изучения произведений великого русского ученого и критика Маркс пришел к выводу, который был изложен в данном предисловии.

Для понимания мировоззрения Чернышевского особенно важен обзор, напечатанный в «Современнике» № 4 за 1857 год.

Не собираясь оправдывать всего, что говорят даже лучшие представители славянофильства, автор обзора тем не менее находил в их взглядах положительные элементы, заключавшиеся в критическом отношении к Западной Европе, где «масса народа — земледельцы, фабричные и заводские работники — погрязает в нищете и невежестве». От лучших людей самой Западной Европы узнали славянофилы, что она «вовсе не рай». Правда, эта критика соединяется у них с «примесями», замечал автор обзора, но их идеи, заимствованные у лучших людей Европы, более выгодны, чем мнения так называемых западников, взятые из модных журналов и книжек. Эти идеи, «будучи последним словом западноевропейской науки и опытности, но не вошедши еще в умственную рутину всех дюжих западных писателей, не получили еще и у нас права гражданства» (т. IV, с. 728).

Чтобы понять, какие же идеи называл Чернышевский последним словом западноевропейской науки и опытности, присмотримся к одному из убеждений этой науки, осуществление которого, по его мнению, стало уже «главною историческою задачей». Познакомить читателей с этим отрывком обзора тем более необходимо, что он был выброшен цензурой целиком и стал известен только в советское время:

«Обеспечение юридических прав отдельной личности было существенным содержанием западноевропейской истории в последние столетия... Право собственности почти исключительно предоставлено тем отдельному лицу и ограждено чрезвычайно прочными, неукоснительно соблюдаемыми гарантиями...

Но как всякое одностороннее стремление, и этот идеал исключительных прав отдельного лица имеет свои невыгоды... Одинаково тяжело для народного благоденствия легли эти вредные следствия на обоих великих источниках народного благосостояния, на земледелии и промышленности.

Безграничное соперничество отдало слабых на жертву сильным, труд на жертву капиталу... Таким образом, с одной стороны возникли в Англии тысячи богачей, с другой — миллионы бедняков. По роковому закону соперничества богатства первых должны все возрастать, сосредоточиваться в меньшем и меньшем числе рук, а положение бедняков становится все тяжелее и тяжелее...

Подле понятия о безграничных юридических правах отдельной личности возникла идея о союзе и братстве между людьми; люди должны соединиться в общества, имеющие общий интерес, сообща пользующиеся силами природы и средствами науки для производства и для экономного потребления производимых ценностей. В земледелии братство это должно выразиться переходом земли в общинное пользование; в промышленности — переходом фабричных и заводских предприятий в общинное достояние компании всех работающих на этой фабрике, на этом заводе. Только это новое устройство экономического производства может дать благосостояние целому, например, французскому или английскому племени, и населению этих стран, состоящее из тысячи богачей, окруженных миллионами бедняков, превратить в одну массу людей, не знающих роскоши, но пользующихся благоденствием...» (т. IV, с. 728 — 729).

Последним словом западноевропейской науки и опытности автор обзора считал возникновение идеи о союзе и братстве между людьми. Говоря иначе, возникновение идеи пролетарской социальной революции, необходимость и неизбежность которой впервые обосновали Маркс и Энгельс, назвав ее коммунистической.

В другом обзоре Чернышевского идея о союзе и братстве между людьми получила еще более точную оценку: с появлением этой идеи и вооруженного ею революционного движения пролетариата «на Западе начинается новая эпоха всемирной истории». Да, да, именно так и сказано: «НАЧИНАЕТСЯ НОВАЯ ЭПОХА ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ».

СТУПЕНИ К БУДУЩЕМУ

Последовательно развивая и страстно защищая принципы социализма и коммунизма, Чернышевский обосновал гениальную мысль о трех этапах перехода от исключительного поклонения принципу индивидуализма к принципу братства, то есть перехода от капитализма к коммунизму. На понятном современным читателям языке их можно выразить следующим образом:

Первая ступень — существует общинное владение без общинного производства и потребления.

Вторая ступень — существует общинное владение и производство без общинного потребления.

Третья ступень — существует общинное владение, производство и потребление.

На простейшем примере с двумя братьями в статье доказывалось, что людям легче будет переходить от первой ступени ко второй, а от нее — к третьей.

Выгодность общинного владения доказать нетрудно. «Гораздо труднее, — писал Чернышевский, — допущение общинного производства. Контролировать усердие труда нельзя — это не внешний осязательный факт, его нельзя доказать или опровергнуть юридическим образом. Тут нужно доверие друг к другу. Многие отвергают возможность успешного общинного производства: тут-де человек всегда будет лениться, потому что не вся выгода от его труда достается ему, и притом ему достается часть выгоды от чужого труда: «пусть-де другие надсажаются, а я буду лениться...».

«Еще труднее допустить возможность общинного потребления. Мало тут условий, достаточных для общинного производства, мало доверия и выгодности дела; тут нужны другие пружины, чтобы я захотел жить не так, как лично мне приходит фантазия жить, а как требует разум и экономический расчет, чтобы я захотел отказаться от многих своих прихотей. Такие побуждения существуют в семействе, но чрезвычайно многие сомневаются в том, возможны ли они вне семейного круга» (т. IV, с. 415).

Конечно, теория Чернышевского о трех этапах перехода от господства принципа индивидуализма к преобладанию принципа братства заслуживает самого серьезного и обстоятельного рассмотрения. Сегодня она звучит особенно актуально, потому что позволяет глубже осмыслить пройденный путь, определить точнее, на каком этапе этого перехода мы находимся, какие цели должны ставить, пути и формы борьбы использовать, чтобы довести до логического конца начатое дело революционного преобразования советского общества.

Зададим себе хотя бы один вопрос: существует ли в нашей стране общинное владение? Если рассматривать его как осуществление принципа братства, которое в земледелии должно выражаться переходом земли в общее пользование членов общины, в в промышленности — переходом фабрик и заводов в общее достояние тех, кто на них работает, то ответ ясен: такого общинного владения у нас пока что нет. Больше того, нужно честно признать, что такого общинного владения у нас не будет в промышленности, если мы добьемся повсеместного осуществления закона о предприятии, ибо этот важный документ перестройки не предоставляет трудовым коллективам всей полноты власти, сохраняя принцип единоначалия руководителя и руководимой им администрации. Это только часть проблемы. К примеру, разве могут быть трудовые коллективы подлинными хозяевами у себя на предприятии, в колхозе или совхозе, если они не будут вместе с тем хозяевами деревни, села, города, области, региона, где находятся их предприятия? Понятно, что нет. С другой стороны, разве могут нормально развиваться деревни, села, города, области, регионы, если в этом не будут кровно заинтересованы коллективы предприятий, которые находятся на этих территориях? Опять же ответ ясен.

Между тем наши ведущие экономисты меньше всего думают о том, чтобы вести перестройку на базе социализма и во имя социализма, всемерно развивать и утверждать новые формы коллективного владения и коллективного труда. Наоборот, они предлагают нам лечить нашу экономику по буржуазным рецептам, игнорируя и даже решительно отвергая идейное богатство выдающихся социалистов и коммунистов прошлого.

То же самое можно сказать и относительно развития общинного производства. Чернышевский развил и конкретизировал свое понимание этой проблемы, отметив, что контролировать усердие труда станет невозможным на больших предприятиях, в частная собственность капиталиста и наемный труд работника в этих условиях станут недостаточными. Нужна новая организация труда. Частный собственник (хозяин) уже не может усмотреть за всеми, наемный труд становится недостаточным, потому что никакая заранее установленная плата уже не способна стимулировать усердие труда. Здесь нужно, чтобы вознаграждение за труд заключалось в самом продукте труда. Каким же образом добиться этого практически? По теории Чернышевского тут напрашиваются следующие меры:

1. Отменить единоначалие руководителя и подчиненной ему администрации.

2. Сделать так, чтобы все трудящиеся предприятия были не наемными работниками, в хозяевами предприятия, чтобы их благосостояние зависело от результатов общего труда.

3. Пересмотреть отношение к заработной плате, осознать, что так называемые тарифные ставки, должностные оклады и прочее не являются действительно заработной платой. Они устанавливаются государством в тех размерах, какие кажутся целесообразными и возможными при данных уровнях национального богатства страны. Этот своеобразный прожиточный минимум выплачивают всем работающим не за количество и качество конкретного труда, а учитывая характер и условия труда, место жительства, семейное положение, уровень образования и другие обстоятельства. Социальной справедливостью тут должно быть то, что его получают от государства все работающие и не получают тунеядцы, бездельники, мошенники и прочие антиобщественные элементы.

4. Поскольку вознаграждение за конкретный реальный труд, по мнению Чернышевского, должно заключаться в самом продукте труда, мы опять сталкиваемся с диалектикой, противоречием единичного и общего. Продукт труда на современных предприятиях — результат деятельности всего коллектива, а вознаграждение, разумеется, должно носить единичный характер. Выход из этого противоречия Чернышевский видел в утверждении на предприятиях с помощью государства производственных отношений, основанных на общинном владении, товариществе, доверии и равенстве. Только при равной оплате каждого по результатам общего труда вознаграждение за труд каждого члена коллектива будет действительно заключаться в продукте общего труда. Личный интерес работника совпадет с общим интересом всего коллектива.

5. Принятая по теории Чернышевского новая система вознаграждения за труд потребует, разумеется, переосмысления основного принципа социализма. Чтобы

соответствовать нашим идеалам, он должен звучать так: «От каждого по способности, каждому — по труду всех». Последнее слово коренным образом меняет смысл. Принцип становится утверждением возможного при социализме равенства. Каждый получает действительно по труду, но не своему личному, который учесть стало невозможно, а по труду всех — по результатам общего труда. Понимая вторую часть основного принципа социализма «каждому — по труду» как по его собственному труду, мы вынуждены были создать умопомрачительную систему контроля и учете, завели огромный штат учитывающих, надзирающих, контролирующих, проверяющих и прочее. Самое печальное состоит в том, что ничего мы этим не добились, потому что нельзя учесть то, что практически учету не поддается. А сколько было потеряно в нравственном плане?! Неравенство, подозрительность, вражда, недоверие, произвол, хитрость, обман, лесть и многие другие пороки — неизбежные следствия такого характера организации труда.

Мы коснулись лишь нескольких проблем перестройки, чтобы показать, какое большое практическое значение представляет для нас теория Чернышевского о трех этапах, сформулированная им почти полтора века назад. А сколько еще замечательных идей содержит его творчество.

В той же статье «О поземельной собственности» можно прочесть, к примеру, такие слова: «Мы защищаем факт, у нас существующий, — государственную собственность с общинным владением именно потому, что она ближе других форм собственности подходит к идеалу... Вся выгода от улучшений и от труда должна принадлежать лицу трудящемуся и улучшающему. Каждый земледелец должен быть землевладельцем.

Первая часть идеала относится к успехам сельского хозяйства, вторая — к национальному благосостоянию. Но форма владения не есть единственное основание того и другого: нужны другие условия... Из этих условий от человеческой воли зависит водворение законности, справедливости, правосудия, водворение хорошей администрации, предоставление каждому трудящемуся обязанности содержать своими трудами только себя и своих близких, а не паразитов, ему чуждых и враждебных» (т. IV, с. 436).

Слова о паразитах цензор, конечно, выбросил, но и без них было ясно, что речь в статье шла не только о России царской, но и революционной, где уже не будет угнетателей. Лишь здесь, в условиях законности, правосудия, хорошей администрации, общинное владение будет содействовать не только успешному развитию сельского хозяйства, но и повышению национального благосостояния.

Разоблачая защитников частной собственности, Чернышевский обвинял их в том, что они «подсовывают идеал», в котором нет ни фермера, ни работника, а предполагается «зажиточный поселянин землевладелец, обрабатывающий землю своими руками». Расхвалив до небес это «действительно очень хорошее состояние», они делают вывод, что «частная собственность выше общинного владения». Между тем фермерство, по мнению Чернышевского, вовсе не похоже на идеал.

Эти слова невольно вспоминаешь сегодня, когда то и дело читаешь о том, что фермеры кормят Америку, а существующая в нашей стране государственная собственность на землю только тормозит развитие сельского хозяйства, а потому надо распродать землю крестьянским семьям, а нерентабельные колхозы и совхозы распустить. Думается все-таки, что Чернышевский прав: фермерство не идеал, частная собственность не может быть выше общинной. Наша беда вовсе не в существовании государственной собственности на землю, **а в отсутствии действительно общинного владения ею**. Насильственно организованные колхозы — суррогаты коллективного труда. Освободите их от бюрократических оков, сделайте колхозников настоящими хозяевами, избавьте их от произвола сельской администрации — и тогда убедитесь, какие чудеса способен творить коллективный труд.

Заявление, сделанное на первом Съезде народных депутатов работниками сельского хозяйства, убедительно показало, что советские крестьяне не хотят американского рая. И вовсе они все не обленились. Эту бессовестную клевету и опровергать-то не хочется. Чернышевский клеймил позором подобных образованных умников, коими являются сегодня некоторые «прорабы перестройки», которые сидели на шее крестьянина и болтали о всеобщей лености русского народа и его нежелании учиться. Охота страстная, говорил он, да участь горькая.

В статье «Критика философских предубеждений против общинного владения» (1858 г.) Чернышевский дал развернутое философское обоснование коммунистическим принципам общинного владения и равенства. На основе закона отрицания он доказывал, что эти принципы являются высшей формой отношений человека ко всему «материальному и нравственному миру», делая вывод об их неизбежной победе в будущем. Коммунистическое общество, которое возникнет на высшей стадии цивилизации, станет отрицанием мира частной собственности, как сам он стал когда-то отрицанием первобытного коммунизма.

Критикуя «философствующих мудрецов», предубеждения которых против коммунизма вытекали из «непонимания, забвения или незнания общих философских принципов», Чернышевский подверг в статье «Экономическая деятельность и законодательство» (1859 г.) не менее основательной критике «экономизирующих мудрецов», изложив в ней, по сути дела, взгляды русского коммуниста на сущность социализма, его значение и место в истории, а также на роль государства трудящихся в период перехода человечества от капитализма к коммунизму.

Основную экономическую задачу социализма великий русский мыслитель видел в ликвидации несоразмерности между потребностями людей и средствами их удовлетворения, указав на два пути ее решения. Первый — всемерное развитие производства, рост производительных сил общества (сил человека). Второй — формирование разумных потребностей. По мнению Чернышевского, государство трудящихся значительно ускорит выполнение основной задачи социализма, если будет разумно вмешиваться в экономическую деятельность общества, утверждать и развивать принципы общинного владения, товарищества и доверия, равенства в распределении труда и производимых ценностей.

«Итак, — утверждалось в статье, — с одной стороны, труд будет становиться все производительнее и производительнее, с другой стороны, все меньшая и меньшая доля его будет тратиться на производство предметов бесполезных. Вследствие дружного действия обоих этих изменений люди придут когда-нибудь к уравнению средств удовлетворения со своими потребностями. Тогда, конечно, возникнут для общественной жизни совершенно новые условия и, между прочим, прекратится нужда в существовании законов для экономической деятельности. Труд из тяжелой необходимости обратится в легкое и приятное удовлетворение физиологической потребности... Тогда, конечно, производство ценностей точно так же обойдется без всяких законов, как теперь обходится без них прогулка, еда, игра... Каждая пробужденная потребность будет удовлетворяться досыта, и все-таки останется за потреблением излишек средств удовлетворения; тогда, конечно, никто не будет спорить и ссориться за эти средства, и распределение их вообще будет обходиться без всяких особенных законов...

Надежда на такое время — простой арифметический расчет... Но близко или далеко... это время, — вопрос другой; мы думаем, что оно еще очень далеко, хотя, быть может, и не тысячу лет от нас, но, вероятно, больше, нежели на сто или полтораста...» (т. V, с 609 — 610).

Признаюсь честно, таких простых, доходчивых и убедительных рассуждений о развитии социализма и перерастании его в коммунизм мне не доводилось встречать ни у кого.

Особое место в творчестве Чернышевского занимает статья «Капитал и труд» (1860 г.). Если раньше он спорил с буржуазными экономистами по отдельным вопросам, то здесь решил подвергнуть критике общие основы буржуазной политической экономии.

Чтобы определить основную идею политической экономии, автор статьи рассматривал сначала производство. Все экономисты согласны, отмечал он, что личный интерес — главный двигатель производства. Но в чем он состоит? В стремлении владеть вещью. Стало быть, производство находится в наивыгоднейших условиях, когда продукт бывает собственностью трудившегося. Вывод отсюда ясен: работник должен быть собственником вещи, которую создал.

А в чем заключается закон наивыгоднейшего распределения ценностей? Пользуясь цифрами, Чернышевский доказывал, что наивыгоднейшим оно бывает, когда каждый получает столько ценностей, сколько приходится на его долю, если общее их количество поделить на численность населения страны.

Таким образом, основная идея производства — полное соединение в одном лице собственника и работника. Основная идея распределения — как можно большее равенство. Причем оба эти принципа «служат выражением одной и той же идеи, стремления к одному и тому же факту, только с резных сторон», а именно — к равенству в распределении труда и ценностей.

Конечно, разработанная Чернышевским экономическая теория трудящихся — тема особого большого разговора. Здесь, пожалуй, стоит только заметить, что и эта теория, способная при соответствующей доработке стать идейной основой нашей перестройки, совершенно не используется экономистами. Наоборот, они предпочитают повторять сегодня в новой словесной упаковке ветхие идеи вульгарных буржуазных экономистов прошлого, тех самых «экономизирующих мудрецов», которых подвергал основательной критике наш великий соотечественник.

ЭТО БУДЕТ ИСТОРИЯ ДЛИННАЯ

О коммунистическом характере мировоззрения Чернышевского можно было бы говорить много и обстоятельно. Не имея такой возможности, приведем еще один пример.

Возражая Миллю, который утверждал, что главной целью стремлений при тогдашнем состоянии человечества служит не низвержение частной собственности, а ее улучшение, Чернышевский неоднократно подчеркивал в своих примечаниях и дополнениях, что разработка принципов социализма и коммунизма необходима. Близка или далека цель, считал он, ее все равно нельзя упускать из виду. «Полное теоретическое изложение системы известного быта, основанного на известном принципе, — отмечал он, — вещь необходимая: нужно знать, что в самом деле хорошо, а сверх того, у кого не ясны принципы во всей логической полноте и последовательности, у того не только в голове сумбур, но и в делах чепуха» (т. IX, с. 355).

Думается, и в этом случае Чернышевский прав: отсутствие общей теории социализма, изложения его принципов во всей логической полноте и последовательности породило в период перестройки не только весьма заметный сумбур в наших головах, но и ошибки.

Наши теоретики ударились в такое критиканство, в какое не ударялись даже самые явные антисоветчики и антикоммунисты. Происходит не более глубокое осмысление наших принципов, а самое откровенное их осмеяние и отрицание. Создается впечатление, что наши средства массовой информации действительно сте-

сняются говорить о коммунизме, равенстве, справедливости, всеобщем братстве. Идейные монополисты перестройки называют консерватором, сталинистом, певцом лучезарного казарменного коммунизма, как выразился словообильный А. Нуйкин, всякого, кто не хочет, подобно им, торговать принципами нашего мировоззрения.

Чтобы еще раз подчеркнуть общечеловеческий характер принципов социализма и коммунизма, обратимся снова к Чернышевскому. Процитируем 25-е примечание к Миллю.

«Коммунизм, по справедливому замечанию Милля, — говорится здесь, — берет за основание общественного устройства идеал более высокий, чем каковы принципы социализма. По тому самому эпоха коммунистических форм жизни, вероятно, принадлежит будущему еще гораздо более отдаленному, чем те, быть может, также далекие времена, когда сделается возможным полное осуществление социализма. Но, с другой стороны, коммунистическая теория гораздо проще социалистической. Поэтому неразвитая масса усваивает себе коммунистические стремления гораздо легче, чем социалистические, когда по стечению обстоятельств устремляется на переделку общественных отношений.

Чтобы сочувствовать социализму, надобно быть приготовлену к довольно сложным комбинациям идей; чтобы сочувствовать коммунизму, достаточно чувствовать отяготительность существующих экономических отношений и иметь обыкновенное человеческое сознание, что несправедливо терпеть нужду человеку работающему или готовому работать, когда пользуются благосостоянием и богатством люди праздные. Но нечего обольщаться этою легкостью, с какой овладевают мыслями массы коммунистические идеи на время общественных потрясений. Нравы, обычаи, понятия, нужные для коммунистического быта, чрезвычайно далеки от понятий, обычаев, нравов нынешних людей, и при первой же попытке устроить свою жизнь по своим коммунистическим тенденциям люди находят, что эти тенденции, быстро увлекшие их, нимало для них не пригодны...

Но мы не думаем, чтобы и самый социализм скоро приобрел господство в экономической жизни... Замена аристократического феодализма господством среднего сословия оказалась в истории делом, требующим несколько веков, да и это дело после нескольких веков все еще не покончено в самых передовых странах... Сколько же времени понадобится, чтобы приобрел господство в исторической жизни простой народ, которому одному и выгодно и нужно устройство, называющееся социалистическим? По всей вероятности, это будет история длинная» (т. IX, с. 831 — 833).

Так представлял себе Чернышевский «вероятнейший ход будущей истории экономического быта».

Когда думаешь, в каких неимоверно трудных условиях работал он, невольно удивляешься, каким образом удавалось ему оставаться на уровне самых передовых идей своего времени, сколько требовалось усилий, изобретательности, чтобы доступно для читателей изложить свои коммунистические убеждения, обходя бесчисленные рогатки царской цензуры. И становится вдвойне обидно за тот «каприз истории», из-за которого мы до сих пор не смогли понять и оценить великую роль, какую сыграл наш гениальный соотечественник в истории русского освободительного и международного коммунистического движения.

КРИТИКА

Владимир БОНДАРЕНКО

СТЕРЖНЕВАЯ СЛОВЕСНОСТЬ

В РУССКОЙ литературе во все времена отзывались и отзываются разные направления западной и восточной общественной мысли. Всевозможные модные эстетические школы и концепции находили своих много- или малочисленных сторонников, и попытки запрета лишь притягивали любителей оригинальных жанров.

Но даже под страшным гнетом властителей всех мастей русскую литературу всегда определяла стержневая словесность, идущая от глубин народного самосознания. Вспомним пушкинское: «И неподкупный голос мой был эхо русского народа». Или его же — «Нам, писателям, нужно опять к народу, надо опять подслушивать его стоны, собирать кровь и слезы и новые души, взращенные его страданием, нужно поднять все прошлое в новом свете...»

Не один раз казалось: заканчивается время стержневой русской литературы, размывается ее нравственно-философская основа, теряется социальный и национальный идеал русской литературы, обозначивший ее своеобразие в мировой культуре, определивший ее всемирное значение.

В начале двадцатых годов, видя гибнущую культуру, многие искренне считали, что у русской литературы осталось одно будущее — это ее прошлое. Величие разбилось на множество мелких осколков всевозможных «измов». Литературу пристегнули к агитпропу и повелели ей отмечать успехи и достижения, в крайнем случае — давать удовольствие, отдых после работы, для интеллектуалов — затейливые филологические кроссворды.

Ожидал ли кто во время поминальных плачей появление «Тихого Дона» Михаила Шолохова, «Чевенгура» Андрея Платонова... Вдруг из самых недр русского народа, из среды мастеровых и крестьян, как богатыри былинные, стали появляться писатели, спасая честь и достоинство национальной литературы. Место погибшей, уехавшей, надломленной русской интеллигенции (к радости многих, казалось, навсегда опустевшее, освобожденное для космополитического десанта) вновь оказалось занято художниками, осмысляющими судьбу своего народа... Скажем честно, не та культура, слишком тонкий слой образованности, много зияющих пустот. Вряд ли при самом оптимальном развитии раньше XXI века мы получим ту русскую интеллигенцию, которую так безжалостно загубили в первой половине нашего столетия. Культура накапливается в поколениях слой за слоем, но уровень духовной энергии, уровень художественного познания времени, уровень ответственности перед народом сравним с русской классической литературой девятнадцатого века. Эксперимент по выкорчевыванию нашей стержневой словесности не удался. «Василий Теркин» и «Судьба человека», «Русский лес» и «В окопах Сталинграда», «Враги сожгли родную хату» и «Реквием» — это все одна правда о трагическом пути народа.

Так же неожиданно, как в двадцатые годы Михаил Шолохов и Андрей Платонов, появились к шестидесятым годам писатели фронтового поколения, продолжившие мировоззренческие, нравственные и социальные поиски народного самосознания. Впрочем, может быть, покончить с неожиданностями и признать, что великий народ всегда, во всех экстремальных условиях найдет выход своему духовному гению, выделит своих летописцев.

Генетики пришли к выводу, что искоренить народ, оказывается, не так просто. Пусть даже будут истреблены духовная аристократия, интеллигенция, корневое крестьянство; оставшаяся часть обезличенных способна благодаря комбинациям генетического кода буквально за поколение вновь обрести необходимые компоненты дальнейшего развития нации. И вместо ожидаемого упадка следует национальное возрождение...

Как пишет в «Зрячем посохе» Виктор Астафьев: «Примерно к середине шестидесятых годов творческое братство писателей-фронтовиков, быть может, и не ши-

рокое, но стойкое, приобрело уже заметные очертания. Бывшие истинные вояки, пришедшие в литературу почти одинаково трудно, прорвали сопротивление окопавшегося в лакировочной литературе «противника».

...Нам надо писать и отделывать свои произведения так, чтобы никаких «прений» не было насчет «качества продукции», чтобы редакторы и другие деятели литературы морщились, называли нас густопсовыми реалистами, но отправляли рукописи в набор, потому что деваться-то некуда... Нам приходилось и приходится работать так же, как на войне, — все лучше и лучше. Иначе не победить. Иначе пострадает наше достоинство, будет принижено значение современной отечественной литературы». С такими высокими критериями входили в литературу многие из тех, кого потом критики занесли в «окопную» или «деревенскую» прозу. Так же строго относились к себе те, кто стремился передать в своих произведениях трагическое лихолетье сталинских лагерей. Их объединяло то, что смотрели они на мир «глазами народа».

«Мне известно, что жить и писать с этим (живым, щедрым, русским сердцем) чрезвычайно трудно, но иначе нельзя, не стоит писать, а стало быть, жить. Черт с ними, с этой бандой верхушествующих в нашей литературе, всегда певших аллилуйю тому, кому надо было петь за упокой, продавшихся оптом и в розницу за мишуру. Мы нищи хлебом, но зато «в моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне», как сказал Блок. Это чувство радости за свою нерастраченность...» — встречаем в письме Константина Воробьева. Говоря о жизни простых людей, они всегда стоят на позиции этих людей, как бы ни обвиняли их в дегероизации, натурализме, шовинизме.

Писатели «стержневой словесности» сохранили живую душу народа. Они пишут о судьбе простых людей, «не бывших, не умевших и не ставших героями, — как пишет в предисловии к «Колымским рассказам» Варлам Шаламов. — Потребность в такого рода документах чрезвычайно велика. Ведь в каждой семье, и в деревне и в городе, среди интеллигенции, рабочих и крестьян, были люди, или родственники, или знакомые, которые погибли в заключении. Это и есть тот русский читатель — да и не только русский, — который ждет от нас ответа...

Современная новая проза может быть создана только людьми, знающими свой материал в совершенстве, — для которых овладение материалом, его художественное преображение не является чисто литературной задачей — е долгом, нравственным императивом...» Судьба народа в его трагических изломах, на войне, в лагерях, в разоряемой деревне — проза живой жизни, идущая «изнутри», отрицающая принцип «туризма», принцип стороннего наблюдателя, принцип эстетизма.

«Выстраданное собственной кровью выходит не бумагу как документ души, преображенное и освещенное огнем таланта», — подтверждает Варлам Шаламов.

Вот это корневое, выстраданное собственной кровью, нравственно императивное и отделяет стержневую словесность фронтового поколения — В. Астафьева, В. Быкова, К. Воробьева, Д. Гусарова, Ю. Бондарева от интересных наблюдений К. Симонова, от беллетристики А. Чаковского.

Стержневую словесность писателей-деревенщиков от талантливой иллюстративности «Не стреляйте в белых лебедей» Б. Васильева, от блестящей наблюдательности авторе «Северного дневника» Ю. Казакова.

Стержневую словесность авторов так называемой лагерной темы Александра Солженицына и Варлама Шаламова — от холодных комментариев этнографа лагерного быта А. Синявского в «Голосе их хора» или от спекулятивной клюквы на «модную тему» в «Ненаписанных романах» Ю. Семенова.

В этом выделении стержневой линии нашей литературы нет момента отрицания. Давно люблю прозу Юрия Казакова, с интересом наблюдаю за филологическими изысканиями прозы сорокалетних, ценю русский авангард двадцатого века, но приоритетность в развитии отечественной литературы, на мой взгляд, всегда несомненно принадлежит стержневой словесности. Без нее — народ остается как бы духовно не осуществленным, не озвученным. Без нее — мы остаемся без главной правды о времени.

Устами этих писателей говорит и сегодня «многомиллионная масса русского народа». Пусть будет в нашей литературе достаточно и зорких наблюдателей, и утонченных стилистов, мастеров словесного узора. Любителей обижаться за отодвинутых в сторонку еще раз отсылаю к Варламу Шаламову, который очень точно определил литературу наблюдателей: «По этой мысли — писатель всегда немножко турист, немножко иностранец, литератор и мастер чуть больше, чем нужно. Образец такого писателя-«туриста» — Хемингуэй; сколько бы он ни воевал в Мадриде. Можно воевать и жить активной жизнью и в то же время быть «вовне», все равно — «над» или в стороне».

Думаю, рядом с Хемингуэем не так оскорбительно поместить К. Симонова или Б. Васильева.

А мы обратимся в этой статье к тем, кто хорошо знал: «...чтобы нам утвердиться и устоять в литературе, нужно работать в десять, в сто раз больше тех, кто учился, самоусовершенствовался, наполняя свой культурный уровень в ту пору, когда мы дрогли в военных окопах, а затем боролись с разрухой и нуждой» — как писал Виктор Астафьев.

Проследим сегодняшним взглядом, как проявляется народность в творчестве наиболее значимых русских писателей послевоенного времени. Даже сузим нашу задачу до разбора нескольких произведений трех писателей, оказавших заметное влияние на нашу современную литературу, выделим прежде всего «Привычное дело» Василия Белова, «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына, «Это мы, Господи!..» Константина Воробьева.

«Может быть, и эти мои слова услышат молодые авторы, кто в будущем подвижут нашу литературу, — пишет Александр Солженицын. — Я бы хотел им сказать, что не надо гнаться за поверхностной политической сатирой — это самый низкий вид литературы. И дело совсем не в формальных поисках, никакого «авангардизма» не существует, это придумка пустых людей. Надо чувствовать родной язык, родную почву, родную историю — и они с избытком дадут материал. А материал подскажет и форму, взаимодействуя с автором».

* * *

Считаю необходимым в самое ближайшее время издать, может, даже в одной серии, экспресс-методом, «Прощание с Матерой» В. Распутина, «Живой» Б. Можаева, «Царь-рыбу» В. Астафьева, «Дом» Ф. Абрамова, «Матренин двор» А. Солженицына, «Вологодскую свадьбу» А. Яшина, рассказы В. Солоухина и В. Шукшина... Мы прочтем ту трагическую правду о человеке, которую не слышали, не хотели слышать в годы застоя.

Много ли с нашей новой информацией мы способны добавить к привычному уже для всех «Привычному делу»? Не говорю о художественности, любое художественное произведение неповторимо. Говорю о социальной правде, говорю о глубинном понимании нашей истории XX века. Как, оказывается, полезно перечитать с нынешним знанием, с нынешним всеобщим пониманием отечественной истории последних десятилетий воистину лучшие книги шестидесятых-семидесятых годов писателей, полупрезрительно прозванных «деревенщиками», и увидеть, к стыду своему, что все нам было сказано. И о вине нашей всеобщей. И о беде народной, и о долгом пути к выздоровлению. Как мы увертливо притворялись, чего только не сочиняли о героях Василия Белова, не стремясь понять его главной правды — о расчеловечивании человека. О боязни человека — быть человеком. Какие только споры не вели мы о «Привычном деле», одни — идеализируя Ивана Африкановича, другие — обвиняя его в пассивности. Мы не хотели признавать, что жил он, как и вся страна, — за чертой милосердия. И главнейший принцип Ивана Африкановича, Матрены и других, принцип нравственный, хотя не всегда ими и понимаемый — выжить как народ. Сберечь себя в человечности. Какая тут пассивность — наоборот, наиактивнейшее сопротивление. А кто выпрямлялся, кто не хотел подчиняться внешнему диктату уполномоченных, этих чиновных оккупантов собственной страны, тот чаще всего и погибал, пополняя ряды многочисленного советского люмпенства. Даже самые ярые противники Ивана Африкановича все равно Митьку, мурманского родственника, еще ниже поставят, еще более осудят.

А была возможность у Ивана Африкановича Митьке уподобиться, городским лимитчиком заделаться. Совсем пустым человеком стать. И как?

Через бунт против каторжной, обесчеловечивающей системы. К слову о любителях поговорить о «безразмерном русском рабстве». Критики «Привычного дела» привычно проходили мимо попытки Ивана Африкановича уехать в город. Любители противопоставления города деревне отмахивались от поездки в Заполярье героя повести как от чего-то несерьезного, мол, съездил и убедился, что город хуже. А — не город хуже; деревенскому — в городе — без корней, без того донного существования, которое и спасало в самые лютые годины, — сопротивляться невозможнее. В городских бараках Ивану Африкановичу труднее уцелеть как личности. Так же как старой петербургской интеллигенции, выбитой из Ленинграда одним рывком в начале тридцатых годов и рассеянной по городам и весям в те же городские или поселковые бараки, трудно было сохранять старый уклад жизни. Процесс-то один шел — обезличивание народа.

Вспомним и по-человечески поймем, как нарастал, как каменел лютый гнев против каторжного, крепостного порядка у Ивана Африкановича. Какую оборону держал он за свое сено, накошенное по ночам, за свою корову, а глубинно — за народный уклад жизни, который как-то надо, пересилив себя, стишив себя, перенести через всех этих уполномоченных. Отбирают сено — один раз, отбирают уже из своей повети, да еще чуть не осудив племянника Митьку на год, — второй раз. За работу ничего не платят, да еще постоянно грозятся штрафами, налогами. Если и надо говорить, то не об «идиотизме деревенской жизни», а об идиотизме той системы, которая упорно, в течение долгих десятилетий занималась раскрестьяниванием крестьянина. И вот наш Стенька Разин, наш Иван Африканович «сгреб длинную, согнутую из железного прута кочергу: «Ну!» Важнейшая для постижения характера Ивана Африкановича, никем не замеченная сцена. У него, как на фронте, онемели глаза, «какая-то радостная удаль» привела к спокойному веселому «безрассудству». Он требовал справку для паспорта. И не Митька, не пьяные разговоры привели к этому взрыву, — то был внешний повод не более. Ему надоело влачить беспрагное, крепостное существование, пусть хоть и во имя сохранения той глубинной крестьянской тверди, которой все же до конца шестидесятых годов держалась деревня. Он взбунтовался и «прежним, смирным, как облегченный бык-трехлеток, тяжело и понуро направился к двери». Какая тут идеализация героя. Не с Рогулей сравнивается Иван Африканович самим писателем, а с «облегченным быком». Победил правление, получил справку на паспорт и пошел бунтовать дальше. Даже на Катерину замахнулся, «задумчивый стал». Такая ненависть сидит изнутри у каждого мужика к несвободным формам правления, что о «рабском существовании» крестьянина говорить может лишь человек, не знающий ни сути крестьянской жизни, ни природной тяги к земле. Во имя земли и смирялись, во имя земли и терпели. А

взрывалось все — и уходил мужик, уже лишенный всяческих понятий о нравственности, о долге, о работе, в барачное безразличие. Бунтуя — проигрывал самое важное. Не назовет никто победителями ни Митьку из «Привычного дела», ни Егоршу из абрамовского «Дома», ни Петруху из «Прощания с Матерой». А ведь они-то — не рабы, очень даже горделивые, все как один — яркие личности. Жаль только, что разрушенные и несущие разрушение дальше.

Перечитывая «Привычное дело», приходишь к пониманию того, что иногда вроде бы праведный бунт является самым главным поражением человека. И не бунт это вовсе, а отказ от борьбы дальнейшей, уход из стана сопротивления.

Об этой трагической борьбе русского крестьянства, начатой в двадцатые годы, прошедшей через «великий перелом», через хрущевскую кампанию налогообложения и ликвидации приусадебных участков, через брежневскую вредоносную идею неперспективных деревень, борьбе без всяких оттепелей и потеплений, неутомимой семидесятилетней борьбе, закончившейся безусловным поражением крестьянства уже в наши дни, может быть, наиболее полно, художественно емко сказано в «Привычном деле». Сказано раз и навсегда. Может быть, главной причиной поражения и стал бунт молодых, борьба за свои личные права.

Так подумаем, с рабством ли мы долгие десятилетия имели дело? Или с могучим многотерпеливым мужицким сопротивлением, питаемым самой землей, которая так надеялась на русского мужика?.. Не выдюжил, взбунтовался и уехал из деревни.

И стало «ветрено, так ветрено на опустелой земле... Уже поредели, стали прозрачнее расцвеченные умирающей листвой леса, гулкие прогалины стали шире, затихло птичье многоголосье».

Что происходит дальше с крестьянином? К чему приводит его бунт, оказывающийся капитуляцией?

Приглядимся повнимательнее к другому любимому беловскому герою — горожанину в первом поколении Косте Зорину.

Чему служит его смирение, когда Костя, десятижды униженный на работе, в милиции, на административной комиссии, практически выгнанный из дома женой, размышляет: «Завтра получка. Надо купить Тоньке обещанный гэдээровский плащ... Кажется, у нее сорок четвертый. Или сорок шестой?.. Что главное? Все главное. Ничего, еще поскрипим»...

Как видите, все то же привычное дело. Все то же — везде жизнь.

Что мешает нам относиться к Косте с такой симпатией, какую мы испытываем к Ивану Африкановичу?

Его запои? Так и герой «Привычного дела» крепко дружил с «белоголовой».

Его подчинение жизненным обстоятельствам? Так и Иван Африканович послушно отдает сено, берется за любую поручаемую работу.

В отличие от своего старшего земляка Костя Зорин — ненадежный герой, без руля и ветрил. Его многочисленные мини-бунты вызывают у читателя даже раздражение. Костя как бы выпрашивает у нас чувство жалости: за чокнутую на эмансипации жену, за вечные беспорядки на стройке, где Костя работает, за претензии к нему бюрократов и чиновников, за его вечно униженное состояние в милиции, перед комиссиями.

Все виноваты, да. Но что сам Костя? Василий Белов одним из первых обратил внимание на «лишнего человека» в нашем обществе. В то время, когда эпигоны на все лады перепевали «Привычное дело», раздирая по клочкам органичные беловские идеи сам художник шел к новым проблемам, новым характерам.

Кто он, этот инженер-неудачник тридцати четырех лет Костя Зорин, собрат вампиловского Зилова? Сравните параллель: игра с ружьем Зилова и игра с ружьем Кости Зорина в рассказе «Чок-получок». Сразу вспоминаются ставшие уже классическими строчки Анатолия Передреева: «И города из нас не получилось, и навсегда утрачено село». Он весь — в промежутке. Ему и смиряться — не для чего. И бунтовать дальше — не из-за чего. Даже когда он пробует восставать против мертвящих порядков, всерьез Костю никто не воспринимает, от жены до начальника стройуправления Кузнецова, который берет заявление Зорина об уходе с работы и рвет, ни о чем не спрашивая. «Зорину хочется возмутиться, но у него ничего из этого не выходит». Подавленность доброго и умного Кости Зорина, на мой взгляд, принципиально иная, чем смирение Ивана Африкановича.

Смирение — во имя идеи крестьянства, во имя земли. Смирение как неучастие в общественной лжи.

Подавленность Кости — это неверие во что бы то ни было. Это — бунтарь у разбитого корыта. Он прошел свой бунт отказа от деревни, «освободился», и в этой мелкой «освобожденности» не знает и не видит своего дела. Промежуточность, случайность стали его постоянным состоянием. Утверждение себя происходит в изнуряющей борьбе между мужем и женой.

Проблема семьи вообще стала одной из важнейших в творчестве Василия Белова. Проблема освобождения от семьи. Распада семьи. Исчезновения лада из жизни человека.

Очевидно, все творчество Василия Белова можно было издать под этим коротким заголовком — «Лад». И — борьба с ним, с неисчезающим стремлением в народе к его восстановлению.

Писателю близок именно народный взгляд на мир. Народная психология, народные понятия о красоте. Ненависть к стандарту во всем. Разнообразие не мешает, а помогает единству — вот одна из осевых мыслей его творчества. Никаких центробежных сил. Чем разнообразнее, тем лучше, чем больше обычаев, тем крепче и интереснее все.

Присмотритесь к своей квартире. Как однообразна мебель, как стандартизирован весь наш нынешний уклад.

Присмотритесь к природе. Даже из окна городского дома. Насколько неповторим каждый ее миг.

Об этом богатом разнообразием мире читаем мы в рассказах о всякой живности. Впрочем, рассказы вновь о попытках обрести лад. Человека с природой. Через живность, окружающую его. Вспомним еще давний, из «Привычного дела», разговор Ивана Африкановича с лошадью: «Парме-ен? Это где у меня Парменко-то? А вот он, Парменко. Замерз? Замерз, пареиь, замерз... Вот, кутко мы домой поедем».

Василий Белов стал изобразителем внутренней жизни своего народа. Он, как крестьянин, чувствует окружающую землю. Его образность — это образность щедрого народного языка. Это тот момент, «когда крестьяне пишут о себе сами». Чувство родной почвы и мешает писателю принимать сегодняшнее люмпенство. Он отторгает все, что разрушает крестьянский лад. Критикам бы анализировать внимательно такую сильную реакцию отторжения. Наверняка не умственную, не головную, а органичную, вырастающую из самого народного быта. Неприятие, к примеру, всем нам знакомой аэробики мы переносим на ворчливую субъективность конкретного писателя. И не делаем никаких выводов. Свойство данной индивидуальности, и только. А перенеси мы это неприятие на отторжение аэробики народным бытом — мы должны тогда говорить о столкновении разных этнических взглядов, о подавлении одной культуры другой. Сразу возникает масса сложнейших проблем. Зачем нам это? Проскользим мимо. А «колотиловка» тем временем мягко колотит по темени, о чем пишет Василий Белов в рассказе «Деревенское утро». Взгляд писателя — это взгляд коренного народа изнутри коренного своего уклада. «Уходящая натура», — скажете мне. Так и давайте разбираться, что и почему от нас навсегда уходит, к чему мы прибиваемся, каким народом становимся. На что писатель нам и вся литература, если мы слушать ясно сказанное — не умеем.

Была когда-то Древняя Греция, и есть нынешние греки, совсем иной народ. И в итальянцах мы не видим наследников Древнего Рима. Может быть, пора сказать горькую правду, что и в нашем нынешнем советском состоянии мы уже окончательно стали другим народом. На той же, но достаточно изгаженной территории, с тем же, но еще более изгаженным языком, мы уже потеряли почти все качества коренного народа, мы глухи к своему национальному бытию, мы не думаем о доме своем. Может быть, это неизбежно, в то и необходимо? Иначе мы бы оставались со своими общинными взглядами на одном и том же примитивном, домотканом уровне.

И, может быть, правы, безудержно правы разрушители вчерашние, сегодняшние и будущие, прокладывающие себе путь через развалины крестьянского бытия прямиком к зияющим вершинам безудержного прогресса технологической цивилизации? Может быть, органическая сущность человека с его природным укладом пришла в противоречие с «техноцентрическим» развитием мира? Может быть, устойчивость крестьянской цивилизации в России и служила главным препятствием на пути к мировому прогрессу?

Почему тогда японцы уверяют, что их нынешнее лидерство в этом самом технологическом мире связано с тем, что они удачно соединили неразрушенное общинное мышление своего народа с передовой машинной технологией. И — чудо! — западный индивидуализм на глазах у всех отступил перед общинным, патриархальным японским, а теперь еще и южнокорейским, тайваньским, сингапурским укладами жизни. Спросим теперь мы — почему не перед русским? Спросим с самих себя, ни с кого другого. Так нужны ли нам для нашего выздоровления наши традиционные ценности? Неужели на самом деле — «много не дано», как утверждают наши прогрессисты, и отказ от командной тоталитарной системы приведет к максимальному сближению с западным образцом?

Вернуть утраченный крестьянский лад невозможно, в этом убеждают произведения того же Василия Белова. Но на основе тысячелетием органически сложившегося уклада с его устойчивым «космоцентрическим» социальным равновесием мы сможем быстрее обрести свой отечественный вариант социального и экономического развития общества.

И потому я глубоко убежден, что такие традиционные произведения, как рассказы и повести Василия Белова, не дань отжившему времени, не этнографический интерес к прошлому, а размышления о единственно возможном для всех нас пути в будущее.

Здесь хорошо бы сослаться на труды нашего замечательного историка и этнографа Льва Гумилева, может быть, потому и умалчиваемого десятилетиями, что спокойно, с уважением ко всем народам земли он пишет о несоединимости различных этнических путей, об отрицательном воздействии скрещивания культур отдаленных всем историческим многовековым развитием этносов. Что воспринимается легко и просто близким по развитию этносом, то разлагает, а порой и убивает иной по миропостроению уклад жизни. Вспомним североамериканских индейцев, обратим внимание, как легко спаивались малые народы в Сибири. Не машинная цивилизация тому виной, а внедрение и навязывание чужого образа жизни, чужих нравственных понятий. Когда лихие газетчики сегодня толкуют о нашем ханжестве, лицемерии, а то и примитивности, они в силу чрезвычайно низкой собственной культуры не в состоянии понять, что у каждого народа свои представления о красоте, стыде, совестливости, порядочности. И надо ли машинизировать, стандартизировать даже женскую красоту, загоняя ее на нынешних конкурсах под жесткие вымеренные параметры бюстов, бедер и прочих вымеренных линейкой прелестей? Надо ли и в этом терять свои народные представления о красоте?

Потому и не уверен во всем инженер Костя Зорин, что он выбит из системы

привычных с детства нравственных и эстетических ценностей, а новую систему ни принять, ни выработать не может. Его тянет к своему деревенскому прошлому, но и туда он вернуться не в состоянии. Для него уже все — другой мир. Мир деревенских родственников, мир жены, мир приятеля Мишки Фридбурга, мир энергичных начальников — все вокруг чужие миры. И тотальная тоска внутри. А от этой тоски и безысходности возникает у Кости Зорина социальное остервенение. Ему все надоело, он устал от разгула сиюминутности, нестабильности. Он надломился и потому живет в крике. Костя кричит жене, начальству, хулиганам, приятелям.

Мнимый бунт. Жить в крике проще, привольней, безответственней. Гораздо труднее, а ныне почти невозможно, «безмолвствуя» спасать свою землю.

Гениально сказано Пушкиным — «Народ безмолвствует». Власти испуганно давят не Ивана Африкановича, загоняют в нетерпимые условия и физически ощущают **скрытую угрозу крестьянского безмолвия**. Может быть, и в нынешнем, сегодняшнем «безмолвии» последних жителей деревни таится какая-то завтрашняя надежда?

Сегодняшний день деревни показывает писатель в рассказе «Деревенское утро».

И будто где-то поверх проходили для северной деревни общественные события последних десятилетий, от «Привычного дела» до последних рассказов мы видим все то же привычное добивание последних очагов крестьянского сопротивления. Бунтари уезжают все в ту же Кандалакшу, кто-то умирает, кто-то окончательно спивается. Смерть от пьянства стала уже в деревне привычным делом. Кто замерзает, кого давит тракторной гусеницей. И при внешних пустых, похмельных разговорах какое-то угрюмое общественное безмолвие. Когда и Чернобыль обшутить можно, и икону с Егорием хорошо бы за две бутылки сменять. Не стало в деревне Иванов Африкановичей, поразъехались в поисках лучшей жизни Кости Зорины. Оставшиеся живут какой-то непонятной для былой деревни жизнью, «пошто нонь людито эк маются?». Скота не держат, хозяйство не ведут, так, брагу гонят, в колхозе кой-как работают, телевизионной культурой подпитываются. Недаром и прозвища у них пошли — кого Паном Зюзей, кого Чебурашкой зовут.

Страшно в этом рассказе то, что и смерть в Афганистане сына Марьиного — Валерки (предчувствием этого известия заканчивается рассказ) — пройдет для Пана Зюзи и ему подобных тоже по касательной. Еще одним поводом для хорошей выпивки.

Рассказ этот, сегодняшний, современный, предчувствован в «Привычном деле». И потому нужен как последний штрих, но не определяющ. Главная правда тогда же, в начале застоя, и сказана была.

Тем и томится, тревожится художник последние годы, что — слышать не хотели, знать не желали.

Пишет сейчас наперед знаемое — без надежды на всенародный услых.

Как необходимую правоту, как последние страницы летописи несуетной. Как необходимый урок новому, нарождающемуся сознанию.

Земля, по мнению писателя, держится на внутренней устойчивости. А устойчивость зависит от коренных условий народного бытия.

Кончается связь с землей, меняется привычный русский пейзаж, меняется народный характер. Меняется язык не только города, но и деревни.

Посмотрите, как разговаривают Иван Африканович и Катерина.

Сравните, как разговаривают Костя Зорин и его жена Тоня.

Послушайте разговор Пана Зюзи.

Постепенно затухает органическая образность. Появляются радиоштампы. Скудеет поэтичный щедрый народный язык. Слой его катастрофически истончается.

В то же время надежда на выздоровление наше — только через традиционные нравственные ценности.

Через красоту.

Красоту души, красоту родного языка, красоту родной природы, красоту искусства, телесную красоту.

Потому так современны сегодня традиционные произведения Василия Белова, что при всей жесткости взгляда на мир всегда чувствуется и красота его. Разве не красива любовь Катерины и Ивана Дрынова? Опоэтизировано все отношение к природе. Красуются собой деревенские животные, звери, птицы. Полна красотой народная образность.

Вот потому так органично в круг традиционных рассказов Василия Белова входят его лирические, ностальгические новеллы. Помните у Тютчева: «Сияй, сияй, прощальный свет любви последней, зари вечерней!»

После горчайшей правды «Привычного дела» и «Деревенского утра» стоит ли возвращаться к тем рассказам, которые дали возможность привередливым критикам упрекать Белова в идеализации деревенской жизни, в воспевании патриархального лада.

Кто как не сам Белов в первую очередь дал суровую оценку всей деревенской жизни, кто еще дал такой социальный анализ раскрестьянивания крестьянина. Поэтому так жалко. Поэтому мечтается, что было бы, если по другому, праведному пути развивалась бы деревня. В любой легенде о Беловодье идеалы высочайшие простого мужика крупно видны. И потому «сияй, прощальный свет» любви того же Василия Белова, не менее своих героев тоскующего по несбывшемуся. Органично читаются рядом апокалипсис деревни и ностальгия по ней, опоэтизированные лирические раздумья и горькие сожаления об исчезнувшем, социальная правда разрухи и требовательная надежда.

Он любит своих деревенских героев, но ничего прикрывать и таить от взгляда читателя не желает. Его герои не только спасли мир от фашизма, они и нас всех спасали, пока могли, от исчезновения как народа.

Настало время нам полюбить их (а давно бы пора!) и спасти, если в состоянии, русскую деревню.

Вспомните, как любовно идеализировали дворяне в конце прошлого века мир исчезающей помещичьей усадьбы, как опоэтизировали ее быт. С нескрываемой любовью писали о дворянских гнездах И. Тургенев и И. Бунин, И. Гончаров и А. Чехов. А ведь там и Салтычихи жили, в тех усадьбах, и крестьян регулярно пороли, продавали, — в тех самых, красивых, поэтичных.

Что же мы для крестьянства нашего никаких уступок делать не хотим, никакой красоты признавать не желаем, от ностальгических чувств отворачиваемся? А тем временем норовим где-нибудь дачку и прикупить, в землишке той «презренной» поковыряться. Даже о навозе начинаем мечтать как о чем-то несбыточном, благодатном, после всех нитратов и гербицидов.

Сами свое и пожинаем.

А тем временем майор из рассказа «За тремя волоками» без всякого стеснения, без цивилизованной полупрезрительности, откровенно признавался в своей любви к небольшой, затерянной за тремя волоками Каравайке и спешил посетить ее, затерявшуюся среди «жидкой грязи» дорог и болотной хляби. Это та экологическая ниша в сердце каждого, которая заставляет через три поколения какого-нибудь поляка в какой-нибудь Аргентине мечтать и рваться в никому кроме него не известный хуторок где-нибудь под Познанью. Заставляет американского мультимиллионера с армянской фамилией принимать сердечные капли при страшных известиях о землетрясении в Ленинакане...

...Заставляет боевого офицера остро и по-настоящему ощущать «так не свойственное кадровым офицерам чувство дома». И очевидно, поэтизировать, идеализировать его не менее, чем идеализирует поляк или армянин. «Но Каравайки больше не было на земле...»

Как не стало и других сотен тысяч русских деревень именно в те годы, когда критики ругмя ругали Василия Белова за ненужную поэтизацию ненужных Каравaек.

Не стало Каравaек, не модны и поэтические баллады о верности женского сердца, ждущего двадцать пять лет мужа с войны (рассказ «На Росстанном холме»), как-то скудеют люди, богатые сердцем на доброту, столь любимые Беловым, по признанию самого писателя, нет уже и Иванов Африкановичей...

Поздно...

Поздно поэтизировать, идеализировать. Поздно анализировать, социологизировать. Поздно любить и прощать. Даже сельскую живность жалеть поздно. Даже драматизировать и очернять действительность поздно.

Но Каравaек больше не было на земле...

Знать — не поздно. Понимать — не поздно. Чтобы то, что будет завтра, отличалось большей человечностью. Чтобы на земле появились наконец ее настоящие хозяева.

А земля передаст с неизбежностью людям, полюбившим ее, знание о себе. Вот потому всегда-всегда необходим родной земле писатель Василий Белов.

* * *

Меня всегда поражала прежде всего неслучайность его судьбы. Я мог бы поспорить с утверждением самого Александра Исаевича Солженицына: «Страшно подумать, что б я стал за писатель (а стал бы), если б меня не посадили».

Предполагаю, что в любом случае — заверши он нормально войну, закончи любой институт — Солженицын вошел бы в русскую литературу не с помпезного входа, не как автор радужных миражей. Уверен, мы бы вместе с некрасовскими «Окопами Сталинграда», с более поздними повестями и романами В. Астафьева, К. Воробьева, В. Быкова, Ю. Бондарева получили бы горько-правдивую мужественную прозу о войне Александра Солженицына. Уверен, мы бы вели отсчет нашей «деревенской» прозе не только от «Вологодской свадьбы» А. Яшина, «Вокруг да около» Ф. Абрамова, «Привычного дела» В. Белова, произведений С. Залыгина, В. Шукшина, В. Распутина, и не только от одного лишь рассказа Александра Солженицына «Матренин двор», на мой взгляд, давно вошедшего в русскую классику XX века, но и от других его произведений, посвященных трагедии русской деревни...

Думаю, в любом случае в творчестве Александра Исаевича Солженицына возобладал бы его собственный девиз — «Жить не по лжи!».

И все-таки не случайно судьба выбрала именно его в летописцы лагерного архипелага. Не случаен его отказ от работы в привилегированной лагерной «шарашке», где можно было уберечься от лесоповала и золотых приисков, угольных шахт и «бамовских» дорожных работ — от судьбы народа.

Главное в творчестве А. Солженицына — глубоко национальная русская проза. Именно такой народный писатель оказался исторически необходим для рассказа о всенародном трагическом лагерном лихолетье. О чем бы он ни писал, он пишет о главном в судьбе народа. Он пишет чуть ли не документальные очерки (и у Матрены, и у Ивана Денисовича есть реальные прототипы), но уровень его художественного обобщения и выбор героя таковы, что мы читаем правду о самом народе. Правда отдельного заключенного, какой бы страшной она ни была, легко подводится под исключение, под трагическую случайность. Нам показывают **трагическую закономерность**.

Так что если говорить о неслучайности судьбы Солженицына (не в смысле предначертанности испытаний, без коих он не стал бы писателем), то именно такому большому таланту и груз ответственности перед народом выпал тяжелейший. Именно он со своим аналитическим даром, умением видеть главное должен был объяснить нам самим и потомкам нашим, как мы жили и почему мы выжили.

Его правда — это правда русского художника о своем народе.

Сегодня поражает еще и то, что его проза всегда вселяет надежду. Рассказывая о самом трагическом, он не дает нам потерять веру в жизнь. Его герои умеют

радоваться обыкновенным земным мелочам, даже находясь в кругу страданий. «Досталась им буханка светлого хлеба — радость! Подешевело молоко на базаре — радость! Оранжево-розово-багряно-багровый закат — наслаждение!» — эти чувства ссыльных врачей в «Раковом корпусе» не осуждаются, не высмеиваются, а сопереживаются автором. Он в человеке всегда радуется человеческому. Ему не интересны позы геройства, мученичества, лагерного избранничества. Путь одиночек он оставляет другим писателям.

Солженицына всегда тянет к себе судьба обыкновенного человека. Нет, не опрощение пропагандирует он, не примитивный обряд жизни, а состояние внутренней свободы, состояние органичности человека везде.

Героям Александра Солженицына характерно чувство органичной слиянности со своим народом. Он дает меткие характеристики — иногда сочувственные, иногда скептические — избранникам, одиночкам, но всегда ему интереснее народные типы: Матрена, Иван Денисович, Костоглотов. Даже Русаков ему важен как тип. Увы, народный тип, достаточно характерный и для наших дней.

Вообще русская литература XX века (при крайней обедненности по сравнению с веком XIX — в целом) дала новое качество народности — наибольшее сближение с народом на трагических его изломах. В. Белов, К. Воробьев, А. Солженицын... Не главная ли, не главнейшая ли правда о народе заключена в таких небольших по объему произведениях — «Один день Ивана Денисовича», «Это мы, Господи!..» и «Привычное дело»... А все остальное при всех подробностях лишь дополнение к главной правде?!

Это — наша стержневая словесность, и стержень ее — ненадуманная образность, вырастающая из самого народного быта. «К такому уровню... во внутреннем изображении крестьянства... стремились русские классики, но не достигли никогда: ни Тургенев, ни Некрасов, ни даже Толстой. Потому что — они не были крестьянами. Впервые крестьяне пишут о себе сами...» — так о прозе В. Белова, В. Астафьева, В. Распутина пишет Солженицын.

Осмелюсь отнести эту характеристику и к творчеству самого Солженицына. Внутренний мир его Матрены и Ивана Денисовича с такой психологической глубиной невозможно было бы передать, не будучи самому духовно близким им.

Родился Александр Исаевич в декабре 1918 года в Кисловодске. Отец и мать происходили из крестьян.

«Деды мои, — рассказывает сам писатель, — были не казаки, и тот и другой — мужики. Совершенно случайно мужицкий род Солженицыных зафиксирован даже документами 1698 года, когда предок мой Филипп пострадал от гнева Петра I... А прапрадеда за бунт сослали из Воронежской губернии на землю Кавказского войска. Здесь, видимо, как бунтаря, в казаки не поверстали, а дали жить на пустующих землях. Были Солженицыны обыкновенные ставропольские крестьяне... Большая семья, и работали все своими руками».

Перед войной Александр Солженицын с отличием закончил физико-математический факультет Ростовского университета. Два последних года параллельно учился на заочном отделении филологического факультета Московского института истории, философии и литературы. С 18 октября 1941 года в армии. Окончил артиллерийское училище. С 1942 года до самого ареста в феврале 1945 года сражался на фронтах. Подразделение Солженицына было лучшим в части по дисциплине и боевым действиям. Арестован за критические высказывания о Сталине, содержащиеся в письмах к товарищу. Осужден на восемь лет. Из них три года провел в так называемой «научной шарашке» — тюремном НИИ, а последние четыре — на общих работах в политическом Особлаге. Это свое изгнание из привилегированной «шарашки» Солженицын тоже определяет «неслучайным». Можно и в лагерях всю жизнь отсидеть, не узнать народ, не понять его и даже стать враждебным ему, защищая свои «придурочные» привилегии. Воспоминаниями лагерных «придурков», так и не познавших ни дня «общих работ», сегодня переполнены наши журналы. А настоящую правду о лагерном архипелаге мы узнаем, знакомясь с жизнью Ивана Денисовича.

Публикация «Одного дня Ивана Денисовича» в одиннадцатом номере «Нового мира» за 1962 год, на мой взгляд, стала вехой в истории русской литературы XX века. Уровень правды в нем такой, считал Александр Твардовский, что после этого писать, будто «Ивана Денисовича» не было, — невозможно.

Кроме «Одного дня Ивана Денисовича» в шестидесятых годах в «Новом мире» были опубликованы рассказы «Случай на станции Кречетовка», «Матренин двор», «Для пользы дела», «Захар-Калита». Еще несколько «крохоток» в «Семье и школе» и статья о засорении русского языка в «Литературной газете». Набирался в «Новом мире» и «Раковый корпус», но... верстка была рассыпана. Все остальное увидело свет за рубежом.

В 1970 году Александр Солженицын был удостоен Нобелевской премии по литературе. В 1974 году в связи с выходом «Архипелага ГУЛАГ» был выслан за границу. Живет в США, в штате Вермонт, природа которого напоминает Солженицыну российскую среднюю полосу.

Возвращение творчества Александра Солженицына на Родину было неизбежно, но то, что это происходит при жизни писателя, — вдвойне радостно для всех. И, безусловно, это тоже относится к тем земным радостям, которыми одаривал прозаик своих героев.

Думаю, начинать знакомство читателю необходимо с таких произведений, как «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор» и «Раковый корпус».

Художественно — это, несомненно, из вершинных произведений автора, наибольшая степень художественной свободы. Думаю, при всей трагичности многих страниц писал Александр Солженицын эти произведения в охотку, радостно, раскрепощенно. Работа над «Архипелагом ГУЛАГ» — это исполнение долга перед народом. Это как раз та традиция русской литературы, когда отодвигается в сторону изящная словесность и появляются «Выбранные места...» Н. Гоголя, «Не могу молчать» Л. Толстого, «Дневник писателя» Ф. Достоевского, «Остров Сахалин» А. Чехова, «Лад» В. Белова...

«Я не то что отбросил малую форму,— писал А. Солженицын, — я с удовольствием бы иногда отдыхал на малой форме, для художественного удовольствия — но не могу. Несчастным образом наша история сложилась так, что прошло 60 лет от тех событий, а настоящего связного большого рассказа о них в художественной литературе, да и в документальной, нет... Я думаю, что последняя возможность моему поколению написать...»

Я бы позволил себе поспорить с таким распространенным в русской литературе мнением, что если пишется легко, «для художественного удовольствия», то писатель не оправдывает своего предназначения, своего гражданского долга. Один лишь пример: «История Пугачева» и «Капитанская дочка» — что важнее для нас, что важнее для нравственности народной?!

Не для того задаю я этот вопрос, чтобы хоть как-то принизить всемирное значение «Архипелага ГУЛАГ», — для того, чтобы не умалить, а возвысить эти «для художественного удовольствия» написанные, небольшие по объему, но глобальные по значению в нашей литературе — «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор», «Раковый корпус»...

Эти произведения в каком-то смысле автобиографичны. В них прослеживается жизненный путь автора, его судьба. «Образ Ивана Денисовича, — указывал автор, — сложился из солдата Шухова, воевавшего вместе с автором в советско-германскую войну», общего опыта пленников и личного опыта автора в Особом лагере.

Прообразом главного героя «Ракового корпуса» Олега Костоглотова снова становится сам автор, бывший фронтовик, ныне ссыльный, приехавший в онкологический диспансер умирать, но — выживший...

После Особого лагеря Солженицын попадает в ссылку в Казахстан, где и обнаруживается у него рак.

«Это был, — отмечал он, — страшный момент моей жизни: смерть на пороге освобождения и гибель всего написанного, всего смысла прожитого до тех пор... Однако я не умер (при моей безнадежно запущенной острозлокачественной опухоли это было Божье чудо, я иначе не понимал. Вся возвращенная мне жизнь с тех пор — не моя в полном смысле, она имеет вложенную цель)».

После освобождения писатель едет в полюбившуюся ему среднюю Россию работать школьным учителем. Там и встречается Солженицын с русской крестьянкой Матреной, судьба которой и легла в основу рассказа «Не стоит село без праведника», позднее переименованного в «Матренин двор».

«Рассказ, — свидетельствует снова автор, — полностью автобиографичен и достоверен. Жизнь Матрены Васильевны Захаровой и смерть ее воспроизведены как были. Истинное название деревни — Мильцево, Курловского района, Владимирской области... При напечатании по требованию редакции год действия 1956-й подменялся 1953-м, то есть дохрущевским временем».

Герои Александра Солженицына не замечаются многими авторами новой лагерной прозы. В избранничестве своем, в своем мученичестве они — герои А. Рыбакова и В. Гроссмана — общаются только с себе подобными, лишь изредка, по необходимости, обращаясь к Иванам Денисовичам и Матренам. Потому и ответил Александр Солженицын на вопрос, почему он пишет о простых людях, что интеллигенты и сами о себе пишут, а кто скажет правду о самом народе?

Это и есть, по-солженицынски, отобранный круг произведений. Если хотите — его первый круг. Где герой — один и тот же: русский народ.

Солженицын не прилагал усилий укрыться в научной «шарашке». Он увидел, что за «темнотой» Иванов и Спиридонов таится инстинктивно независимое поведение, направленное на торжество жизни, на обретение внутренней нравственной свободы. Мы и сегодня раскрыв рот с надеждой смотрим на академиков и публицистов, на смелых директоров заводов и независимых председателей колхозов. Нам по-прежнему невдомек, что судьбы перестройки зависят от того, как будет вести себя Иван Денисович, что будет делать на своем дворе Матрена. Мы и сейчас отмахиваемся от этих героев, прорываясь на лекции «прорабов перестройки». Мы презираем «полуживое существование» людей, не замечаемых обществом, их повседневные заботы, их ковыряние в земле. Лишь в исключительных условиях — на войне или за колючей проволокой — многие интеллигенты обнаруживают, что нравственной стойкости, человеческой гордости у не замечаемых ими гораздо больше. Как пишет Александр Солженицын, в лагере оказалось, что ему самому не учить этих простых людей, а учиться во многом у них пришлось обыкновенному человеческому мужеству. Власть этих людей в обществе — сокрытая, добро, ими совершаемое, — не на виду. Но любые перемены в обществе зависят от того, что будут делать эти «незаметные» частички народа, эти распространители добра и света.

Вот и давайте посмотрим на наших героев, которые с виду не отличаются от своих соседей. Что героического в том же Иване Денисовиче? То ли дело кавторанг Буйновский — не побоялся схватиться с Волковым, заработал десять суток карцера. Герой несомненный, но заботы о таких героях берут на себя Иваны Денисовичи. И заботы — от лишней миски каши до доброго совета, как обезопаситься новичку. Это как бы сам народ опекает своих героев, даже смиряет их до времени, когда геройство необходимо будет на самом деле.

Буйновский ощущает себя как личность и ведет себя как личность. Его личное пра-

во — выжить в этом лагере или героически погибнуть. Он не чувствует в себе ответственности перед народом, ответственности выжить. Иван Денисович и Матрена — личности соборные. Знают они о том или даже не подозревают, осознанно они поступают или подсознательно, но они отвечают на вызов нечеловеческой системы власти. Система поставила их за чертой милосердия, обрекла их на уничтожение. Уже не конкретно Ивана Денисовича лишь или одну Матрену, в весь народ. И соборные люди, каждый по себе личность не меньшая, чем кавторанг Буйновский или Цезарь Маркович, ответили на этот вызов наиболее надежной системой выживания. Они — и Матрена, и Иван Денисович — стержень народа, его коренники, они несут на себе ответственность не личностную, как Буйновский, который при личном унижении восстает и погибнуть готов, а ответственность соборную, всенародную. Они ответственны перед Богом за сохранение русского народа. Во имя этой ответственности они готовы идти и претерпевать неимоверно многое, в том числе и личные унижения — не унижаясь душой при этом.

Мы читаем о том, как пробовали в нашей стране сломить, уничтожить, растоптать, видоизменить огромный народ. Интеллигенция в силу повышенной личностной гордости погибла первой, а кто не погиб, тот надломился, видоизменился — произошла мутация того дореволюционного понятия русской интеллигенции.

Народ благодаря таким, как Иван Денисович и Матрена, выжил. Иван Денисович понимал, что он должен сделать все, чтобы и в лагере оставаться человеком, но при этом — обязательно выжить, Ибо если такие, как он, не сумеют уцелеть, значит, пришел всему конец.

Василий Теркин, Иван Денисович, Иван Африканович — это самые яркие примеры того, как проходил русский народ через самые тяжкие испытания XX века. Ярчайшие примеры личностного героического поведения не объясняют поведение народа в ту или иную трагическую эпоху. Всегда были и будут мученики и герои, изменники и палачи — в каждом народе, в каждое время. Пропоем же песнь героям, проклянем палачей и постараемся понять, а чем люди жили и почему все-таки выжили.

Тверская страница в истории освобождения Руси от татарского ига — воистину героическая. Но Михаил Тверской с сыновьями были уничтожены. Тверь погибла, а Москва выжила и вышла на поле Куликово.

И поэтому так важен нам для понимания всего происходившего не только рассказ о судьбе маршала Тухачевского, о судьбе писателя Мандельштама, но — прежде всего, важнее всего — о судьбе Ивана Денисовича. За ним — окончательная победа или окончательное поражение.

«Как это родилось? — пишет Александр Солженицын. — Просто был такой лагерный день, тяжелая работа, я таскал носилки с напарником и подумал, как нужно бы описать весь лагерный мир — одним днем. Конечно, можно описать вот свои десять лет лагеря, там, всю историю лагерей,—е достаточно в одном дне все собрать, как по осколочкам, достаточно описать только один день одного среднего, ничем не примечательного человека с утра и до вечера. И — будет все».

В повести «Раковый корпус» мы встречаем уже разные варианты народного развития. Если «Матренин двор» и «Один день Ивана Денисовича» даны нам с позиции человека отстаивающего, с позиции незаметного, неистребимого мужицкого мужества, то в «Раковом корпусе» наряду с бывшим фронтовым сержантом, ныне ссыльным Олегом Костоглотовым писатель демонстрирует и иной народный тип — Павла Николаевича Русанова. Он ведь тоже крестьянского рода и фамилия подчеркнуто русская — Русанов. Даже такое говорится про него: «Русановы любили народ — свой народ, свой великий народ, и служили этому народу, и готовы были жизнь отдать за народ».

Потому и уделяет Александр Солженицын особое внимание Павлу Русанову, что понимает главную опасность таких. С внешними врагами, как-то поднатужившись, справиться можно, но если в самом народе верх в борьбе за выживание возьмут Русановы, тогда шансов на выздоровление нации не останется никаких.

Уходит из больницы излеченный Костоглотов, уезжает с надеждой призрачной на выздоровление Русанов. Время менялось. Куда оно менялось, никто еще не знал, но всем хотелось лучшего. Да возможно ли объединить Русанова и Костоглотова в борьбе за лучшее?

Возможно ли переиначить, ежели Русановых за полвека появилось многое множество? Лишенных жалости, сострадания, любви к ближнему своему.

Сила прозы Александра Солженицына не в информативности, хотя он самым первым попытался открыть своим соотечественникам глаза на нашу же страшную жизнь. Но сейчас журналы, обгоняя друг друга, спешат поразить читателей шокирующими подробностями. И после всего узнанного, увиденного, услышанного — станут ли интересны рассуждения о «нравственном социализме Шулубина»? После истерических проклятий в адрес лагерей, потока «мученической прозы» — чуть ли не оправданием их покажутся попытки Ивана Денисовича или бригадира Тюрина обрести какое-то подобие жизни, со своими радостями, даже гордостью за хорошо сделанную работу — в лагерных-то условиях.

Это чисто русское: всюду жизнь — кажется иным любителям прогресса чуть ли не доказательством рабского духа. Когда-то их предшественники с порога отрицали саму возможность нормальной жизни в царских условиях. Разрушили дотла, построили новую, чтобы и в ней тотально разочароваться.

Сила прозы Александра Солженицына — не в разрушительности. Его герои и обмануть-то как следует не умеют, и в тюремный лазарет приходят, когда уж все списки давно поданы. Они устраивают свою жизнь трудом, честностью, надежностью. Они уверены — станешь ловчить, сам же и сломаешься.

Сила прозы Александра Солженицына — во внутреннем изображении жизни народа. В том глубинном чувстве языка, образного, народного, обогащающего все более скудеющую речь нашу. Александр Солженицын возвращает нам нашу народную речь, закрепляет употребление полузабытых слов. То, что сегодня делают **заменители Солженицына** всем скопом, может быть, и необходимо для большего узнавания. Но когда истощится поток информации, когда люди утолят информационный голод, столь естественный после долгого плена свободного слова и свободной мысли, для того чтобы внукам нашим понять, что же происходило в те далекие годы, чем люди жили, как они выжили, мы будем давать уже не переполненные кошмарами воспоминания героев-одиночек, мыслителей-одиночек, жертв-одиночек (из них ничего в целом нельзя будет понять), а художественные произведения стержневой русской словесности, такие, как «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор», «Раковый корпус». Небольшие по объему — они и дадут читателям главные ответы на их главные вопросы.

Вспомним, чем заканчивается рассказ «Матренин двор»:

«Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша».

Этим огнем народной правды и сильна проза Александра Солженицына. Он верит своим героям, радуется и печалится вместе с ними.

Проза Александра Солженицына нужна сегодня прежде всего нам самим. Чтобы не потерять веру в самих себя. Веру в человеке, Веру в свой народ.

* * *

Проза Константина Воробьева пробивалась к своему читателю не менее сложно, чем, скажем, проза Варлама Шаламова. Казалось бы, героизм человека на войне, героизм человека в немецком лагере, не сломленного, убежденного в том, что «пусть нас, людей, не останется... Пусть! А Россия-то будет? Будет? Куда же она денется?!» — должен был найти понимание у редакторов журналов и газет, у издателей и критиков.

Не тут-то было. Вспоминает Виктор Астафьев: «В особенности доставалось за окопную правду, за «натуралистическое» изображение войны и за искажение «образа советского воина» Константину Воробьеву... Возьму на себя смелость заявить, что у Константина Воробьева не только жизнь, но и творческая судьба была не просто отдельной, но исключительной... Вместо того чтобы перемалывать молотое, хвалить хваленое, поинтересоваться архивами Константина Воробьева и почитать ответы из столичных изданий — удивительные бы документы они для себя открыли! У меня, например, хранится ответ Павла Шебуновича, подписавшегося Шебуниным, из журнала «Огонек» на рассказ «Солдат и мать», в котором он советует обратить внимание Пермской писательской организации на «идейное мировоззрение» молодого автора, намекает, что и документы его не мешало бы проверить...»

Так вот эти самые «документы» и в прямом и в переносном смысле столичные критики требовали у Константина Воробьева, пожалуй, до самой его смерти. Еще за первые его публикации в журнале «Нева» известный публицист Г. Радов в «Литературной газете» обвинил Воробьева в шовинизме, потом взялся за него всерьез критик Гр. Бровман и, удивляется Виктор Астафьев, «начал прорабатывать его при появлении любого его рассказа, любой повести — будто на посту стоял и караулил!».

Сколько недосчиталась русская литература произведений из-за таких вот бровманов, подсчитать невозможно, если даже у самых стойких порой перо выпадало из рук. Признается в письме Константин Воробьев: «Мне что-то сейчас не работается. Наверное, втуне ожидаю хулу и брань разных бровманов... Сволочи, вышибают недозволенными приемами перо из рук, никак не могу привыкнуть к оскорблениям, хоть на мне уже и места нету живого!»

Сейчас бы ему исполнилось семьдесят лет. Для тихой размеренной жизни возраст, хоть и почтенный, но вполне достигаемый, даже вполне творческий... Не для таких, как Константин Воробьев. Приведу свидетельства его земляка, прозаика Евгения Носова: «Константин Воробьев любил работать в горячем цехе, со словом, которое только что из пламени пылающего воображения. Оно еще дышит жаром, стреляет колкими искрами, обжигает самого мастера, и тот, благоговея над ним, испепеляющим, непокорным и прекрасным, размашисто, пока еще не остыло, гранит его на звонкой наковальне. Я представляю, каким усталым, измотанным, весь в сединах и ожогах отходил он от своего горнила. Это было поистине Прометеево искусство. Да, собственно, на этом огне он и сгорел преждевременно, так и не дочеканив заветных своих страниц».

Какова проза, таков и писатель, каков писатель, таков и человек...

Удивительно, что впервые опубликованная лишь три года назад, в конце 1986 года, в журнале «Наш современник» повесть «Это мы, Господи!..» была написана еще в 1943 году, прямо на месте действия, когда группа партизан вынуждена была ровно тридцать дней отсиживаться в доме № 8 на улице Глуосню в литовском городе Шяуляй. Месяца не хватило, повесть не была закончена. Уже после войны Константин Воробьев в таком незаконченном виде послал рукопись повести в «Новый мир». Позже фрагменты из нее писатель включал в ряд других произведений, просто не поверив, что кто-нибудь в полном виде сможет опубликовать эту повесть. Сергей Костров в рассказах «Седой тополь» и «Дорога в отчий дом» стал Сергеем Климовым, в повести «Почем в Ракитном радости» — Константином Останковым, в повести «...И всему роду твоему» — Родионом Сыромуковым, Может быть, в

поздних произведениях Константин Воробьев добивается большой художественной законченности, обретается ощущение непринужденности и изящества, достигается философская глубина, осмысление всего происходящего, даже некая музыкальная композиционность. Не случайно Евгений Носов назвал прозу Воробьева «примером так называемой «думающей» литературы, с которой читателю не может быть скучно и безрадостно».

Критику, а вернее, даже филологу интересно будет проследить, как художественно прорабатывался отрывок о рукопашной схватке, в которой солдат впервые убил противника штыком. В «Это мы, Господи!..» Константин Воробьев еще не анализирует поступок товарища, сообщает как о жестоком факте, неизбежном на войне. В повести «Убиты под Москвой» это уже художественно осмысленная психологическая новелла, где герой, увидев, как товарищ по самую рукоятку всадил в живот штык винтовки, и не может вынуть, — остро возненавидел своего сослуживца, а немец что-то исступленно заклинал. Сам боец не знал, что делать дальше, испуганно кричал немцу: «Отдай!».

Нашлись критики, которые посчитали этот эпизод натуралистическим. Сравните с бытовым описанием в начальной повести, увидите именно художественную скрупулезность деталей.

Также можно сравнивать сцены побега из окна вагона в повести «Это мы, Господи!..» и в рассказе «Седой тополь». Разрося эпизод с седым полковником, высчитавшим бессмысленность массового бунта в саласпилсском лагере командного состава «Долина смерти».

То и дело натыкался я на знакомые фрагменты в повести «Это мы, Господи!..», разбросанные по всей прозе Константина Воробьева. И все-таки это не мешало ощущению первичности при чтении той повести. Это была в чем-то другая и, может быть, более убедительная проза. То, что назвал «новой прозой» Варлам Шаламов. Убеждает верность и точность подробностей. Вместе с тем это не мемуары, а преображенная действительность, где Константин Воробьев, подобно своим близким по духу собратьям по перу, «стремится доказать, что самое главное для писателя — это сохранить живую душу». Эпиграфом к повести Константин Воробьев взял строку из «Слова о полку Игореве»: «Лучше быть убиту от мечей, чем от рук поганых полонену». Подтверждение этих слов не один раз мы находим в повести, когда люди готовы идти на любую смерть, чем бессмысленно мучиться и бессмысленно вымирать в немецких лагерях, заранее рассчитанных на вымирание.

Оказывается, и в сорок третьем году так писали, — да один ли Воробьев? — как пишут сегодня, наученные опытом и гласности, и литературы. Сергей Костров — любимый герой писателя, может быть, по-настоящему единственный главный герой писателя. Это не Иван Африканович, не Иван Денисович, не Василий Теркин, даже, может быть, не самый основной в своем народе, но — всегда необходимый, всегда требуемый. Сравнивая «Один день Ивана Денисовича» с «Это мы, Господи!..», замечу, что, на мой взгляд, Сергей Костров ближе к капитану Буйновскому, чем к Ивану Денисовичу, так же как Буйновскому с его героизмом в лагере суждено быстро погибнуть не будь поддержки Иванов Денисовичей, так и Кострова уже в самом начале повести спасает ярославский мужик Федор Никифорович. «Задушевная простота и грубоватая ласковость его советов и нравоучений заставили Сергея проникнуться к старику чувством глубокой приязни, почти любви. Сергей сознавал, что Никифорыч неизмеримо практичнее, опытнее его; крепче стоит на земле чуть кривыми мускулистыми ногами...» Да и в дальнейшем такие, как Никифорыч, помогали выдержать Сергею жуткую действительность немецких лагерей. В немецких лагерях такие, как Сергей, становились лидерами, ибо их героизм был осмыслен, требовался всем. Потому вокруг него всегда кучковались те, кто готовился к побегу. Кто-то погибал, другие становились на его место. Немногие, подобно Сергею (и замечу — самому автору), выживали и становились лидерами партизанского движения. Может быть, есть в этом глубокий внутренний смысл: в наших лагерях держались Ивана Денисовича, и в этом был смысл борьбы — выжить, несмотря ни на что. В немецких лагерях на роль центров выдвигались Сергеи Костровы, ибо одного выживания было мало, требовалась борьба, уничтожение врага, требовался вооруженный бунт. Мне кажется, лагерной повести Константина Воробьева, если проводить параллели с нашей внутренней лагерной темой, ближе проза Варлама Шаламова, его «трагедия без катарсиса», его преображенный документ. Это такому, как Сергей, посвящен рассказ Шаламова «Последний бой майора Пугачева». Подобно Сергею в саласпилсском лагере, майору Пугачеву в колымском лагере «было ясно, что их привезли на смерть — сменить вот этих живых мертвецов». Подобно Сергею — такая же неумолимая страсть к свободе, к прорыву любой ценой. Такая же командирская четкая логика, понимание действий, четкая организованность, терпеливая подготовка. И такой же удачный побег, но... полная обреченность дальше. Дальше начинается неизбежная противоположность действий героев Шаламова и Воробьева. Убивая полицейских или немецких солдат, Сергей и его товарищи чувствовали за собой правое дело, чувствовали поддержку населения. Литовские хуторяне шли на смертельный риск, помогая сбежавшим красноармейцам, но... шли, ничего от них конкретно не ожидая, кроме одного — «когда товарищи придут?».

Убивая солдат охраны, таких же мобилизованных, как недавно они сами, в ряды советской армии, команда майора Пугачева обрекала себя на ожесточение вообще. Не против кого-то, а вообще. Для того чтобы выжить, им надо было и дальше, если бы даже все пошло хорошо, оставлять за собой по тайге цепочку кровавых следов. Почти все пугачевцы до этого уже были на месте Сергея Кострова — бежали из немецких лагерей, прорывались к своим, тогда не было безнадежности, не было абсолютного одиночества. Теперь на обреченный бой пошли люди, испытавшие разочарование, обман, ложь. Они решили умереть в бою, потому что умирать в лагере им не хотелось.

Сергей Костров и многие саласпилсцы тоже предпочли бы умереть в бою, чем медленно, с открытыми глазами, перебирая свою жизнь, вымирать от голода в лагере, но у них не было безнадежности самой жизни. «Пусть нас, людей, не останется... Пусть! А Россия-то будет? Будет? Куда же она денется?!» Для них удачный побег был уже сразу началом новой борьбы с немцами. И потому к майору Пугачеву тянулись только смертники, люди осознанно решившие, что в лагере жить не стоит вовсе.

К Сергею Кострову тянулись люди, жаждущие жить, надеявшиеся на жизнь, и даже люди куда более умелые, чем он сам. Тот же Никифорыч, сокамерники в Паневежисе, лихой партизан Мотякин. Народ в любое время, в любую эпоху — органично, даже неосознанно — перераспределяется, определяя в себе самом стержневых людей, лидеров, наделенных необходимыми в эту эпоху качествами для продолжения жизни народа в целом. Это приводит и к трагическим ситуациям, когда вчерашние герои, не понимая свою ненужность в качестве лидеров в новое время, начинают подминать под себя время, становятся агрессивными и часто гибнут в разладе со временем. Скажем, революционеры после революции должны уступить место созидателям, но где найдете вы таких революционеров? Посмотрите, как неохотно уступает власть в партизанской группе герой рассказа Константина Воробьева «Дорога в отчий дом» встретившемуся им в лесу кадровому офицеру Сергею Климову: «Вот тогда-то я и узнал, до чего человек сложная механика! Я на себе это понял, потому что полночи шел и все думал: «А на каком основании Климов захватил верх? Кто к кому пристал — мы к ним или они к нам? У кого оружие — у них или у нас?» Понимаете? Это значит, личные интересы у меня зашевелились, как раньше у Сидорчука».

Рассудительному герою хватает соображения, чтобы понять: Климов как руководитель более необходим в такой обстановке. Хватает сил, чтобы подчиниться. Чтобы победить, необходим был молодой оптимизм таких, как Сергей Климов или его собрат по повести «Это мы, Господи!..» Сергей Костров. Если бы даже он и умер, то до последней минуты — сопротивляясь смерти, надеясь на выживание. Сергей и других заражал столь необходимым оптимизмом, волей к жизни. После дизентерии мало надежд оставалось у Сергея на спасение, но: «То, что там есть, в самой глубине души, не вырыгнул с блевотиной Сергей. Это самое «то» можно вырвать, но только цепкими когтями смерти... Оно заставляет тело терпеть до израсходования последней кровинки, оно требует беречь его, не замарав и не испаскудив ничем». Не просто выжить, а выжить достойно, жить достойно — только тогда сохранятся силы для борьбы. Варианты временного предательства — до лучших времен, до побега, продемонстрированные нам в прозе В. Быкова и А. Адамовича, сразу отменяются героями Константина Воробьева как негодные. Пойти в полицаи, и дважды добровольно, чтобы в случае выживания после победы не постесняться вспомнить о былой доблести в первых боях, как делает сегодня один из панфиловцев Иван Добробабин, поддерживаемый нашей центральной прессой, — этот путь неприемлем для Сергея Кострова. Как и для самого автора. Если умирать, то не на коленях перед вешателями, не унижаясь. «Подымись, дура еловая! — покойным басом загорланил его одновисельник. — Разя это люди? Это жа енчихристы! Увстань жа, ну!..» В понимание «жить достойно» входит как составляющая и «умереть достойно». Можно изучать феномен предательства, феномен униженности, расчеловечивания человека, но это — суждено другим писателям. Константин Воробьев пишет о тех, кто не способен при всем желании быть рабом, даже просто подчиниться обстоятельствам. Его оптимистические герои сродни его собственной натуре. Пишет Константин Воробьев другу Виктору Астафьеву: «Не знаешь ли ты, мученическая душа твоя русская, отчего нас невозможно пронять, отчего мы, несмотря на трехсотлетнее ярмо татар, розги Салтычихи, лагеря Берии и Сталина — сохранили живой, честный ум и веселый смех. И никому, никогда не отдадим свой летучий — для нас неминуемый гений, всеохватимую душу свою, умеющую любить, терпеть, прощать и помнить».

Это природное жизнелюбие помогало Константину Воробьеву пройти кровавые бои сорок первого года под Москвой, плен, многочисленные концлагеря, «унижение и боль окруженца, отчаяние пленного и мужество побега», возглавить партизанскую группу в Литве. Этот оптимизм не позволял ему врать, начиная с первых произведений, писать о том, что было на самом деле. Только прочувствовав по-настоящему «небывало страшное и таинственное, непосильное разуму человека» чувство войны, боя, смерти, показав страдания людей, противоестественность бойни людей, можно по-настоящему оценить и мужество тех людей, кто и в подобных обстоятельствах не теряет порядочность, не способен на подлость.

Человек на войне должен оставаться человеком, это и есть настоящий героизм. И потому книги Константина Воробьева — книги о героизме. Только не о придуманном, не о разукрашенном, а о том, который возникает в самых ужасных, нечеловеческих условиях, в злые и горькие годы. Представьте, что эту рукопись повести, написанной на подпольной квартире в 1943 году на оккупированной немцами территории, нашли только сейчас, как и было на самом деле, но об авторе ничего не знали. Если бы тогда же в литовских лесах молодой начинающий прозаик погиб в бою с немцами. Заинтересовала бы читателей эта повесть? Обязательно. Даже сенсационности было бы больше. Дотошные кри-

тики подметили бы и высокую художественность произведения. В партизанском тылу автор пишет: «Тяжелым ленивым шаром катились дни. Подминал этот шар под тысячепудовую тяжесть тоски и отчаяния людей, опустошая душу, терзая тело...» И это о пребывании в плену, по самым свежим воспоминаниям, чуть ли не на лагерных нарах. О том же: «Черной душной стеной обрушивается ночь на лагерь. Погребают ее обломки-минуты мысли и надежды людей, успокаивают их несложные желания».

Эта художественность, может быть, и есть высшее мужество писателя. Воскрешается чувство пережитого, выстраданного, воссоздаются истинные жизненно важные оценки происшедшего. А уже из этой конкретности прочувствованного вырастает нравственное, философское осмысление времени. Верно заметил Евгений Носов: в прозе Константина Воробьева нет «остывших слов», профессионально подогнанных методом холодной обработки. Когда пролистываются «толковые «кирпичи», высматриваются и примеряются подходящие слова... Метод написания повести «Это мы, Господи!..», раз и навсегда освоенный прямо на месте действия, стал его постоянным методом. Так писались и «Крик», и «Убиты под Москвой»...

Получается, что эта повесть, несмотря на ее сорокалетнее «отлеживание», определила все главное в дальнейшей жизни писателя. И его героев, и его тему, и даже его стилистику, метод творческой работы. И как предчувствие — незавершенность творческого пути прозаика. И первая его повесть «Это мы, Господи!..» и последняя «...И всему роду твоему» остались незавершенными... И по смыслу, и по форме, и по развитию судьбы героя одна продолжает другую. Прочтите их одновременно, как две части одной книги, удивитесь этому мистическому предопределению. Увидите, как писал Виктор Астафьев, «как жил и пробивался к читателю большой русский писатель, не доживший из своего срока какую-то долю, наверное, не малую, и, уж совсем точно, не доделавший очень много, может быть, не написавший «главную» свою книгу,— о чем свидетельствует посмертно напечатанная в журнале «Наш современник» лишь взявшая «разгон» повесть «...И всему роду твоему». По значительности замысла, точности стиля, удивительно тонкому проникновению в святая святых — душу человека, даже в незавершенном виде эта повесть может и должна стоять на одной полке с русской классикой».

То же самое можно сказать и по поводу «Это мы, Господи!..». И даже если бы она осталась одной-единственной повестью писателя, обнаруженной спустя много десятилетий, несомненно она вошла бы в стержневую словесность русской культуры XX века.

Юрий ХАРДИКОВ

«КРОВЬ МОЯ... СВЯЗУЕТ ДВЕ ЭПОХИ»

ССЫЛКА И ГИБЕЛЬ НИКОЛАЯ КЛЮЕВА

ЧАСТИЦЕЙ в океане народной трагедии первой половины XX века была судьба поэта Николая Клюева, в которой, как в капле воды, отразилась судьба русской интеллигенции, подвергшейся преднамеренному уничтожению. Создавший своеобразную поэзию «кондовой расписной Руси», поэт погиб в волне репрессий тридцатых годов, а его творчество надолго было вычеркнуто из истории нашей культуры.

Удивительно быстро новым идеологам удалось рассыпать созданные веками национальные сокровища народа. Под бульдозерный нож радостного переустройства попала алмазная гора, некогда щедро дарившая людям бесценные словесные самоцветы. Однако Николай Клюев предсказал возвращение народу его поэзии, отразившей национальные традиции, культуру и патриотизм русского человека.

В девяносто девятое лето
Заскрипит заклятый замок,
И взбурлят рекой самоцветы
Ослепительных вещих строк.

В своих стихах и поэмах Клюев воспел революцию — «вселенский пир, пиршество красоты, мысли и чувства». Он верил:

Этот огонь очистительный
Факел свободный зажжет.
Голос земли убедительный —
Все выносящий народ.

«Огонь очистительный» был для поэта символом справедливости и любви к человеку, он боролся за победу революции, и вдруг, когда все свершилось, Клюев, как и многие его современники, не пригодился в члены нового общества: «Второго февраля стукнет три года моей непригодности в члены нового общества! ...Всю жизнь я питался отборными травами культуры — философии, поэзии, живописи, музыки... Всю жизнь пил отблеск, исходящий от чела избранных из избранных, и когда мои внутренние сокровища встали передо мной как некая алмазная гора, тогда-то я и не пригодился...».

Творчество крестьянского труда, связь земли, пшеничного колоса и, наконец, слова в поэзии Клюева были непонятны новым идеологам. Их пугала крепость крестьянского житейского лада, свобода труда пашенного человека, а более всего обожествление поэтами, как писал в «Злых заметках» Н. Бухарин, самых отрицательных черт русской деревни и так называемого «национального характера».

Клюеву не простилось, что на иконостас своей поэзии он поставил творца «земного рая», крестьянина:

Батрак, погонщик, плотник и кузнец
Давно бессмертны и богам причастны:
Вы оттого печальны и несчастны,
Что под ярмо не нудили крестец.

Вершители большой политики объявили классовым врагом не только крестьянина, но и самого поэта. В угоду сиюминутному успеху и благополучию к ним примкнули многие деятели искусства, о которых Клюев писал: «С болью сердца читаю иногда стихи фанерных знаменитостей в газетах. Какая серость! Какая неточность! Ни слова, ни образа. Всё с чужих вкусов».

Вполне естественно, что им было предпочтительней узреть в таланте и гении Николая Клюева враждебность новому обществу, уничтожить певца ненавистной «лапотной России», нежели признать его самобытность и превосходство.

В поэме «Деревня», на которую были ожесточенные нападки критиков, Клюев писал об истоках Руси, о желанной всегда свободе и независимости:

По Волге, по ясной Оби,
На всяком лазе, сугробе,
Рубили мы избы, детинцы,
Чтоб ели внуки гостинцы,
Чтоб девки гуляли в бусах,
Не в чужих косоглазых улусах!

Здесь же поэт с горечью говорит о «железном насилии» над землей, которое приведет к бесплодию, недородам и голоду:

От ковриг надломятся полки,
Как взойдет железная новь.

Только ласточки по сараям
Разбили гнезда в куски.
Видно, к хлебушку с новым раем
Посошку пути не легки!

Отвечая на нападки в связи с публикацией «Деревни», Клюев спрашивал: «...почему же русский берестяный Сирин должен быть ощипан и казнен за свои многопестрые свирели — только лишь потому, что серые с невоспитанным для музыки слу-

хом обмолвятся люди, аторопях и опрометчиво утверждая, что товарищ маузер сладкоречивее хоровода муз?..».

Именно не слышавшие хоровода муз революции люди, не понимавшие чаяний народа, они попытались на аркане затащить крестьянство в новую жизнь, основанную на казарменных принципах. С теми, кто противился, вел беспощадную борьбу «грозный орган диктатуры пролетариата».

Травля поэтов крестьянской Руси велась организованно, к их творчеству относились уничижительно, в том числе к Клюеву и Есенину, называя их «низшими».

В свое время Сергей Есенин гневно возмущался таким прозванием. «Мы, Николай, — говорил он Клюеву, — не должны соглашаться с такой кличкой! Мы с тобой не низы, а самоцветная маковка на златоверхом тереме России; самое аристократическое, что есть в русском народе».

Однако еще до революции активные деятели социал-демократии по-другому оценивали многовековой крестьянский уклад, считая «деревню» противником своих идей. В ноябре 1910 года Шая Ицкович Голощекин[1] писал из Нарыма своей жене Берте Иосифовне Перельман: «...против нас в оппозицию «деревня» и другие и, конечно, Иван».

Возможно, это противостояние в какой-то мере объясняет истоки преднамеренного уничтожения русского крестьянства и цвета русской интеллигенции. Метод исторически выверен: чтобы уничтожить культуру народа, его историю, пугающий своей крепостью крестьянский житейский лад, кровные и семейные узы, близкородственные погосты,— достаточно «сбить» эту самоцветную маковку с златоверхого терема России.

* * *

Пуск конвейера смерти был подписан А. С. Енукидзе по указанию Сталина 1 декабря 1934 года: «...органам Наркомвнудела приводить в исполнение приговоры о высшей мере наказания немедленно... Президиум ВЦИК СССР не считает возможным принимать к рассмотрению ходатайства о помилования...» («Известия ЦК КПСС», 1989, № 3).

Двумя десятилетиями раньше этого события Енукидзе получил письмо из нарымской ссылки от Гермины Людвиговны Ульман (Блюмфельд): «Мы, политические, живем в одном доме, только в отдельных квартирах (по национальностям). Квартиры у нас хорошие, меблированные, светлые. Продукты сравнительно дешевы. В материальном отношении жить можно (если еще присылают из дому), но нравственных требований у местных жителей совсем нет. Мои товарищи устроились ничего себе, их волчьим аппетитам можно завидовать». В этом же письме она называет Енукидзе «Авелем», но совсем через малое время Авель проявился коварным Каином, скрепив своей подписью право на кровавую бойню.

Засовами тюремных камер лязгала машина репрессий тридцатых годов, с визгом буравили человеческие черепа тупоносые револьверные пули. «Нерассуждающие органы, возглавляемые фанатичными интернационалистами», выбивали вместе с мозгом малейшее сомнение в правильности курса Великого вождя мирового пролетариата.

В эту мясорубку по логике происходящих событий попал Николай Клюев. Не зная за собой вины, он считал, что сослан за прочтение своей поэмы под названием «Погорельщина», основная мысль которой: природа выше цивилизации.

Удивительно пророческое видение поэта: «Я сгорел на своей Погорельщине, как некогда сгорел мой прадед протопоп Аввакум на костре пустозерском. Кровь моя волей или неволей связует две эпохи: озаренную смолистыми кострами и запалами самосожжений эпоху царя Федора Алексеевича и нашу, такую юную и по тому многого не знающую. Я сослан в Нарым, в поселок Колпашев, на верную и мучительную смерть. Она, дырявая и свирепая, стоит уже за моими плечами. Четыре месяца тюрьмы и этапов, только по отрывному календарю скоро проходящих и легких, обглодали меня до костей. Ты знаешь, как я вообще слаб здоровьем, теперь же я навсегда загублен, вновь опухоли, сильнейшее головокружение, даже со рвотой, чего раньше не было. Поселок Колпашев — это бугор глины, усеянный почерневшими от бед и непогодиц избами, дотуга набитыми ссыльными. Есть нечего, продуктов нет или они до смешного дороги. У меня никаких средств к жизни, милостыню же здесь подавать некому, ибо все одинаково рыщут, как волки, в погоне за жраньем» (разрядка моя. — Ю. Х.) («Новый мир», 1988, № 8, с. 168).

Нарым тридцатых — безысходность, неизбежная гибель!

Рыцари тоталитарного режима превратили его в место умерщвления инакомыслия. Называя себя диалектиками, они не терпели чужого мнения. Провозглашенные лозунги: Свобода, Равенство, Братство — на деле оказались не более чем словесной мишурой на пути к власти. Зная Нарым дореволюционный в его «либеральном» состоянии, они установили режим, исключающий выживание их противников, возможность какой-либо борьбы с насилием и произволом.

Традиционно оставшись местом ссылки, Нарым тридцатых связан кровью Николая Клюева с Нарымом дореволюционным. И хотя из нашего времени все яснее проявляется связь двух русских ссылок двадцатого столетия, важно не только увидеть и понять ее, но и по крупицам собрать и вернуть народу его духовные богатства, высветить новые грани на кристаллах национальной культуры, уничтоженной «грозным органом».

[1] После революции Шая Ицкович (Федор Исаевич) Голощекин стал членом ЦК ВКП(б), комиссаром Уральской области.

По его приказу была расстреляна семья русского царя Николая II: «...16-го в шесть часов вечера Филипп г-н Голощекин предписал привести приказ в исполнение» («Огонек», 1989, № 21, с. 30).

* * *

Более полувека нарывающие раны человеческой памяти были заботливо укрыты стерильным пластырем — неприкосновенностью ведомственных архивов. Находились оборотистые лекари, врачевавшие невидимые закрытые раны. Но время требует осознать истоки страшных страниц истории, чтобы в новой жизни не повторилось хорошо забытое старое.

Нравственность поступков поколений веками вырастала на неразрывной связи между ними. Живущие всегда ответственны перед своими потомками, перед будущим, перед исторической памятью, которую так заботливо долгое время скрывали.

Один мой знакомый, находясь в Германии, спросил монашку в детском приюте: Почему она посвятила свою жизнь милосердию и детям? «Мой отец служил в СС, я замаливаю его грехи», — ответила она.

За случившееся в тридцатые годы новое поколение не будет посыпать голову пеплом. Но ему важно знать и чувствовать, что ни одно злодеяние на земле не будет забыто. Поэтому, скрывая имена устроивших геноцид, их доносчиков и провокаторов, объясняя это интересами ныне живущих, совершается новая несправедливость. Невинные жертвы тридцатых годов должны быть названы вместе с их палачами. Не сделав этого, мы дадим взрастать тысячам новых, изнывающих от зависти, от желания власти над другими людьми.

Газета «Правда» в статье «Обнаженный яр» 11 мая 1989 года назвала сотрудников Нарымского отдела НКВД Коха, Кипирваса, Калинина, Карпова, Гришина, Ульянова, работавших здесь до начала войны. Но в 1934—1937 годах были те, кто сделал зачин кровавого террора, кто решал судьбу Николая Клюева в Москве, Томске, Колпашеве,— Фельдман, Мартон, Шкодский, Подольский, Веледерский, Басов, Лушпей...

Вглядываясь в архивные папки, с удивлением замечаешь, что на «дела» и на шапки охранников лагерей НКВД эти «первоклассные закройщики» пришивали одинаковые, серые, как туман, завязки. И вот уже пять десятков лет висит пелена над трагической эпохой в истории народа. Оказались эти завязки едва ли не прочнее стальных тросов, которыми чокеруют на лесоповале сибирский лес. Они крепко стягивали ушанки, чтобы через теплую овчинку не было слышно стонов умирающих. Тугие узелки держали и держат по сей день документальные доказательства массового истребления людей, имена тех, кто спускал «вопросительные знаки» курков.

* * *

Нелегко поддались серые завязки дела № 47165, более полувека скрывавшие тайну гибели в ссылке Николая Клюева. Пожелтевшие страницы документов, как пулеметной очередью, пересечены наискосок торопливыми росчерками: «Массов. Конец срока 2/2 — 39 года... Осужден по I категории тройкой...».

Всё имеет свой смысл: массов.— массовая ссылка. Осужден по I категории — р а с с т р е л я н!

Когда читаешь это дело, ощущение такое, будто следователи все делали «на бегу», боясь, что вот-вот колесо репрессий будет остановлено и они не успеют закрутить в него всех, кто намечен к уничтожению.

Известно, что Николай Клюев был арестован в Москве 2 февраля 1934 года. Судебная коллегия ОГПУ слушала дело № 3444 по обвинению Клюева Николая Алексеевича по ст. 58—10 УК 5 марта. Постановили: Клюева Николая Алексеевича — заключить в исправтрудлагерь сроком на пять лет, с заменой высылкой в гор. Колпашево (Зап. Сибирь) на тот же срок, считая срок с 2/2 — 34 года.

Порядковый номер «18», под которым обозначен протокол коллегии ОГПУ, допускает предположение, что дело по обвинению Клюева было рассмотрено восемнадцатым в этот день. Быстрота судебных разбирательств, если их таковыми можно назвать, была характерной чертой того времени.

Путь в ссылку для Николая Клюева длился почти три месяца. Пересыльная тюрьма, затем Томский распределительный пункт и наконец Нарымский окротдел НКВД.

Вот как описывали этапирование ссыльных в тридцатые годы работники НКВД, которых мне удалось расспросить. Этапы шли по сорок вагонов в составе. Ссыльных загоняли в вагоны по восемьдесят человек (для солдат норма была 40 человек, для ссыльных до революции 50—70 человек в вагон.— Ю. Х.). Политические и уголовники ехали вместе.

Окна вагонов зарешечены, в два яруса грязные нары. Сбоку в стене вагона вделана труба из кровельного железа для справления «мелких надобностей». Раз в сутки, не доезжая станции, арестованных выводили на оправку. Любое подозрение, что ссыльный пытается совершить побег, — выстрел без предупреждения.

С этапов бежали только уголовники. «Зеленый прокурор» освободит», — говорили они, пускаясь в побег. «Зеленым прокурором» называли весну — благоприятное время для побега. После побега, совершив небольшую кражу, они садились в тюрьму, чтобы вскоре освободиться «под чистую» — с документом, а иногда и под другой фамилией. Централизованного учета преступлений не было, и разыскать сбежавшего было невозможно.

Раз в сутки арестованным давали горячую пищу, один котелок воды: хочешь — пей, хочешь — умывайся. Однако в своем письме Сергею Клычкову Клюев сообщил: «...пока у меня рвота от 4-х месячного хлеба с водой!»

В Томске этап выгружали на воинской площадке станции Томск-2. Всех заключенных усаживали на землю «елочкой» (каждый садится плотно друг к другу, в промежуток между широко раздвинутыми ногами: вереница ног образует «елочку»). Делалось это, чтобы затруднить побеги. На земле могли сидеть по нескольку часов. (Заметим, что Клюев прибыл в Томск

в апреле, когда в Сибири еще лежит снег. — Ю. Х.)

На этапирование восьмисот человек выделялось двенадцать охранников и две собаки. Именно малочисленностью конвоя охрана оправдывала необходимость «елочки».

После распределительного пункта ссыльных отправляли водным путем в Колпашево. Дощатую, наспех просмоленную баржу тащили вниз по Оби на буксире почти трое суток. В трюме битком набито ссыльных, до колена воды. Весь путь узники баржи как бы идут пешком по обскому дну, переступая ногами в ледяной стыни.

Вот что писал Николай Клюев о месте, где он оказался: «...все чужие друг другу и даже, и чаще всего, враждебные, все в поисках жранья, которого нет, ибо Колпашев — давным-давно стал обглоданной костью. Вот он — знаменитый Нарым! — думаю я... безмерно сиротство и бесприютность, голод и свирепая нищета, которую я уже чувствую за плечами. Рубище, ужасающие видения страдания и смерти человеческой здесь никого не трогают. Все это — дело бытовое и слишком обычное. Я желал бы быть самым презренным существом среди тварей, чем ссыльным в Колпашеве. Недаром остяки говорят, что болотный черт родил Нарым грыжей. Но больше всего пугают меня люди, какие-то полу-псы, люто голодные, безблагодатные и сумасшедшие от несчастий. Каким боком прилепиться к этим человекообразным, чтобы не погибнуть? Но гибель неизбежна. Я очень слаб, весь дрожу от истощения и от не дающего минуты отдохновения больного сердца, суставного ревматизма и ночных видений. Страшные темные посещения сменяются областью загробного мира» («Новый мир», 1988, № 8, с. 169).

Как не похоже это на то, что здесь происходило всего двадцать лет назад!

В 1911 году в нарымскую ссылку следовал А. В. Шишков, рассказавший о своих впечатлениях в письме к К. А. Бялецкому в сентября того же года: «Из путевых впечатлений кое-что вынес. Мелькали села, города, тюрьмы, реки, станции, жандармы. Уральские горы доставили несколько приятных волнующих минут созерцания, затем пошли сибирские равнины и наконец тайга, бесконечная, однообразная тайга... Стоит упомянуть о Томске. Здесь я пробыл 8 дней на воле — освободили, ибо не открылась еще навигация на Оби, и не было, следовательно, сообщения с краем, а держать в тюрьме времени (читай: временно. — Ю. Х.) не нашли удобным. В результате я получил «передышку»...

От Томска до Нарыма около 500 верст. Сообщение летом исключительно по р. Оби. Ходят пассажирские пароходы 2 и 3 раза в неделю, из них один почтовый, а зимой лишь два раза в месяц. (Имеется в виду санное сообщение по Нарымскому тракту.— Ю. Х.)

Истинное удовольствие было ехать на пароходе! Невольно всплывали на поверхность сознания воспоминания о путешествиях по Волге, вольных и веселых, разумеется, здесь беднее впечатления, меньше разнообразия, но все-таки ширь воды, зеленых равнин, темных лесов! Тишина реки нарушается лишь шумом своих волн да ветром: ни встречных пароходов, ни единого признака человеческого жилья.... И только серые чайки да дикие утки пестрят воздух и изредка криком как бы жалуются на свою бесприютность. На третьи сутки в Нарыме. Пароход пришел ночью. Но это не беда. Местные ссыльные уже на пароходе, рекомендуются, расспрашивают, ведут к себе...»

Пусть не покажется кощунством над памятью борцов за революцию, перенесших все тяготы царской ссылки, ряд документов из дореволюционного Нарыма. Их сравнение с положением ссыльных тридцатых годов проливает свет на поразительный контраст отношения к человеку в двух русских ссылках двадцатого столетия, на коварство замысла: строить «всеобщее счастье» на дешевом труде «рабов», уничтожив с помощью «грозного органа» мозг, честь и память народа.

Строительство самого справедливого государства в мире не могло сочетаться с жестокостью и бесчеловечностью, с массовыми убийствами, с превращением народа в безликую серую массу.

РАПОРТ ТОМСКОГО УЕЗДНОГО ИСПРАВНИКА ГУБЕРНАТОРУ

21 апреля 1914 г.

С предоставлением жалобы административно-ссыльного Мовши Сумецкого, докладываю Вашему превосходительству, что при проезде через с. Каргасок старший надзиратель в этом пункте Балашенок мне доложил, что административно-ссыльный еврей Мовша Сумецкий при проверке его квартиры не впускает надзирателя Казакевича, в десятке коего он находился, а когда Балашенок с Квзакевичем отправлялись вместе на квартиру Сумецкого, то последний задерживал их подолгу у дверей, затем уже после пространного выражения неудовольствия допускал в свое помещение, угрожая за беспокойство жаловаться.

Я вызвал Сумецкого на земскую квартиру для указания ему на его неправильные действия по отношению к надзирателям, но Сумецкий слушать меня не хотел и вел себя с присущей только для евреев развязанностью, жестикулируя руками и перебивая меня на каждом слове, заявляя, что он не обязан пускать к себе надзирателей и будет поступать так и дальше и что все это есть ни что иное как административный произвол...

Несмотря на репрессии властей и различные запреты, в 1910 году в Колпашеве возник драматический театр. На русском, украинском, польском и еврейском языках ставились: «Власть тьмы» Толстого, «На дне» Горького, пьесы Чехова.

Колпашевская колония политссыльных имела свою столовую, кассу взаимопомощи, медицинский пункт, читальню. Были артели для сбора кедровых орехов, ловли рыбы, заготовки дров.

Из казны жаловали хотя небольшие, но средства на питание тех, кто не имел помощи из дому, на зимнюю одежду.

РАПОРТ ТОМСКОГО УЕЗДНОГО ИСПРАВНИКА ГУБЕРНАТОРУ

2 сентября 1909 года
секретно

Прошу распоряжения Вашего превосходительства об отпуске денег на зимнюю одежду политическим ссыльным Нарымского края по следующему расчету на 1643 человека мужчин, полагая на каждого по 18 руб. 43 1/2 коп.— 30288 руб. 70 коп. и на женщин по 18 руб. 61 1/2 коп.— 446 руб. 76 коп. Всего 30735 руб. 46 коп., причем докладываю, что требовательная ведомость на одежду будет представлена особо.

Уездный исправник Пелиошевский.

Без особого риска ссыльные совершали побеги. Самое строгое наказание, которое могло их ждать,— это увеличение срока ссылки на несколько месяцев или высылка в более отдаленный пункт.

РАПОРТ ТОМСКОГО УЕЗДНОГО ИСПРАВНИКА ГУБЕРНАТОРУ

9 июля 1911 года
секретно

На предписание от 9 июня сего года за № 7934 представляю Вашему превосходительству список и подписку на высланного в Нарымский край под гласный надзор полиции Якова Мовшева Свердлова.

В дополнение к рапорту от 21 минувшего июня за № 1392 доношу, что означенный Свердлов после побега в ночь на 19 июня выехал в Нарымский край со следующим пароходом. Свердлов 3 текущего июля, как доносит пристав пятого стана рапортом за № 1101, отправлен на жительство в с. Максимоярское в сопровождении двух надзирателей Приставка и Мунгалова, которые будут оставлены там на все время пребывания Свердлова.

За уездного исправника Загарин.

ПИСЬМО ТОМСКОГО ВРЕМЕННОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА ДИРЕКТОРУ ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦИИ

14 ноября 1906 года

«...Если посмотреть на карту губернии вообще, в Нарымского края в частности, станет ясным, почему и как бегут.

На севере Нарымский край соприкасается с Тобольской губернией, куда по течению Оби легко приплыть в самом утлом остяцком челноке; многочисленность рукавов Оби, заросли и возможность всегда во-время скрыться гарантируют легкую возможность перебраться в соседнюю губернию никем не замеченным. На восток, по системе рек Кети и Тыму, легко пробраться в Енисейскую губернию, откуда бежит более половины всех водворенных. На запад, по системе Васюгана или по лесистому горному хребту, перерезывающему Тобольскую и Томскую губернии, можно совершенно удобно дойти до самого Омска; этот путь особенно удобен зимой на лыжах. Если к этому прибавить, что с открытием пароходства от Тюмени к Томску, Новониколаевску (Новосибирск. — Ю. Х.) и Барнаулу направляется масса парусных барж и торговых пароходов, останавливающихся не у пристаней, а лишь у берегов, совершенно произвольно выбирая место причала, станет ясным, что и на юге имеется наличность всех данных для благополучного бегства. В крайнем случае рискуют лишь несколькими неделями высидки где-нибудь в тюрьме и обратным возвращением в Нарымский край до нового, лучше обставленного побега.

...Казалось бы, в видах самого правительства оберечь умственный центр Сибири, университетский город Томск от такого переполнения ближайших к нему уездов и станов неблагонадежным элементом со всех концов России, так как помимо временных затруднений чисто административного характера мера эта должна оставить свой след в будущей жизни Сибири...»

Оставление Сибири местом ссылки после революции и особенно превращение ее в тридцатые годы в полигон для массового уничтожения сотен тысяч людей отразилось на всей дальнейшей жизни этого края. Нарымский окружной отдел НКВД — зловещий след, боль и горе многих людей.

Когда-то было сказано: за всю историю Земля приняла в себя столько умерших, что на треть состоит из человеческих тел. Если это так, то Нарым только из убитых состоит наполовину!

Через полвека после пребывания в Нарымском крае Николая Клюева я проехал по Оби в эти места. Ни домов-музеев, ни мемориальных досок, ни малейшего напоминания о Нарыме тридцатых. Память народа постарались укрыть плотным покрывалом, как укатывали старым асфальтом площади, где некогда возвышались свергнутые памятники умерших вождей. А может, ничего этого не было?

Но нет! Долгие годы зловеще кружили черные вороны над «людоедскими островами» — островами посередине Оби, куда на голодную и мучительную смерть выгружали с барж ссыльных. В тридцатые годы крестьян России, Алтая, Сибири, позднее поволжских немцев, латышей, эстонцев... В нечеловеческих страданиях и унижениях здесь умерли сотни тысяч без вины виноватых людей.

Может быть, все это и переродило души ныне живущих? Стали бояться даже отеческих могил, своего недавнего прошлого.

Вероятно, ученые откроют «ген страха», который уже передается по наследству.

В конце тридцатых годов работник Нарымского НКВД Короткевич говорил одной из сотрудниц: «Ты туда не ходи, не приведи бог провалишься где-нибудь, а под тюрьмой...». И, повинуясь «генам», люди не ходили т у д а.

Только Обь преодолела в себе страх и полвека подмывала крутояр, где располагался Нарымский отдел НКВД. И вот обнажился подвал «грозного органа» штабелями мертвых человеческих тел.

Испуг от увиденного был парализующим. Не любопытные, но исполнительные потомки вымыли винтами мощных теплоходов останки «белокостного» штабеля в свинцо-

во-сизую обскую воду. В густом крошеве глины и костей всплывали на поверхность черепа с округлыми отверстиями на затылках, обращали последний взор пустыми глазницами на «поселок Колпашев», на обнаженный крутояр и, наполнившись отчаянной водой, вновь погружались в темную бездну.

«...Вымыли мы огромную площадь. Потом бурильным станком прошлись, может, еще где ниши с убитыми есть...» — вспоминает работник Томского областного КГБ В. Н. Копейко.

По живой памяти — бурильными станками!

«Почти полмесяца шли скорбные работы, которые имели целью раз и навсегда покончить с вдруг обнаженной могилой...»

Узнал об этом, и вспомнилось мне, как в одном обском селе рано полысевший «комсомольский лидер» воплощал идею сооружения памятника погибшим в Великую Отечественную войну. На старое кладбище загнали мощные бульдозеры. Стали ровнять площадку. А трактора проваливаются в могилы с человеческими останками, буксуют, мнут, корежат крышки гробов... Потом провалившиеся трактора вытягивали из могил крепкими тросами.

Все же выровняли! И памятник построили. По форме он напоминает автоматическую камеру хранения. В одной из ячеек вечно будет храниться горе знакомого мне тринадцатилетнего паренька, у которого на снесенном кладбище был похоронен отец.

Мальчик смог заменить надгробье лишь зарубкой на березе, склонившей голову над местом захоронения. Но более глубокий шрам оставлен на сердце ребенка.

Так устроена жизнь, что рано или поздно из суеты нелегких будней она все равно ведет нас к отеческим могилам. Еще с древности люди понимали необходимость поклонения духам предков, но не менее важно и в нашей жизни преклонить колени на близкородственном погосте.

Страшно, что бродят по свету множество людей-странников, не знающих близкого родства, своей малой родины, места, где им собираться в «жизни иной».

Много таких людей повидала Обь на своем веку! Но всегда помнит она человека, который пришел к ней первым. Он осторожничал, входя в лад с рекой, приспосабливаясь к ее норову: боялся спугнуть, нарушить разумное единство всего вокруг живущего.

Сегодня же человек на Оби приращивает свои богатства «вахтовым методом». Безумное его вторжение в бытие Матери-природы, так называл ее Николай Клюев, не удается остановить. Наверное, поэтому молча несет река брошенный людьми лес, устилая «паркетное дно», создавая в нижнем течении деревянные острова. Кедрачи и сосновые боры вырождаются в подводных чудовищ, ощетинившихся из мутной обской воды топляковые лапы.

Не доезжая до Нарыма, возле поселка лесопереработчиков Могочино я увидел берег, заваленный штабелями тонких белоствольных берез. Часть из них смыло и унесло к «заветным островам». Оставшееся в дело не пойдет, а лишь в отчеты о заготовленных кубометрах. Позднее всё сгорит в «вечном огне» свалки лесоотходов. Задумайтесь: отходов леса!

Белоствольные штабеля вдруг представились мне человеческими телами, так же безвинно уничтоженными и сваленными в глубокие ямы в нарымском торфянике, в колпашевском «обнаженном яре», да мало ли еще где...

Подумал: а ведь о массовых расстрелах отчитывались в то время так же бойко, как о производственных победах сейчас. Были планы — были отчеты. Массовое цены не имеет. Только за убийство одного человека, за поруб одного дерева предусмотрена строгая ответственность; за массовые убийства — никакой. Поэтому-то те, кто с энтузиазмом уничтожил сотни тысяч людей, продолжают оставаться героями той юной эпохи.

* * *

Известный палач российского крестьянства Лазарь Моисеевич Каганович имел лишь профессию обувщика. Однако на вопрос об образовании в Исторической библиотеке без стеснения заявил: «Пишите: высшее».

Помуполномоченный Нарымского отдела НКВД Шкодский составил первый документ на ссыльного Клюева. Из него узнаем: Клюев Николай Алексеевич, писатель-поэт, неимущий, из крестьян, русский, проживал в Москве по пер. Гранатный, 12, кв. 3, образование — низшее.

Не без «образованных» кагановичей и шкодских были выколоты провидящие очи музе Николая Клюева «образами живущей заветами Александрии, Корсуни, Киева, Новгорода от внуков велесовых до Андрея Рублева, от Даниила Заточника до Посошкова, Фете, Сурикова, Нестерова, Бородина, Врубеля и меньшего в шатре Отца — Есенина».

Аппарат НКВД работал достаточно оперативно. Еще до прибытия Клюева в ссылку на него поступил документ в Западно-Сибирское управление НКВД.

НАЧ. УСО ПП ОГПУ ЗАПСИБКРАЯ
г. Новосибирск

В дополнение к № 14 (3444) от 14/3 — 34 года, направляется меморандум на Клюева Николая Алексеевича — для сведения.

Приложение: по тексту.
ПОМ. НАЧ. УСО ОГПУ ЗУБКИН
ПОМ. НАЧ. 2 ОТДЕЛА МИШУСТИН

Содержание документа № 14/3444 от 14/3 — 34 года пока установить не удалось, но вот меморандум имеет ряд особенностей.

Известно, что Клюев был очень болен. Еще 25 февраля 1930 года отдел здравоохранения Ленинградского облисполкома, если так можно сказать, «навечно» определил ему вторую группу инвалидности. Однако в меморандуме записано: п. II. Какие ограничения в порядке содержания в случае осуждения заключенного в лагерь или в ссылку необходимы, по мнению органа ОГПУ, закончившего дело: ограничений в работе по специальности не требуется.

На вопрос о пригодности использования Клюева в «интересах ОГПУ» (читай: осведомителем. — **Ю. Х.**) рукой того же уполномоченного обозначено — ни в коем случае не рекомендуется.

Эта особенность, непригодность Николая Клюева к сотрудничеству с ОГПУ, прослеживается и дальше. В последнем деле, по которому он был приговорен «к высшей мере социальной защиты — расстрелу» (сколь кощунственна формулировка! — **Ю. Х.**), на предложение стать **доносчиком** поэт ответил категорическим отказом.

К сожалению, многие из арестованных, истерзанных в застенках НКВД, соглашались доносить, оговаривали не только своих знакомых, но и близких родственников, цепляясь за призрачную возможность сохранить свою жизнь. Но работники НКВД, потеряв в этом человеке свой интерес, отправляли его туда, куда с его помощью были отправлены оклеветанные им жертвы.

Фашистский режим, установленный в Германии, где каждый давал информацию на своего соседа, а тот в свою очередь на своего информатора, лишь в более усовершенствованной форме, напоминает режим тридцатых годов. Страна была превращена в лагерь. Ни в одной точке нельзя было найти спасения. Чей-то изощренный ум устранил любые возможности для выживания.

Расстройство душ, которое произошло, когда люди массово становились доносчиками, стоило очень дорого — ведь душевные калеки наиболее несчастны и агрессивны.

Предполагаю, что именно на сведениях, полученных таким образом, был сделан следующий запрос:

НАРЫМСКИЙ ОКРОТДЕЛ НКВД по ЗСК
с. Колпашево, ЗСК
УГБ УСО
копия: Томскому опсектору НКВД
26 августа 1934 года
г. Томск, ЗСК
№ 015/А

По имеющимся сведениям на территории Нарымского окротдела отбывает ссылку а/сс (административно-ссыльный. — **Ю. Х.**) Клюев Николай Алексеевич и Клычков, имя и отчество для нас неизвестно, прошедшие через Томский распределительный пункт.

Просьба сообщить действительное нахождение на территории Вашего края указанных а/сс и если таковые являются особоучетниками, вышлите нам учетный материал, — если же относятся к группе массовой ссылки, вышлите карточки ф. № 1 с полными установочными данными.

НАЧ. УСО СИВЯКОВ.

Недостоверность данных, изложенных в этом документе, говорит о том, что они получены скорее всего от человека, который знал и Клюева и Клычкова, но был «изолирован» от внешнего мира. Ведь в это самое время Клычков еще находился на свободе. Как известно, он был арестован 31 июля 1937 года.

Ответ от Нарымского отдела НКВД на запрос о Клюеве и Клычкове был отправлен в Новосибирск ровно через неделю. При проверке Клычкова в числе ссыльных не оказалось, а на Клюева был отправлен учетный материал.

УПРАВЛЕНИЕ НКВД по ЗСК (УСО)
г. Новосибирск, на № 015/А

При этом препровождается учетный материал на адм/сс Клюева Николая Алексеевича. Ключков (читай Клычков. — **Ю. Х.**) на учете у нас не значится.
вр. и. д. НАЧ. ОКРОТДЕЛА НКВД ЖУК
ОПЕР. УПОЛНОМ. УСО ЦЫПЛЯТНИКОВ

Отправление учетного материала на Клюева подтверждает, что он относился к категории особоучетников.

В Колпашеве поэт пробыл в ссылке чуть больше четырех месяцев. Ему, больному, оставаться на зиму в поселке означало верную смерть. Клюев пишет письма друзьям, заявление во ВЦИК СССР.

К поэту Сергею Клычкову он обращается: «...проси в крайнем случае о смягчении моей участи. Уменьшения срока, перевода туда, где есть медпомощь, и назначения мне хотя бы хлебного пайка... Если зазимую, не знаю, где буду жить, придется в землянке-яме — где цинга и... конец Но и за яму нужно платить. Спасите, кто может!»

За смягчение участи Клюева ходатайствовали в Москве его друзья, А. М. Горький, Н. А. Обухова. Их хлопоты, как сообщает журнал «Дружба народов» (1987, № 12, с. 137), увенчались успехом — осенью того же года поэт был переведен в Томск, а срок его ссылки сокращен с пяти до трех лет.

Документ, на основании которого сделан вывод о том, что срок ссылки Клюеву был сокращен, в публикации журнала не указан, а вот ряд найденных в архивах протоколов предполагает обратное — срок ссылки Клюеву не сократили.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ОСОБОГО СОВЕЩАНИЯ
при Народном Комиссаре Внутренних Дел СССР от 17.11.1934 г.

Слушали:
37. Пересмотр дела № 3444 гр. Клюева Николая Алексеевича, приг. пост. колл. ОГПУ от 5/3-34. к заключен. в ИТЛ сроком на ПЯТЬ лет с заменой высылкой в г. Колпашево (ЗСК) **на тот же срок.**
Постановили:
Клюеву Николаю Алексеевичу разрешить отбывать оставшийся срок наказания в г. Томске.

Отв. секретарь Особого совещания
ФЕЛЬДМАН

Перевод Клюева в Томск состоялся по указанию УГБ СССР. Допустимо предположить, что в судьбе Клюева принял участие кто-то из высоких чинов НКВД, поскольку Клюев был переведен в Томск еще за месяц до официального решения о пересмотре его дела.

В Новосибирск 4 октября 1934 года поступила телеграмма за № 10715, а на следующий день уже пришло письменное указание: направить поэта Клюева из Колпашева в г. Томск не этапом, в спецконвоем.

Резолюция на этом документе гласила: «Нашей телеграммой от 7/X — 34 года за № 10415 дано распоряжение Нарыму о переводе в Томск спецконвоем».

На следующий день Николай Клюев был отправлен в Томск.

серия «К»
УПРАВЛЕНИЕ НКВД по ЗСК (УСО)
г. Новосибирск
На № 10431/III от 27/X-34 г.

Нарымский Окротдел НКВД настоящим сообщает, что адмвысланный КЛЮЕВ Николай Алексеевич выбыл в гор. Томск 8 октября 1934 г.

НАЧ. НАРЫМ. О/О НКВД МАРТОН
ВР. ОП. УПОЛН. УСО ШКОДСКИЙ

Перевод в Томск спецконвоем означал, что Клюев будет препровожден под охраной солдат НКВД на пароходе, а не в трюме баржи. Об этом он сообщил в письме Н. Ф. Христофоровой-Садомовой от 24 октября 1934 года: «...На самый праздник Покрова меня перевели из Колпашева в город Томск, это на тысячу верст ближе к Москве. Такой перевод нужно принять как милость и снисхождение, но, выйдя с парохода в ненастное и студеное утро, я очутился второй раз в ссылке без угла и без куска хлеба... я... не мог развязать пестрядинной кромки, которою завязал мне конвойный солдат мешок...».

На документе о переводе Клюева в Томск, который, кажется, облегчил участь поэта, появилась надпись синим карандашом: «В дело массов.». По утверждению помощника прокурора г. Москвы советника юстиции В. Рябова, синий карандаш на делах тридцатых годов означал предрешенность судьбы — неминуемую гибель жертвы НКВД. Эта надпись на деле Клюева выполнила свое роковое предназначение.

* * *

Оказавшись в ссылке второй раз без угла и без куска хлеба, Клюев просит своих друзей в Москве сходить с ходатайством к Калинину: «Он русский и зорко провидящ, и, конечно, понял бы, что такая подача челобитной значительна политически и незабвенна историей искусства. Положение же мое очень серьезно и равносильно отсечению головы, ибо я, к сожалению, не маклер, а поэт. А залить расплавленным оловом горло поэту тоже не шуточка — это похуже судьбы Шевченко и Полежаева, не говоря уже о Пушкине, которого царь... сослал куда же? — в родное Михайловское, под сень Тригорских холмов. Я бы с радостью туда поехал. Поплакал бы, пожаловался бы кое на что могилке Александра Сергеевича!»

В Томске Клюев сблизился с семьей замечательного человека, геолога Ростислава Сергеевича Ильина, тоже высланного в Сибирь. Но общаться приходилось редко и с оглядкой. Крепкими нитками пришивался не только ярлык: «сын врага народа», но и «друг врага народа». Это одно могло грозить репрессиями. По этому поводу Клюев писал: «В Томске есть кой-кто из милых тоскующих по искусству людей, но я боюсь знакомиться с ними из опасения, как бы наша близость не была превратно понята».

Из ссылки была возможность досрочно освободиться ввиду болезни, и Клюев просит В. Н. Горбачеву выслать ему пенсионное удостоверение, которое после ареста в Москве осталось в его квартире: «Дело в том, что этот документ дает мне право если не полного освобождения, то перевода в лучшие климатические условия, чем Сибирь. Я могу очутиться в Воронеже или в Казани, а это было бы для меня истинным счастьем!.. Многие по такому свидетельству освобождаются по чистой. Ах, если бы мне в руки мое инвалидное свидетельство! Помогите!»

Но «синий карандаш» в личном деле № 47165 прочно держал Клюева в ссылке. «Моя тяжкая болезнь сибирскому начальству не помеха. Несмотря на то, что существует определенная статья по болезни досрочно освобождать. Болезнь же моя превышает продолжительность всякой статьи. Прошу подать заявление и Калинину. Если будет из Москвы хотя бы слабое дуновение милости, то меня не к а з н я т...» — писал Николай Клюев.

И все же 23 марта 1936 года была предпринята первая попытка расправиться с поэтом. В его переписке был длительный перерыв: с начала марта по июль 1936 года. Почему?

С. Субботин в «Новом мире» высказал предположение: Клюева лечили в больнице на острожном режиме. По свидетельству В. Ф. Кропанева — его арестовали.

В письме к жене поэта Клычкова В. Н. Горбачевой Клюев завуалированно сообщил о своем аресте: «Очнулся как от летаргического сна, дорогая Варвара Николаевна. Четыре месяца был прикован к постели: разбит параличом и совершенно беспомощен. Отнялась левая рука и нога и левый глаз закрылся (несколько слов утрачено) сослать в Туруханский край (несколько слов утрачено) мои не выдержали, к тому же я неоправимо болен пороком сердца в тяжелой форме. Все это удостоверили врачи по распоряжению местного НКВД...»

Свой арест он маскирует болезнью и в письме к Н. Ф. Христофоровой-Садомовой: «С марта месяца я прикован к постели. Привезли меня обратно к воротам домишка, в котором я жил до сего, только 5-го июля».

Сегодня можно документально подтвердить, что Николай Клюев был арестован и его пытались привлечь к ответственности как участника церковной крестьянской группировки. Об этом свидетельствует следующий документ:

В УАО УГБ НКВД ЗСК
г. Новосибирск

Сообщаем, что адмссыльный Клюев Николай Алексеевич 1884 года рождения, из граждан Новгородской губ., осужденный в ссылку заседанием коллегии ОГПУ (суд) от 5 марта 1934 года по ст. 58—10 в ссылку на пять лет, будучи нами арестован 23 марта сего года и привлечен к ответственности как участник церковной кр. группировки по ст. 58—10 и 11 УК, сего числа нами из-под стражи освобожден ввиду приостановления следствия по делу № 12264 и его болезни — паралича левой половины тела и старческого слабоумия.

Просьба означенного взять на учет ссыльных.

НАЧ. ГОРОТДЕЛА НКВД ПОДОЛЬСКИЙ
№ 452/7 4 июля 1936 года

На этом документе вновь сделана надпись синим карандашом. Дальнейшие события подтвердили, что надписи синим карандашом не забывались и рано или поздно приводились в исполнение.

Судьба Николая Клюева была постоянно под неусыпным вниманием. Очередной запрос о нем поступил 6 апреля 1937 года за № 47165/5115. В ответе на этот запрос сообщается, что кроме ссылки Клюева других решений к нему нет. Вскоре после этого запроса Клюев был арестован. В этом же документе сообщалось, что срок ссылки Клюеву оканчивается 2/2 — 1939 года, а не в 1937 году, как значилось в запросе.

На личном деле Клюева № 47165 имеется запись: «Арестован Томским горотделом на основании отношения № 2808. Осужден по 1 категории тройкой».

Допустимо предположить, что Клюев был арестован по указанию «сверху», но кто подписал отношение № 2808, пока неизвестно.

Летом — осенью 1937 года, как известно, по всем республикам и областям направлялись особоуполномоченные ЦК для выполнения личных указаний Сталина по усилению репрессий. В этой волне террора было удобно расправиться и с Николаем Клюевым, что и было сделано. Арестовали Клюева 5 июня 1937 года.

Жернова террора работали с утроенной быстротой. Если в 1934 году дело по обвинению Клюева рассмотрено восемнадцатым по счету, то на этот раз — шестьдесят пятым. Это произошло 13 октября 1937 года.

На основании своих исследований берусь утверждать, что перед арестом Клюев несколько поправил свое здоровье, вновь взялся за работу. Это подтверждает и тон его письма В. Н. Горбачевой от 3 мая 1937 года. Характерна и такая деталь: в первом протоколе допроса твердой рукой поэта поставлена подпись: «К сему Н. Клюев». В последнем протоколе допроса, после четырех месяцев тюрьмы, в подписи «Клюев» нет ни одной прямой линии. Кое-как подпись выведена волнистыми черточками по 1—2 миллиметра.

То, что дело об «активной сектантской деятельности и непосредственном руководстве контрреволюционной деятельностью духовенства и церковников» было сфабриковано, подтверждается последующей реабилитацией Николая Клюева.

Из рассказов бывших работников НКВД удалось выяснить, что тюрьма в Томске находилась на улице Пушкина. Расстрелы проводились, как правило, с часу до четырех часов ночи. На территории тюрьмы находился жилой городок для семей сотрудников, поэтому они могли видеть, как ночью в сторону Каштака (ныне один из жилых районов Томска) везли на санях и подводах что-то укрытое одеялами. Это по три-четыре человека вывозили на расстрел.

Увозили людей к большим ямам, там и расстреливали. Одну яму заполняли по нескольку дней. Справку о приведении приговора в исполнение оформляли, как «закроют» яму. В Томске тогда гуляла частушка: «Я поеду на Каштак на зелену горку, заработаю пятак себе на махорку». Так зарабатывали на закапывании ям.

После этого рассказа мне стало понятно, откуда в справке о расстреле Николая Клюева появилось: «Приговор приведен в исполнение 23—25 октября 1937 года».

Поэт чувствовал, что приговор «синего карандаша» будет неминуемо приведен в исполнение, и «грозный орган» успешно справится с возложенной на него миссией:

Есть две страны: одна больница,
Другая кладбище, меж них
Печальных сосен вереница,
Угрюмых пихт и верб седых!
Блуждая пасмурной опушкой,
Я обронил свою клюку
И заунывною кукушкой
Стучусь в окно к гробовщику:
«Ку-ку! Откройте двери, люди!
Будь проклят полуночный пес!
Куда ты в глиняном сосуде
Несешь зарю апрельских роз?»
Весна погибла. В космы сосен
Вплетает вьюга седину,
Но, слыша скрежет ткацких кросен,
Тянусь к зловещему окну!
И вижу: тетушка Могила
Ткет желтый саван, и челнок
Мелькает птицей чернокрылой,
Рождая ткань, как мерность строк.
В вершинах пляска ветродува,
Под хрип волчицыной трубы
Читаю нити: «Н. А. Клюев —
Певец Олонецкой избы!».
Я умер! Господи, ужели?!
Но где же койка, добрый врач?
И слышу: в розовом апреле
Оборван твой предсмертный плач!
Вот почему в кувшине розы
И сам ты мальчик в синем льне.
Скрипят житейские обозы

В далекой бранной стороне.
К ним нет возвратного проселка,
Там мрак, изгнанье, Нарым.
Не бойся савана и волка, —
За ними с лютней Серафим.
«Приди, дитя мое, приди», —
Запела лютня неземная,
И сердце птичной из груди
Перепорхнуло в кущи рая.
И первой песенкой моей,
Где, брачной чашею лелея,
Была: люблю тебя, Расея,
Страна грачиных озимей!
И ангел вторил: «Буди, буди!»
Благословен родной Овсень.
Его, как розаны в сосуде,
Блюдет Христос на Оный День.

Н. Клюев.
1937 год.

* * *

Вся жизнь Клюева в ссылке — невыносимые тяготы и страдания. Опубликованные «сибирские письма» поэта рисуют точную картину положения ссыльных в тридцатые годы. Человек глубоко одаренный, обладающий высоким интеллектом, он был вынужден терпеть произвол и насилие властей, переносить презрение и хамство окружающих его людей. И это только за то, что поэт имел свои убеждения, мысли, чувства, не нравившиеся Диктатуре, создавшей «грозный орган».

Вот некоторые выдержки из писем Клюева:

«Теперь я в своей комнатушке среди чужих людей, которым я нужен, как собаке пятая нога. День и ночь лежу, сегодня первый раз сполз к столу и, обливаясь потом от слабости, пишу Вам... Тоскую невыразимо, под несметными избяными мухами — лежу в духоте, давно без бани, вымыть некому, накормить тоже. Левая рука висит плетью. На ногу ступаю маленько. Она распухла, как коргага».

«Анна Исаевна — моя хозяйка по квартире, властная базарная баба, — взялась меня кормить за 75 р. в месяц. На исходе месяца начинаются справки: получил ли я перевод и т. п. Следом идут брань, придирки. Очень тяжело. Слез моих не хватает. И я лежу, лежу... С опухшей, как бревно, ногой, с изжелта-синей полумертвой рукой».

«Мороз под сорок. Я без валенок, и в базарные дни мне реже удается выходить за милостыней. Подают картошку, очень редко хлеб. Деньгами от двух до трех рублей...»

Все эти письма относятся к периоду жизни Николая Алексеевича по пер. Красного Пожарника, 12.

На волне реабилитации невинно репрессированных людей в Томске поднимается вопрос об установлении мемориальной доски на одном из домов, где жил Николай Клюев.

Возникает вопрос: не кощунственно ли будет звучать слово «Ж И Л» в тексте на мемориальной доске, установленной на доме «Анны Исаевны»? Ведь случилось же, что одна из улиц города Елабуги — та самая, где стоит дом, в котором свела с жизнью счеты Марина Цветаева, до сих пор с гордостью носит имя Жданова.

Не миновала подобная участь и Томска. В пылу реабилитации к «репрессированным чекистам» отнесли и Мартона — начальника Нарымского НКВД, запожившего из человеческих трупов фундамент «Обнаженного яра».

Томские «Мемориал» и КГБ восстанавливают память жертвам только сталинских репрессий. Клюев — жертва репрессий, возникших еще задолго до расцвета культа, и, видимо, поэтому ознакомиться с его следственным делом не позволяют. Объясняют это интересами родственников людей, сыгравших отрицательную роль в судьбе поэта.

Член Томского общества «Мемориал», сотрудник КГБ, Ю. Петрухин полагает, что нельзя сделать достоянием людей и «последний автограф» Николая Клюева, хранящийся в архиве. Сопоставляя первую и последнюю подписи в протоколах допроса, они могут подумать, что Клюева в НКВД били, пытали.

Председатель этого же общества Л. Пичурин считает арест Клюева и его расстрел «счастливой случайностью» для Томского НКВД: «...палачам было ясно, что какой-нибудь Архип Гончаров, крестьянин из Монастырки Шегарского района, или Филипп Воронков, плотник из Лукашкина Яра Александровского района, все же никак не «тянули» на руководящие должности в Союзе спасения. Нужен был кто-то покрупнее. И тут такая удача! — Клюев» («Знамя», 1989, № 6). На мой взгляд, искажает истину: ведь в трагедии Клюева, как в капле воды, отразилась судьба русской интеллигенции и русского крестьянства, подвергшихся преднамеренному уничтожению.

В одном из своих последних писем В. Н. Горбачевой поэт сообщил новый адрес жительства в Томске: Старо-Ачинская, 13. Томский период жизни Николая Клюева удалось дополнить некоторыми существенными деталями.

В центре Томска есть уникальное место — Белое озеро. Если пройти через сквер на противоположную сторону от памятника космонавту Н. Н. Рукавишникову и углубиться в узкую улочку старого города, то через несколько минут ходьбы вы окажетесь у невысокого, ладно срубленного дома по улице Старо-Ачинской, 15 (ранее — 13. — Ю. Х.).

До сего времени ничего не было известно о последних месяцах жизни поэта в Томске, о людях и доме, проводивших его в «жизнь вечную».

Писатель Алексей Иванович Шеметов был одним из тех, кто навестил поэта перед его последним арестом. Вот что он вспоминает: в довольно просторной прихожей его встретила приветливая женщина. «Вы к Николаю Алексеевичу? — спросила она. — Подождите немного, он занят».

Шеметов стал ждать. Вскоре из комнаты вышел священник. Через некоторое время вышел второй священник, а за ним — Клюев. Он был в косоворотке, руки у него, как у Толстого, просунуты под ремешок, которым он был подпоясан.

В комнате, куда его пригласил поэт, он увидел на столе полдесятка французских булочек (их еще называли сайками) и тарелку с яйцами. Видимо, священники подкармливали бедствующего поэта.

Они долго говорили. Николай Алексеевич рассказывал начинающему литератору о писательском труде, требующем глубокого знания языка и культуры. Возможно, этот разговор и стал определяющим в судьбе Алексея Шеметова — он стал писателем.

Но что же это за дом, в котором провел свои последние дни поэт? Кто его приветливая хозяйка?

Мне удалось найти и выслушать сына тогдашней хозяйки дома по улице Старо-Ачинской, 13 — Сергея Васильевича Балакина. Ему 74 года, но удивительно ясная память сохранила мельчайшие подробности, детали его общения с Николаем Алексеевичем Клюевым.

Сергей Васильевич нарисовал план их квартиры, комнаты, которая была выделена Клюеву. Обозначил место, где стояла его «варшавская кровать» с панцирной сеткой.

Вот его некоторые воспоминания: «Я вернулся из армии, радостно ворвался домой. Увидев меня, мама очень обрадовалась, но тут же предупредила: веди себя потише. У нас живет интеллигентный человек, писатель. Он очень болен.

Мама по профессии была медработником. Она ухаживала за больным Николаем Алексеевичем, давала ему лекарства, купала в большой деревянной ванне.

Николай Алексеевич носил серый пиджак, брюки навыпуск, косоворотку. Были у него валенки с азиатскими галошами. Левую руку он почти не вытаскивал из кармана: она была парализована.

Еду ему подавали в комнату. Он любил борщ и овсяной кисель, которые мама ему готовила. После завтрака он подолгу работал, писал, а после обеда отдыхал: читал нам стихи, ходил на Ушайку. По воскресеньям обедали все вместе, усаживаясь в комнате за большим столом. Иногда Николай Алексеевич любил готовить сам».

Сергей Васильевич задумывается, мысленно возвращаясь к тем далеким дням: «А знаете, как он читал стихи?! И какие это были стихи. Я очень любил его слушать. Он читал мне свои поэмы «Львиный хлеб», «Привет тебе, Анастасия».

В строчках, которые Клюев написал в Томске и которые вспомнил Сергей Васильевич, поэт представил ошельмованную, повергнутую Россию, оторванную от своих исконных земель и уничтоженного крестьянина:

От Москвы до Аляски — кулацкий обоз.
Сломанные косточки, крови горсточки...

О том, что Клюев написал в Томске четыре поэмы, он сообщает в письме В. Н. Горбачевой: «Передайте ему, что я написал четыре поэмы...».

Строчки клюевских стихов вспоминала и В. В. Ильина, знавшая поэта в Томске и помогавшая ему материально: «Ты, Беломорский Свет-канал. Тебя Ефимушка копал, тебя копала тетка Фекла — тут вся земля от слез промокла». А вот как, с ее слов, рассказывал Клюев о причинах своего ареста и ссылки в Сибирь: он был сослан за саботаж собственной музе. За то, что перестал писать и печататься.

Дважды работники НКВД изымали рукописи Николая Клюева. Первый раз (при аресте в 1936 году) и второй раз (при аресте в 1937 году) у него было изъято четыре тетради. Найти их пока не удалось.

Хочется немного рассказать о семье Балакиных, которые приютили поэта в последние месяцы его жизни, где Клюев обрел теплоту русских сердец. Они и проводили его в печальную дорогу.

Мария Алексеевна Балакина, в девичестве Зоркальцева, родилась в селе Зоркальцево под Томском. Ее муж Василий Петрович Балакин был советским специалистом-инженером: работал заведующим мельницей на паровом котле, начальником электростанции. После гражданской войны под его руководством за три месяца был восстановлен золоторудник «Онон» в Забайкалье.

Василий Петрович в 1926 году трагически погиб вместе с маленьким сыном Женей. Они поехали за зарплатой рабочим, и на обратном пути их убили, чтобы забрать деньги.

После смерти мужа и ребенка Мария Алексеевна с двумя детьми — Лизой и Сергеем — переехала в Томск. В ее доме и провел последние месяцы до ареста Николай Клюев.

В 1947 году дом по Старо-Ачинской, 13 подвергся некоторой реконструкции. Бревна нижнего ряда были заменены, убраны русские печи. Нынешний хозяин дома Виктор Андреевич Пономаренко во время ремонта обнаружил в доме церковный служебник Санкт-Петербургского издания на старославянском языке, который вполне мог принадлежать Николаю Клюеву. На обложке служебника была дарственная надпись, ее мы пытаемся восстановить.

* * *

Частицей своего сердца мы соприкоснулись с судьбой талантливого русского поэта. Прах его покоится рядом с нами. Надо полагать, сегодняшние изыскания не закрывают последней страницы томских лет жизни Клюева, могут быть и есть другие находки, воспоминания, документы, известные томичам. Дело нашей чести — документально, исторически точно восстановить томские годы жизни Николая Клюева, а также и всю биографию гениального поэта.

Томск.

СОДЕРЖАНИЕ

журнала «Наш современник» за 1989 год

ПРОЗА

ПОЭЗИЯ

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

КРИТИКА

От редакции. В статье В. Сорокина «Свои чужие» (1989, № 8) допущен ряд неточностей. В частности, Я. М. Мороз не имеет никакого отношения к бывшему зятю И. В. Сталина.

В 1990 году читайте в "Нашем современнике":

Александр СОЛЖЕНИЦЫН. "ОКТЯБРЬ ШЕСТНАДЦАТОГО" (из цикла романов "Красное колесо").

Юрий БОНДАРЕВ. Роман "ЖЕЛАНИЕ".

Сергей АЛЕКСЕЕВ. Роман "КРАМОЛА", книга вторая.

Валентин ПИКУЛЬ. Роман "СТАЛИНГРАД".

Среди авторов прозы: В. БЕЛОВ, В. АСТАФЬЕВ, В. СОЛОУХИН ("КАМЕШКИ НА ЛАДОНИ"), В. РАСПУТИН, Л. БОРОДИН (повесть "ТРЕТЬЯ ПРАВДА"), молодые писатели.

Публицистика и критика будут представлены широко известными именами И. ШАФАРЕВИЧА, М. АНТОНОВА, В. КОЖИНОВА, М. ЛОБАНОВА, Ф. ШИПУНОВА, А. САЛУЦКОГО, Д. ЖУКОВА, Вл. БОНДАРЕНКО, К. РАША, Т. ГЛУШКОВОЙ, Ю. ЛОЩИЦА, А. ЛАНЩИКОВА, В. ТРОСТНИКОВА, К. МЯЛО.

Рубрика "СВОБОДА СОВЕСТИ": материалы об истории русской церкви, о судьбах ее подвижников, о ее сегодняшнем дне.

Рубрика "РУССКАЯ МЫСЛЬ": труды Н. БЕРДЯЕВА, С. БУЛГАКОВА, Н. ЛОССКОГО, В. РОЗАНОВА, Е. ТРУБЕЦКОГО, Г. ФЕДОТОВА.

Рубрика "ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АРХИВ": неизвестные у нас страницы из мемуаров И. БУНИНА, М. АЛДАНОВА, З. ГИППИУС, исторические очерки Р. ГУЛЯ о крупнейших деятелях ЧК – ОГПУ, материалы, посвященные истории советских Соловков...

Поэзия "Нашего современника": Юрий КУЗНЕЦОВ, Владимир СОЛОУХИН, Николай ТРЯПКИН, Лариса ВАСИЛЬЕВА, Василий КАЗАНЦЕВ, Федор СУХОВ, Владимир КОСТРОВ, Виктор ЛАПШИН, молодые поэты. Из архивных публикаций – стихи М. КУЗМИНА, Н. КЛЮЕВА, М. ЦВЕТАЕВОЙ, Я. СМЕЛЯКОВА.